АНГАРА

3

В. СОКОЛОВ
ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Ю. СКОП

В. ШУГАЕВ

Л. МОГИЛЕВ

Г. ЛЕВИ



Р

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского отделения
Союза писателей РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

№ 3 (64)
ИЮЛЬ
СЕНТЯБРЬ
1964

Фантастика, приключения, путешествия

День поэзии

День поэзии

Обложка художника Г. Леви

Адрес редакции:

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР

Телефон 56—76

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1964

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Валерий Алексеев

Московская улица

Солнце сбросило медную каску.
И, как отблеск вечерней зари,
на притихших проспектах Ангарска
зажигает июнь фонари.
Под звенящей листвой тополиной
я иду
этой улицей длинной,
по кондовой и новой иду
и трамваев попутных не жду.
За спокойною поймой Китоя
тишина.
И не видно ни зги.
Но опять не дает мне покоя
этой улицы
странный изгиб.
Среди многих
прямых и просторных
полюбилась мне эта одна.
Непокорных,
бессмертья достойных
уводила в остроги она.
Не проспектом была она, —
трактом,
по нему декабристов вели.
Кедры плакали стоя,
и травы
с головою тонули в пыли.
За спиной поправляя котомку,
здесь шагала
сермяжная Русь.
Этой улицы
Гордость и Грусть
никогда
не забудут
потомки!

Ангарск

Везувий

Владимир Гусенков

Кровь.
Вы слышите кровь?
Как толчками она по артериям движется?
Сердце стучит:
— Я живу.
— Я живу.
— Я живу.
Тело.
Скажите! В каких оно реках кружило?
Сколько галактик вместило в себя?
Вечный огонь, словно магма, клокочущий в жилах —
Как он вселился в меня.
...А если вулкан я? И мозг мой — Везувий:
Вместилище пепла, огня и безумий.
И вот уже кратер — сама преисподня.
Помпея!
Ты гибнешь!
Ты глохнешь сегодня.
Твои капители и своды обрушены.
В них камни врезаются черными грушами.
Что я наделал?
Разрушил жилища людские,
и виноградники пеплом засыпал,
И сжег все дотла.
Снова отстраивать будут Помпею,
пока я лежу и пока цепенею.
Спина у меня затекла...
Каменотесов мне жаль.
Для чего они, глупые, снова возводят жилища
именно тут, где всегда я огнем их достану.
Я ведь Везувий.
Иным я и быть не могу.
Люди.
Смотрю. Усмехаюсь.
Гнев мой остывший взрыхляют они.
Лозы сажают (попробуй стряхни).

На туфе остывшем, на теле моем,
Багровые гроздья пылают огнем.

По лабиринтам гортаней и глоток
Я магмой вливаюсь, послушен и кроток.
Но кто я?
Скажите?
Все тот же Везувий:
Вместилище пепла, огня и безумий.

И вот я
планета,
звезда,
океан,
и снова песчинка,
и снова вулкан.
Кровь.
Вы слышите кровь?
Как толчками она по артериям движется?

Братск

Елена Жилкина

Снегопад

Ах, как кружит он,
этот снегопад.
От озорства его
становится теплее.
А я кричу,
наверно, невпопад.
А я бегу.
Ищу тебя.
Смелею.
Нет, по скользящей
голубой зиме
до наших встреч
никак мне не добраться,
не разобраться
в снежной кутерьме,
как в сердце
собственном
не разобраться.

Все спуталось.
К тебе дороги нет.
У вьюжной замети
я спрашиваю: где же
единственный тот
негасимый свет,
но на пути
ни огонька надежды.
А утром снова
в строгой белизне
лежат снега,
спокойно,
без смятенья...
И лишь виски вот
мимоходом мне
чуть тронуло
вчерашнею метелью.

Иркутск

Сергей Иоффе

Уезжай

Уезжай!
Ведь это очень просто —
заплатить за место
в самом жестком:
про обеды забывай почаще
да потуже затяни свой пояс —
и садись, не мешкай,
в проходящий,
уходящий в неизвестность поезд.

Вот и все.
Конец дорогам старым,
По которым столько исходили...
Ты один.
Ты сам с собой на пару.
Вы друг другу так необходимы!

Иркутск

Виктор Киселев

У бурных рек...

У бурных рек —
Прямые русла.
Ни диабаз
И ни гранит
Реке не изломают курса,
Ее не выбьют из границ.
Она сама сломать готова
Хребет у каменной гряды
И вырвать из земной кладовой
Запасы редкостной руды.
Известно:

Капля долбит камень.
На это нужен долгий срок.
А реки
Крепкими руками
Стирают камни в порошок.
И ты,
Вступив в единоборство,
С природой дикой,
Человек,
Пример упрямства
И упорства
Бери с сибирских
бурных рек.

Иркутск

Иннокентий Луговской

Константину Седых

Несправедливо!

Пролетел на лесную сторону.
Посмотрел я ему вослед...
Триста лет старикану ворону!
А зачем ему триста лет?

Значит, ворон на срубе острога
Видел прадедов наших лихих.
А зачем ему жить так много,
Если он не расскажет о них?

«Кррруум» да «кррум»—
Крики хриплые падали
Из-под сизых замшелых крыл.
А зачем? Ничего, кроме падали,
Он за триста лет не открыл.

Нет!
Вороньим векам незавидно.
Что воронье житье? Для жратвы?
Мне до слез за людей обидно —
За ушедших и за живых!

Нам бы, вышедшим из пещеры
На простор межпланетных трасс,
Жить да жить, не теряя веры,
Что, работая, сердце не сдаст.

Нам бы вечно в полете, в походе
Тучи рвать, подминать волну...
Справедливости нет в природе —
Как же ей не объявишь войну!

Иркутск

Анатолий Преловский

Ремесло

Зашелся в крике поздний кочет,
луна блестит в тяжелых росах,
и темень зыбкая
не хочет
гасить
полночных окон россыпь.

Земля гладка —
ни ям ни ссадин
не различишь на ней без солнца.

Мир, наработавшийся за день!
Мне так близка твоя бессонница.

Не спят, земля, твои заботы —
живут, от снов неотделимы.
Не спят поэты:
их заботы
земле всегда необходимы.
Так будь, поэт, костром пастушьим,
иль лампой в комнате бессонной,
иль ветром, в паруса подувшим,
иль стуком в камере кессонной.
Чтоб утром
слово
стало делом,
высокий замысел —
свершеньем,
песок с водой —
бетонным телом,
бессонница —
стихотвореньем.

* * *

Мало пишете, много пьете,
разговорчивый мой человек.
Вы поете все о полете,
а еще не взяли разбег.
Рук работой не обожжете,
вряд ли выстоите под огнем,
скоро погаснете,
если живете
только сегодняшним днем.
Хочу не посетовать,
а посоветовать.
Прежде всего уясните себе,
какие вы цели хотите преследовать,
каким мастерам собираетесь
следовать,
что значит Россия
в вашей судьбе.
Ищите свой цвет,
изгоняйте расцвеченность.
Да будет удачлива ваша стезя!
Работы по горло,
в запасе — вечность.
К станку и призванью
опаздывать нельзя.

* * *

Мы
почти на каждом нашем форуме,
забывая в души заглянуть,

все о рифме спорим,
все о форме
и на веру принимаем —
суть.
А она, жестокая и сущая,
лжи
боится больше, чем прикрас,
Правда века —
точная, насущная! —
в нас самих
живет
помимо нас.
Главное —
за пестротой поэтик
разглядеть наш черно-белый век
и творца —
поэт или поэтик,
человечек или человек.

Иркутск

Петр Реутский

Люблю

Я люблю тебя утром,
Когда, высветясь золотом,
Безрассудно и мудро
Всходит солнце над городом.
Когда падают росы,
Краски полночи смазав,
И лежат, точно россыпь
Якутских алмазов.
Я люблю тебя днем,
Когда искренне радуя
Зной
в порыве одном
Вдруг сольется с прохладою.
Я люблю тебя вечером
В этом платьице сереньком,
Когда тихо и весело
Речка шепчется с берегом.
А еще люблю ночью,
Когда филины ропщут,
Когда ветер наощупь
Пробирается в рощу
И листву ее милуя,
Вдруг добреет, как воин.
Я хочу, моя милая,
Чтобы мир был спокоен.

Иркутск

Константин Седых

Ветер

На желтом облачном рассвете
С байкальских сопок туго бьет
Налитый светлым дымом ветер,
Качая тополь у ворот.

В нем блещут розовые дали,
Цветет безбрежная тайга,
И отражаются в Байкале
Вершин заоблачных снега.

Он свеж, как море на рассвете,
Как день ликующий, широк...
И ухожу я в горный ветер,
На распахнувшийся восток.

И в дымке заревого света
Несу заветную мечту:
Пускай походит песнь поэта
На хвойный ветер на свету.

Пусть в ней моря бушуют зычно,
Блестит вершинный вечный снег...
И глубоко, и безгранично
Умеет мыслить человек.

Иркутск

Марк Сергеев

Музыка

Зверь уходил.
Его бока лоснились,
и на деревьях оставались клочья
вонючей шерсти.
И, казалось, потом
пропитаны трава, кусты, земля!
Зверь уходил, трубя, от дерзких копьев,
от вожделенных взглядов,
от дележки,
он уходил из рук толпы орущей,
из их желудков тощих уходил.

Когда погоня наконец отстала,
кусты сомкнулись,
сердце билось в горле,
на легкий шорох обернулся мамонт.
И тут они сошлись — глаза в глаза.
Ходячая гора, громада, туша,

два, промаха не знающие бивня,
и тот — в лохматых шкурах, осторожный,
с копьем и серым каменным ножом.

...Потом швыряли мамонта в костер,
делили шкуру,
пили кровь, хмелея,
и вдруг темноволосая прижалась
к охотника израненному телу,
и было в этом больше, чем награда,
чем зов природы,
и чем просто страсть.
И небо опрокинулось на землю,
и звезды молча падали в костер.
Но в тишине весеннего рассвета,
влекома чем-то недоговоренным,
и чем-то недопитым и неясным,
она,
чуть слышно отодвинув полог,
ушла на новый истомленный зов.

А он проснулся.
И упали росы
на плечи и на грудь. Они казались
прикосновеньем рук ее прохладных,
и слыша боль —
как странно! — там внутри,
куда звериным бивням не проникнуть,
сорвал он полог,
за порог ступил,
и по следам тоски, беды, обмана
его вело охотничье чутье.

Там под горой — сплетенные тела!
Он вырвал камень — серый, смертоносный,
но женщина внезапно оглянулась,
и как тогда в чащобе,
в час погони,
глаза опять ударили в глаза.
Охотник вдруг услышал: как ручьи
спешат, томятся, пробиваясь к рекам,
как мамонты, вдали трубят, тоскуя,
как ветер, слабо трогая стволы,
ритмичный звук прозрачно исторгает,
и даже звезды, падая в костер,
мир наполняют радостью и звоном.

И камень положил к ногам охотник.
И женщина ушла оцепенело,
и тот другой,
что к смерти был готов.
Они ушли, оглядываясь странно,
не понимая, недоумевая.
А мир вокруг менялся, обновлялся,
мелодии в нем бились — птицы в клетке,
рвались из плена,
падали,
вставали.
И камень плакал. И гудели горы,
и пели реки, пусть косноязычно,
пока еще не понятые песни.
Но Музыка — она уже жила,
как малый камень, брошенный с горы,
летит стремглав и набирает силы,
чтоб грозной необузданной лавиной
обрушиться на стойбища людские,
так музыка уже брала разгон
в лавины ненаписанных симфоний,
в гортанность труб,
в тревожность барабанов
и в скрипок затаенную тоску.

А человек сидел — в звериных шкурах,
с тяжелым камнем, замершим у ног,
еще не зная, что своею болью,
слезою первой в сердце закипевшей,
он бросил камень,
что когда-то станет,
промчась сквозь время звучною лавиной,
всей необъятной музыкой земли.

Иркутск

Аполлон Тороев

Песня о жизни

Разве я был малышом?
Сидел на коленях отца без заботы?
Разве я был малышом?
Детство мое
Начиналось с работы.
Лихо взлетала зыбка,
качалась
назад,
вперед,
в юрте над пламенем зыбким
качался мой пятый год.
А после —
Уже не нянька я.
Земля от жары суха,
и тычется, словно пьяненькая,
качая меня, соха.
И солнце — шкурой распаренной
по дымному небу идет.
Качается в душном мареве
мой
седьмой
год!

А дальше — тугими искрами
навстречу мне лед реки,
а дальше —
лавиной — быстрые
сибирские рысаки.
И скорости поединок!

А те, кто затеяли спор,
пьют себе по единой —
иркутский шальной купчина
и наш богатей — Егор.

Летит иноходец ходко,
я ухожу вперед.

И вдруг соперника плетка
швыряет меня на лед.

Земля на меня летела,
лес отшатнулся назад...

Где моя удаль и смелость?
где вы, мои глаза?
Тихо.

И нет ответа.
Руки ощупали лед.

Вытек последним светом
мой семнадцатый год.

Утром смотрел бы степи,
чистые, как слеза,
тысячу книг прочел бы —
где вы, мои глаза?

Вышел бы на рассвете
в тайгу, а в тайге — гроза.
Работал бы в райсовете —
где вы, мои глаза?

Пусть же для вас, люди,
спетая от души,
даром моим будет
песня улигерши.
Песню подхватит ветер,
в ней и покой, и гроза.
Песня для вас, дети —
дети, мои глаза!

Бохан

Перевод М. Сергеева

Михаил Трофимов

Гуси

На льдинах весенних
стаями, густо
уплывают на Север
перелетные гуси.
Уж лететь не могут —
крылья сводит усталость,
а совсем немного,
недалеко осталось.
Клюют изо льда
траву речную,
правят перья:
от усталости
почти ручные —
первые.
Вы зобы набивайте
золотою кугою,
беды все забывайте.
Знали, зло от кого, вы...
Еще выстрел спаренный
грянет меж елями...
Где, гуси, спали вы?
Что, гуси, ели вы?
Метелки проса?
Колосья жита?
Не так-то просто
на свете жить-то...
На северный холод,
как ни странно,
менять вам охота
теплые страны.
Левый берег в болотах
замороженный,
правый в скалах,
плотно
затаеженный,
впереди — Ледовитый...
Стой,
Ледовитый.
Ледовитой тоской
не дави ты их,
им север снится...

И знают в народе:
гнездятся птицы
только на родине.

Иркутск

Леонид Хрилев

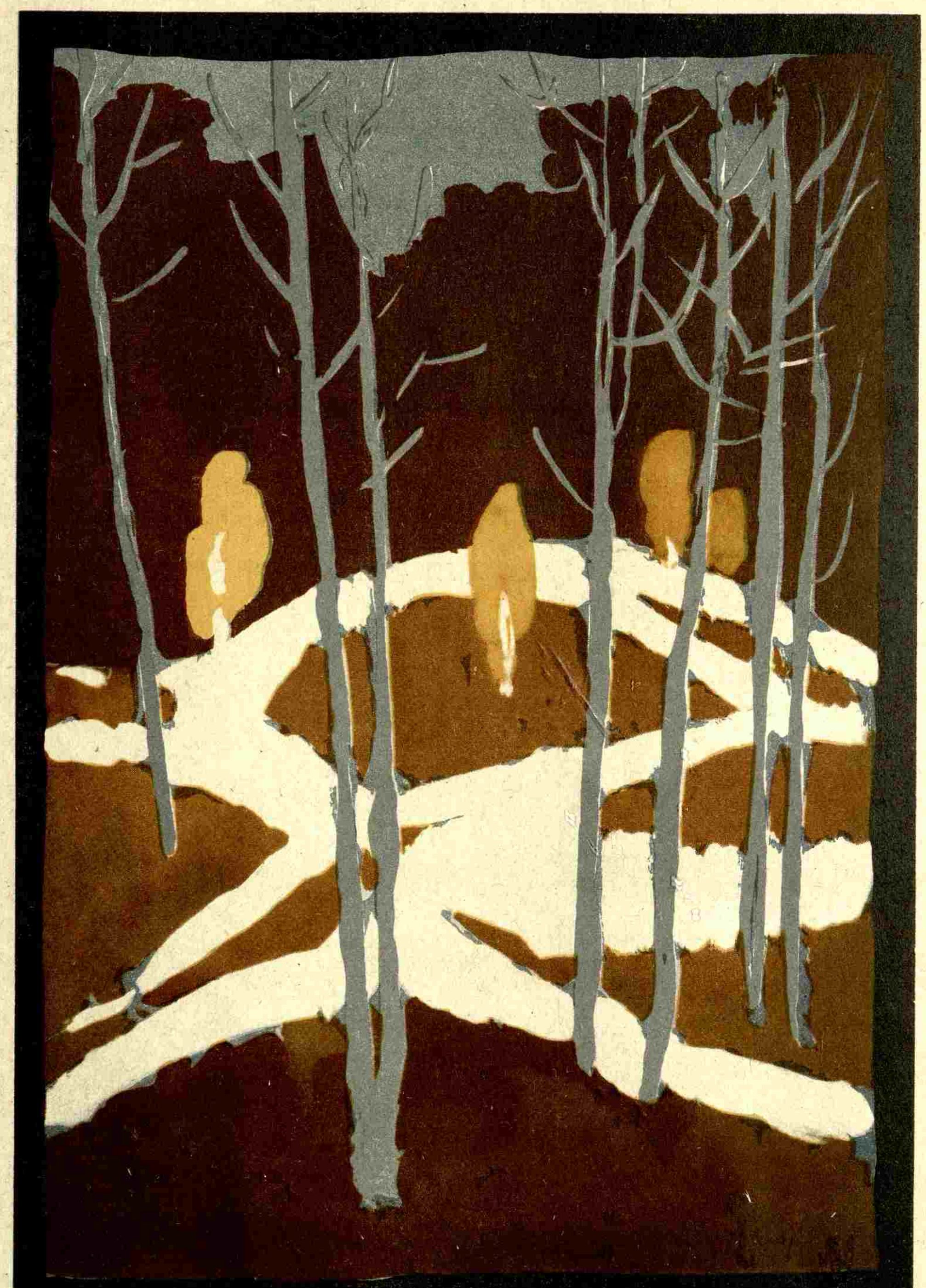
Июль

Созревали росы на ладонях листьев.
В яблоневой дреме зеленели луны.
Просыпалось утро.
Мир был юный-юный,
Загадочный, как тайна,
Логичный, словно истина.
Развиваясь по своим законам,
Формулы упрятав в глубину столетий,
Он вставал, розоволиц и светел,
Где ремни дорог пересеклись рискованно.
Вверх по стеблям поднимались соки,
И ныряли щуки в зарослях осоки,
И колосья раскрывали кулачки,
Чтобы солнцем наливались зерна.
И дышали воздухом озерным
Маленькие скрытые ростки.
Было пробужденье.
Было ожиданье.
Светлое горенье.
В полдень увяданье.
Зной томил, бродя по перелескам,
Нависал над рожью тяжело.
И мальчишки выбегали за село
И бросались в воду с хохотом и плеском.
Бабы сено ворошили граблями,
Жадно квас цедили из ведра.
Люди не стреляли,
не дрались,
не грабили,
Руки — для работы,
сердце — для добра.
За горами в синей колыбели ветра
Гром ворочался, усами шевеля.
И тогда чуть вздрогнула ответно
И меня впустила в этот мир земля.
Было пробужденье.
Первое свиданье.
Утром возвышенье.
В полденье возмужанье.
Верстам счет теряли трудные дороги,
Но была земля с рождения щедра:
Есть для песни губы,
для походов — ноги,
Руки — для работы,
сердце — для добра.

Иркутск



Острожная башня. Гуашь.



Первый снег. Гуашь.

Н. Матханова

ГРАФИКА ГЕОРГИЯ ЛЕВИ



У окна вагона стоял высокий худой человек с трубкой в зубах. Он молча смотрел на проносящиеся сосны, ели, березы и изредка мелькавшие кедры. Кто-то, не выдержав вагонной духоты, настежь распахнул окно, и в купе хлынул захлестывающей волной чистый запах тайги. От него слегка кружилась голова, он наполнял бодростью.

Поезд Москва — Владивосток подходил к Иркутску. Из него вышел человек в полинявшей солдатской гимнастерке с тощим чемоданом в руках. Это было в 1949 году. С тех пор разные люди встречали его на диких охотничьих тропах в лодке-берестянке на прозрачных и холодных, необузданных реках Сибири. И всюду, где бы он ни был, — в стойбище оленевода или с археологической экспедицией, с геологами, идущими по своим маршрутам, — с ним всегда были его неразлучные спутники — блокнот и карандаш.

Они были его верными друзьями, путеводителями, помогли ему выжить, бороться с тяжелой болезнью (последствие войны). И каждый новый набросок был утверждением себя, был рассказом о жизни, о борьбе.

Так писать мог только много прочувствовавший и видевший человек. Биография Георгия Григорьевича Леви — это биография нашего современника, в которой сконцентрировалось много событий и черт, характерных для нашего времени.

Г. Г. Леви родился через год (1918 г.) после рождения молодой страны Советов. Родителей он почти не помнит. Усыновивший его Григорий Петрович Леви был профессором Московского энергетического института, человеком незаурядного ума, культуры и образования. Окончив школу, Георгий Леви поступил в Московское художественное училище имени 1905 года, но образование ему не удалось завершить. В 1939 году он был призван в ряды Красной Армии, участвовал в освобождении Западной Украины, а когда началась Великая Отечественная война — пошел на фронт.

Сначала Леви был командиром зенитного орудия, а потом ему, как человеку большого долга, собранности и хладнокровия, поручили командование отрядом истребителей танков. Сюда отбирали самых бесстрашных. Вооружившись бутылками с горючей жидкостью, они шли в рукопашную схватку с немецкими танками.

Четыре раза часть, где был Г. Леви, попадала в окружение, но каждый раз с боем, с потерями — выходила. Никогда не забыть Георгию Григорьевичу глухую осеннюю ночь в селе Талова Балка Кировоградской области. Кругом хлюпающая тяжелая грязь, окопы, залитые холодной, черной водой, и обугленные трупы наших разведчиков, с которыми жестоко расправились фашисты. В такие ночи умирает юная беспечность и беззаботность, рождается мужество солдата и испепеляющая ненависть, а в сердце зажигается святой огонь справедливой мести.

Г. Леви попал в плен под Можайском. После двух неудачных попыток он бежал вместе со своим товарищем из лагеря военнопленных. Два месяца они пробирались к линии фронта. В Сумской области накануне нового года их схватили полицейские. Полураздетых и босых повели по свежему снегу в степь к ветряку на расстрел. Но в последний момент — то ли дрогнула рука от ненавидящих глаз, то ли испугало молчаливое мужество этих истерзанных и полуживых людей — полицейские отпустили их: все равно никуда не дойдут. Но они дошли до ближайшей деревни, до последней хаты. Здесь люди их спрятали, накормили. Полуслепой дед сплел из веревок лапти, а когда тяжко заболел один из постояльцев, он на свой страх и риск запряг лошадь и отвез Георгия Леви в районную больницу. Врачи Елена Васильевна Высоцкая и Марья Поликарповна Кошеленко сделали все, чтобы спасти больного. В течение нескольких месяцев они лечили его, прятали от немцев. Силы возвращались медленно. Впервые Леви встал с больничной кровати, когда за окном бушевало белое пламя цветущих яблонь. В один из дней к нему пришел невысокий человек с резкими крупными чертами лица и принес одежду и немецкий паспорт на имя Грицко Грицковича Хоменко.

Федор Саввич Северин один из руководителей подполья Козельщанского района Полтавской области был связан с партизанами. Официально он работал землемером в управе. Вскоре у него появился помощник — высокий, худой, молчаливый парень в тесном френчике с босыми ногами. Тогда впервые за время войны Георгию Леви пришлось вспомнить, что он художник. Он блестяще подделывал немецкие документы, пропуска, которые спасали жизнь многим подпольщикам, печатал, расклеивал листовки, перекраивал, переделывал районные карты так, что немцы ни в чем не могли разобраться.

Позднее при помощи партизан ему удалось вернуться в ряды Советской Армии. Г. Леви помогало в работе разведчиков знание трех языков: польского, немецкого и украинского. И снова плен... На одной из коротких стоянок начальник немецкого конвоя, сыто улыбаясь, предложил:

— Говорят, ты художник. Нарисуй мой портрет, получишь булку хлеба.

Художник молчал.

— Соглашайся, рисуй, хочешь кушать хлеб,— слышался голос офицера.

И тут Леви увидел серые, измученные дорогой, ранами и голодом лица своих друзей, товарищей, которые ожидающе смотрели на него.

— Хорошо,— хмуро сказал он офицеру, взял лист бумаги и красно-синий карандаш.

Буханка хлеба уже шла по рядам пленных, которые бережно делили ее на равные доли. А художник рисовал... Через час портрет в двух цветах, красном и синем, был подан офицеру. Довольно улыбаясь, он взял его, но вдруг лицо перекосила злоба, он разорвал шаржированный портрет в мелкие клочки, и воздух взорвала отборная брань. Уцелел тогда Леви по чистой случайности.

А потом снова побег, снова работа в разведке, пребывание в концентрационном лагере Хаммерштейн в Восточной Пруссии, где Леви вел большую подпольную работу и где немцы ему в качестве «медицинского» эксперимента привили туберкулез.

Но судьба Г. Леви сложилась так, что он остался жив, смог вынести все испытания и возвратился после окончания войны снова в Москву. Это был уже зрелый, сформировавшийся человек, принесший с собой нелегкий военный опыт и страстное желание покоя, мира, тишины, стремления заняться любимым делом. Он возобновляет учебу. Многое было забыто, огрубевшие солдатские пальцы разучились держать кисть и резец. Нужно было войти в форму, научиться снова сидеть на студенческой скамье, многое переосмыслить, передумать.

Начались годы труда и учебы. Мешала болезнь, сдавали легкие. И тогда по совету врачей Г. Леви после окончания училища приехал в Иркутск и стал работать сначала в

кукольном театре, потом в областном книжном издательстве.

Художник увлекся оформлением сказок. Им сделаны рисунки к китайским, словацким, монгольским и венгерским сказкам. Его радовало их буйное цветистое жизнеутверждение, богатая выдумка, фантазия. Постепенно его работы становятся более тонкими, написанными в изящной, почти филигранной манере и технике. Это небольшие по размеру миниатюры.

Но с каждой новой работой художник чувствовал, что сужается его кругозор, что необходимо оставить сказочную тему. Хотелось сделать что-то более капитальное, тянуло к жизни, к активному, гражданскому участию в ней.

Г. Леви много путешествует, его видят на стойбищах эвенков, в недоступной Тофаларии, горной Туве, Якутии, Бурятии, Хакассии. Он слушает легенды бурят с острова Ольхон и идет вместе с геологами на поиски. С археологической экспедицией академика А. П. Окладникова Леви спускается на лодке вниз по Ангаре до Каменных островов. Здесь участники экспедиции ищут рисунки, делают съемки местности. Художника поразили древние писаницы — наскальные рисунки, удивительно динамичные и в то же время сделанные просто — одним-двумя штрихами. В рисунках чувствовалось острое, тонкое и глубокое знание природы изображаемого.

В поездках художник не только восстанавливал силы и здоровье, он как бы начинал жить вторым дыханием. После стольких лет войны перед ним открылся новый мир — мир величавой природы с ее первозданным покоем, грандиозностью, масштабностью. И среди этих просторов и гор — люди, подлинные хозяева пространств, которые месяцами бывают в тайге вдали от своих домов, мерзнут, занимаются нелегким трудом, но жизнь которых удивительно гармонична, полна глубокого содержания и подлинной красоты.

Так родилась северная серия линогравюр, выполненных в черном и белом цвете, итог многолетних раздумий и размышлений художника. В них Г. Леви создал обобщенный эпический образ северных народов, полный величия, красоты, спокойной одухотворенности, силы и мужества. Это графическая поэма о простых людях — оленеводах, охотниках, рыбаках, геологах, живущих в трудных условиях севера, каждый день которых по-настоящему героичен без ложного пафоса и ненужной патетики.

Гравюры можно по праву назвать северной одиссеей художника. Они привлекают зрителя своим благородством, простотой, локальностью цвета и точным отбором изобразительных средств.

Пожалуй, одна из самых интересных гравюр — «Ожидание». Это вещь большого философского звучания и глубины, очень психологическая и емкая по содержанию. Пейзаж, изображаемый художником, очень прост — на берегу моря женщины и дети стоят в молчаливом ожидании. Неизвестно, чего они ждут, восходящего солнца после долгой полярной зимней ночи или рыбаков. Но в фигурах и во всей композиции много настроения, автору удалось очень точно передать неповторимое ощущение и состояние покоя, величие момента, когда человек остается один на один с природой.

Тема человека и природы была продолжена им в других работах: гравюра «Вечер» — по тихой сонной реке скользит лодка-берестянка, низкие тени, мужчина с веслом, спокойно курящий трубку. И снова ощущение покоя и величины природы, ее незыблемости, вечности. И как бы заключением является «Тишина», когда вы почти осязаемо чувствуете вечерний свет на реке, когда вода кажется шелковой и вас очаровывает это немного грустное, но светлое, задумчивое состояние уходящего дня, заката.

Но есть и другие работы, выражающие национальный характер северных народов, их спокойную уверенность, деловую неторопливость. Здесь вспоминается великолепно, ярко написанная фигура охотника с ружьем и собакой, подлинного хозяина тайги. «Стремнина»— рыбак на утлой лодочке, преодолевающий бушующие пороги. Упругие, сильные струи воды, фигура, передающая напряжение момента и красоту, гибкость человеческого тела.

Герои гравюр Г. Леви — задумчивая мать с ребенком на руках, поэтичная северная мадонна и девушка, сидящая у костра, которая покоряет пластичностью, гибкостью и женственностью.

У Г. Леви есть несколько гравюр, изображающих танцы. Интересна работа — болгарский танец с масками «Проводы масленицы».

Не сразу рождались сюжеты и замыслы, потребовались годы, надо было отстояться впечатлениям, встречам, многое осмыслить и только тогда взяться за резец. На одни только эскизы у Г. Леви ушло более полутора лет. Это говорит о большой взыскательности и требовательности художника к себе, к свое-

му творчеству, о желании писать только о продуманном, пережитом и выстраданном.

Автор стремится к тому, чтобы каждый штрих, пятно, линия были выверены в рисунке и тоне, определяет отношение фигур и фона, меру условности техники, материал. Поэтому, несмотря на относительно небольшие размеры гравюр, художник тщательно работает над каждым куском отдельно. Строгий отбор средств выразительности покоряет в «Байкальских лодках», как бы пронизанных солнцем и светом, и полных чистоты и прозрачности «Буйволах», навеянных сюжетом индийских сказок.

— Каждый штрих,— говорит Г. Г. Леви,— имеет право на существование, если он необходим и работает на смысл, идею всего произведения.

Многочисленные эскизы и натюрморты, записи непосредственных впечатлений служат часто отправной точкой большой работы. В них оттачивается глаз, профессиональное мастерство художника.

Сейчас Георгий Григорьевич Леви работает над серией гравюр «Война такая, какая она есть». И невольно вспоминаются стихи Анатолия Преловского о Г. Леви.

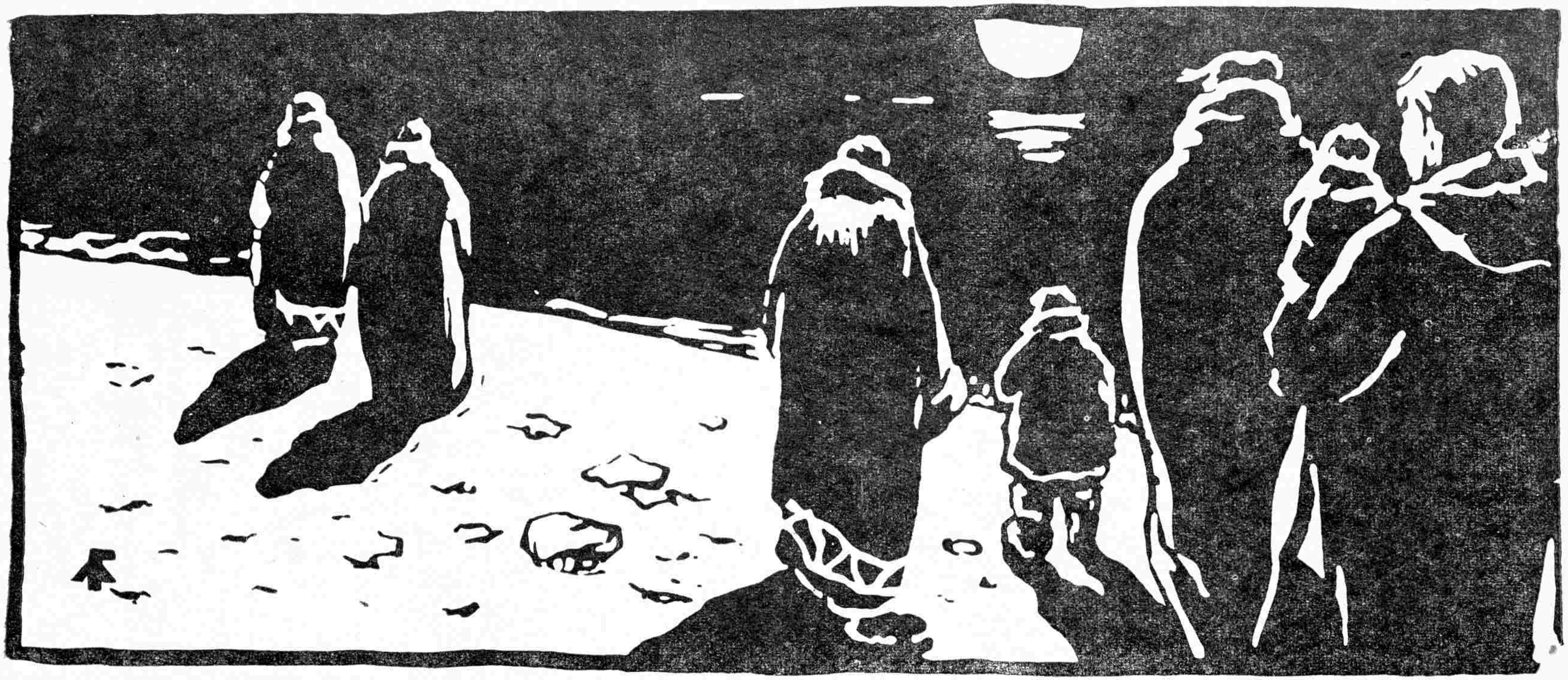
Бой на границе,
плен и лагерь смерти.
Побеги.
Схватки.
Годы — как века.
Ни разу он не вспомнил
о мольберте,
Писал пейзажи
Острием штыка.
Как трудно в нем оттаивали чувства!
Но вдруг былое
Смяло тишину,
и понял он:
его зовет искусство
и вот тогда
Он
написал
Войну.
Осенние бунтующие краски,
Лужок, покоем полный до краев,
И луч заката на
щербатой каске
Дымящийся и липкий,
точно кровь.

Уже создано много эскизов. Гравюра «Мать-земля». На ней изображена пожилая женщина, которая видела и знала тяжесть и радость материнства, труда, невзгод и лишений, женщина, пережившая горечь военных утрат и потерь, но не согбенная, а сильная, мудрая, крепкая, готовая к новым испытаниям. У нее неестественно гиперболизированные, увеличенные тяжелые рабочие руки и ноги, которые крепко стоят, почти уходят в землю. Еще ряд гравюр — «Гетто», «Смерть ребенка», «Солдаты, идущие в бой». Хочется верить, что это будут вещи большого эмоционального накала, выстраданные и пережитые, сделанные рукой зрелого мастера.

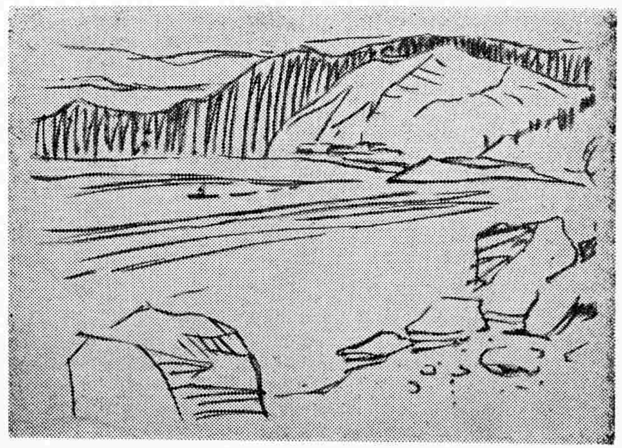
Диапазон творчества Г. Леви удивительно разнообразен. Его знают как художника — постановщика многих спектаклей (свыше сорока) ТЮЗа, кукольного театра, театра музыкальной комедии. Работа в театре обогатила его, в результате театральные декорации стали графичнее, а графика — декоративнее. В оформлении спектаклей «Цирк зажигает огни», «Прекрасная Елена», «Кот в сапогах», «Кот без сапог» Г. Леви добивается лаконичности, простоты, предельной четкости цветовых отношений и экономного, очень в меру использования декоративных деталей. В спектакле «Цирк зажигает огни» все декорации решены в основном в черно-белых цветах, а костюмы героев яркие, красочные. Художник стремится к точному определению цветового решения каждой мизансцены.

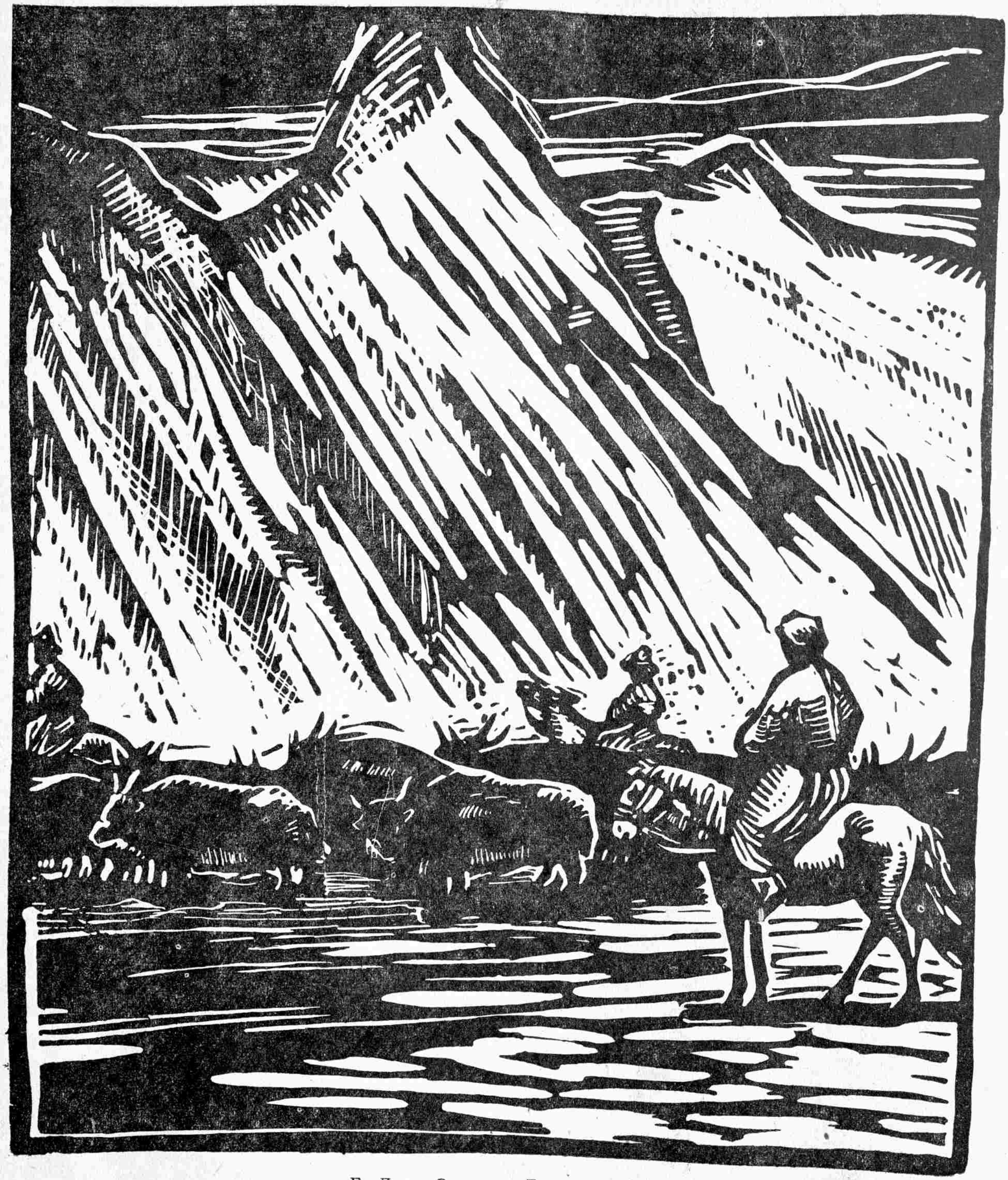
Широко известен Г. Леви в качестве книжного графика, им оформлено около ста пятидесяти книг для книжных издательств Уфы, Оренбурга, Улан-Удэ, Красноярска, Иркутска. Хороши в его оформлении иллюстрации к сказкам Е. Пермяка, пьесы-сказки П. Маляревского, где в современной манере сохранены традиции русского красочного яркого лубка, «Сибирь, в которой живу» М. Сергеева, «Тайна старого малахая» И. Зверева.

Основным в творчестве Георгия Григорьевича Леви остается графика. И хочется пожелать художнику, к которому пришла сейчас пора плодотворной творческой зрелости, еще более интересных и значительных поисков, свежести и неповторимости в замыслах.



Г. Леви. **Ожидание.** Гравюра.





Г. Леви. **Сарлыки.** Гравюра.

Виктор Соколов

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Роман[1]

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прямая узкая улица привела парней к берегу широкой реки. Резкий, порывистый ветер трепал седые гривы волн, срывал с них клочья пены. Моросил холодный дождь.

— Пробирает.— Высокий поднял воротник плаща, покосился в сторону бурята.— Как звать-то тебя?

— Вчера знакомились,— усмехнулся бурят.

— Забыл.

— Маратаем меня зовут. А фамилия Домбаев.

— Ясно.— Высокий достал из кармана пачку сигарет.— Будешь?

Маратай закурил.

— А ты Андрей Романов.

— Точно. Помнишь, значит.

— Я все вчерашнее помню.

На город быстро опускался вечер. Река потемнела. Усилился дождь.

— Ты куда сейчас?— хмуро спросил Андрей.

— Пойду в гостиницу. Дня через два на самолет и к своим.

— Переночевать и у меня можно.— Андрей бросил в реку окурок:— Пойдем.

За углом парни приостановились. Мимо с грохотом пронесся трамвай.

— Давай-ка заскочим вон туда,— указал Андрей на мерцающий вдали неоновыми огнями «Гастроном».— Прихватим бутылочку. Обмоем наше возвращение в цивилизованное общество.

Через полчаса они вошли в подъезд большого мрачного дома. По широкой грязной лестнице поднялись на третий этаж. Маратай сморщился. Пахло кошками, уборной, кислыми щами. Открыв дверь, вошли в большую, как палуба парохода, кухню. Около газовых плит суетились две пожилые женщины. При виде Андрея и его спутника они нахмурились, зашушукались.

— Заходи, дружище,— открыл дверь в комнату Андрей.

Маратай вошел. Пока хозяин распечатывал водку, раскрывал банку с консервами, резал хлеб и колбасу, гость внимательно осматривал его жилище. Двуспальная кровать, застланная суконным одеялом, старая кушетка, стол. Все серое, грязное. Пол давно не мыт. В углах высокой, похожей на щель комнаты — паутина. Везде много пыли. На крышке старенького радиоприемника груда окурков.

«Тоска, наверно, здесь жить»,— подумал Маратай. Он с любопытством взглянул на Андрея, своего нового знакомого. Парень как парень. Высокий, плечистый. Лицо вот почему-то все время нахмурено. Черные лохматые брови почти сходятся на переносице. На скулах катаются желваки. Большие голубые гла-

[1] Печатается с сокращениями.

за чаще злые, сердитые. Иногда насмешливые или грустные. Маратай познакомился с ним вчера в ресторане. Разговорились, заспорили, потом поссорились. А в конце-концов помирились и в честь этого хватили лишнего.

— Значит, один здесь живешь?— спросил Маратай.

— Ну, конечно,— дернул плечами Андрей.— Нравится хата?

— Жениться, поди, скоро будешь. Одному-то, наверно, скучно?

— Скучно? Да, бывает и такое... Ну, а насчет женитьбы я тебе скажу так. Зачем жениться, когда у соседа жена есть.— Андрей подмигнул Маратаю.— Ко мне тут одна ходит...

— А почему не женишься?

— На этой потаскушке? Что ты...— расхохотался Андрей. Он наполнил рюмки. Подвинул одну Маратаю.— Держи. А о женитьбе хватит. Все бабы шлюхи. Пьем.

— Ну, а родители-то у тебя есть?— допытывался Маратай.

— Нет,— покачал головой Андрей.— Мать и отец погибли. Я и не помню их... Давно это было... Жил в деревне у деда с бабкой. А потом у тетушек и дядюшек... Ну, хватит вопросами в меня ввинчиваться. Держи. Тяпнем.— Андрей поднял рюмку и залпом выпил водку.

Парни не спеша принялись за еду.

— Все бы ничего да вот соседи у меня сволочные,— подцепив вилкой кусок колбасы, сказал Андрей.— Видал, как зашушукались, когда мы с тобой вошли... Не нравится, видите ли, им, что ко мне парни с девчатами по вечерам приходят. Шумим, мол.... Обыватели. Как крысы, забились в свои щели...

— А где же ты работаешь?

— О... Работка у меня на совесть,— оживился Андрей.— Часовых дел мастер я. Дайка, браток, твои ходики.

Маратай снял с руки часы, протянул их Романову. Тот кончиком ножа ловко открыл крышку.

— Тэкс... Восемнадцать камней... Механизм грязный... Через месяц время по солнышку будешь узнавать. Завтра я приведу их в порядок. Поллитра с тебя. — Он отложил часы в сторону. — Вот такая у меня работенка. Поковыряешься отверточкой пять минут и есть бутылка. Халтур хватает. Деньги сами в руки лезут.

— А работать-то интересно? — допытывался Маратай.

— Ну, а как же... — усмехнулся Андрей. — Во всякой работе весь интерес в деньгах.

Выпили по второй рюмке, потом по третьей.

Маратай видел, что чем больше Андрей пьет водки, тем сильнее хмурится и мрачнеет. Домбаев хотел понять причину такого душевного состояния своего нового знакомого и не мог.

Вылив в рюмки остатки водки, Андрей сказал хмуро:

— А вообще надоело все... И водка, и работа, и девки, и соседи... Все! — Он стукнул кулаком по столу, замотал лохматой головой. — Все надоело.

Маратай встал, зашагал вокруг стола.

— Я что-то, Андрей, не пойму тебя. Изломанный ты какой-то. О людях плохо думаешь.

— Ха... — Романов усмехнулся, навалился грудью на стол. — Как же я должен думать, если, кроме пакости, от них ничего не видел.

— Ну, это ты зря...— остановился напротив него Маратай.

— Ничего не зря,— жестко сказал Андрей. Добавил с усмешкой:— А что ты меня не понимаешь... Э-э-э...Я и сам себя, да и других не пойму... И не хочу ничего понимать, потому что никто ничего не знает... Живи одной минутой и — баста. Что было, то прошло и то уж не воротишь... А что будет — неизвестно, и не стоит гадать. Вот так-то, Маратай. Ложись-ка ты спать. Не знаю, как у тебя, а у меня голова трещит.— Он бросил на кушетку подушку и одеяло.— Вот тебе постель. Дрыхни. Кстати, ты откуда, дружище, в наш город прикатил?— уже с кровати спросил Андрей.

— Со строительства Северной ГЭС. Слыхал про такую?

— Нет. И не хочу слышать.

— Почему?— удивленно приподнялся на кушетке Маратай.

— А...— Андрей пренебрежительно махнул рукой.— Не люблю я стройки. Кто на них едет? Кто на них работает? Подонки разные...

— Какие подонки? — не понял Маратай.

— Ну, шваль разная. Те, кому места в больших городах не остается...

Андрей не договорил. Маратай кошкой соскользнул с кушетки, рванулся к Романову и сдернул с него одеяло.

— Ты чего?—грозно приподнялся Андрей. Но, встретившись с черными глазами бурята, горящими злобой, он отшатнулся. Прижался спиной к стене.

— Негодяй! — выдохнул Маратай. Он размахнулся и ударил Андрея в лицо.

Романов соскочил с кровати. Двинулся на Маратая.

— Ты за что это меня ударил?

— За оскорбление.— Маратай дрожал от негодования:— Это кто подонки? Это мы?.. Это я... Это наши ребята подонки?..

— Ты за что меня ударил, сволочь?— поднял здоровенный кулак Андрей.

Маратай охнул от сильной затрещины в скулу и отлетел к окну. С опрокинутого стола повалились рюмки. Пустая бутылка укатилась под кровать.

— Ах так...— Маратай оттолкнулся от стены и ринулся на Андрея.

Полуголые, парни сцепились в драке.

— Кто подонки... Это я... Это наши ребята...— хрипел Маратай.

— Я тебе покажу...— рычал рассвирепевший Андрей. Вдруг он хрюкнул, схватился за живот. Скорчившись от боли, опустился на пол.

— Получил, негодяй...— Маратай быстро надел брюки, затолкал ноги в ботинки и, схватив в охапку пиджак и рубаху, выбежал из комнаты.

Минут через десять Андрей пришел в себя. Он поднялся, подошел к зеркалу. Долго разглядывал лицо. Под глазом красовался большой кровоподтек. На лбу содрана кожа. Пузырем вздулась верхняя губа.

— Нда... Фотография явно испорчена...— сокрушенно покачал он головой:— Как я завтра своим клиентам покажусь — не представляю. Вот осел. Надо же из-за пустяка так взъесться. Ух, подонок.

Андрей замкнул дверь. Потушил свет. Погрозив темному квадрату окна кулаком, упал на кровать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Проснулся Андрей от сильного стука. С трудом открыл заплывшие опухолью глаза. Потрогав вспухшую губу, вспомнил ночную драку. В дверь снова постучали. Шлепая босыми ногами по полу, подошел к двери. Открыл ее. Перед ним стоял Маратай.

— Чего тебе?— нахмурился Андрей.

— Часы вчера здесь забыл.— Маратай шагнул в комнату.

— Часы?— переспросил Андрей и вдруг рассмеялся. Уж больно карикатурно выглядела физиономия его противника. Вместо глаз — узенькие щелочки. Зато нос, вчера едва заметный на круглом лице, сегодня опух и воинственно торчал между щек. Ну как тут не рассмеешься, хотя у самого рожа разукрашена еще почище.

— Улыбаешься... А ты посмотри на свою морду, — пробурчал Маратай и взял с подоконника забытые часы.

— Своей я вчера любовался, — одеваясь, сказал Андрей, — сегодня на твою хочу посмотреть, — и вдруг спросил: — Сердишься?

— Повторишь вчерашнее — и сейчас в рыло дам.

— Ну ладно, ладно,— похлопал его по плечу Романов.— Горячий уж ты сильно... Слова нельзя сказать...

— А ты думай, прежде чем говорить. Понятно?

— Чего вчера смотался? Я же тебя не выгонял...

— Разозлился на тебя здорово.

— Ну ладно... Ты куда идешь сейчас?— спросил Андрей.

— Мне в совнархоз надо...— вздохнул Маратай.— А куда я с такой разукрашенной вывеской пойду. Придется денек-другой подождать.

— Ну, а я потопаю на работу,— сказал Андрей.

Парни вышли в коридор. Женщины опять были на кухне. Они как по команде оглянулись. Зашептались, наклонившись друг к другу, и вдруг расхохотались.

— Видать, всю ночь целовались,— сквозь смех сказала одна.

Андрей молча прошел мимо злых на язык соседок и стал спускаться по лестнице. Маратай за ним.

На улице Андрей кивнул на дом:

— Ну, теперь полгорода будет знать про нашу потасовку.

— Да не обращай ты на них внимания. Что же им плакать, глядя на наши изуродованные будки.

Около парней, планируя, опустилась на асфальт белокрылая голубка. Семеня розовыми ножками, она подбежала к луже и, запрокидывая головку, стала пить воду. Подлетел воробей и спугнул голубку. Воробей был грязный, как трубочист, и нахальный. Он залез в лужу и, распустив крылья, стал купаться.

— Вот пижон,— Андрей свистнул. Воробей чирикнул и улетел.

Маратай рассмеялся.

— Так ты куда все же сейчас?— спросил его Андрей.

— С тобой, в часовую мастерскую... Ты же обещал вчера мне часы отремонтировать.— Маратай едва заметно улыбнулся.

Часовая мастерская, где работал Андрей, находилась на центральной улице. Зашли в подъезд большого здания. Сразу же у входа под лестницей приткнулась каморка, похожая на собачью будку. За дверью Маратай увидел пожилого обрюзгшего человека. Тот повернулся к вошедшим, кивнул им и снова склонился над разобранными часами.

— Ну, давай твои ходики,— хмуро сказал Андрей. Он надел нарукавники и сел за стол.

Маратай листал подшивку старых журналов и поглядывал то на Андрея, то на его соседа. Ему было странно, что напарник Андрея так равнодушно отнесся к их поцарапанным физиономиям.

«Или привык, или только о себе думает»,— решил Маратай.

Минут через пятнадцать в окошечко постучала пожилая женщина.

Андрей открыл окошечко.

— Пожалуйста, гражданка.

— Часы вот, сынок, что-то испортились... Не подладите ли их... Жалко... Подарок дочери...— Она долго рылась в сумочке.

Маратай отложил в сторону журнал и смотрел на женщину. Горькие, печальные складки в уголках рта. Седые волосы. Узловатые, натруженные руки. Чем-то далеким она походила на его мать.

— Побыстрей можно?— сердито поторопил ее Андрей.

— Да вот. Вот они,— женщина торопливо вытащила из сумочки маленькие часики.

Андрей открыл крышку. Долго разглядывал часы, копался в шестеренках.

— Да, гражданка,— не поднимая головы, проговорил он,— с часами дело плохо... Вы, вероятно, роняли их?

— Что-то не припомню... Ну, да может... Может быть...— махнула рукой женщина.— А что?

— Сломана пружина и погнута ось. Вернуть сможем только дня через три...

— А сколько же стоить будет ремонт?— спросила женщина.

Андрей открыл старую потрепанную книжицу. Полистал ее.

— Три рубля двадцать пять копеек,— сказал он. — Можно выписать квитанцию?

Женщина тяжело вздохнула.

— Что же делать... Выписывайте, — она отсчитала деньги, взяла квитанцию и ушла.

Андрей, заметно повеселев, подмигнул Маратаю.

Зазвонил телефон. Напарник Андрея снял трубку. С кем-то переговорив, повернулся к Андрею:

— Председатель артели тебя требует.

— Зачем это я ему понадобился?— недоуменно пожал плечами Романов.

— Не знаю.

— Ну хорошо. Раз начальство приказывает —надо повиноваться.— Андрей снял нарукавники.— Пойдем, Маратай. Пока то да се — гляди и обед.

Они вышли на улицу. Влились в текущую по улице толпу людей. Андрей то и дело дергал Маратая за руку, кивал на проходящих девушек:

— Красоток — с ума можно сойти,— и вдруг спросил: — Видал, как я работаю?

Маратай пожал плечами:

— Ничего особенного. Мелкая работа. Для стариков.

— Для стариков... Понимаешь ты что...— обиженно протянул Андрей. — Это же точная механика. Я часовой мастер, а не какой-нибудь там бетонщик или арматурщик... Тут больше надо работать головой, а не руками. Кстати, ты видел, как я эту тетеньку вокруг пальца обвел? Ну, которая часы оставила ремонтировать?

— Ничего не видел,— удивленно вскинул брови Маратай.

— Эх, ты, ворона,— усмехнулся Андрей.— В ее часах ничего не ломалось и не гнулось. Там всего-навсего пружинка со своего места соскочила. А я наговорил ей семь верст до небес и все по кочкам.

— Зачем же ты это?

— Как зачем? — недоуменно выпучил глаза Андрей.— Ремонт-то натурально стоит рублевку, а я за него взял три с лишним целковых... Вот за день-то гляди и насобираешь детишкам на молочишко. Вот так-то.

— Эх ты, дешевка. — Маратай зло плюнул.— Может, она последние копейки...

— А... брось,— перебил Андрей.— Фальшивый гуманизм... Слышал такую научную формулировку? Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву... У этой тетки, может быть, денег мешок с маленьким кулечком.

— Откуда ты знаешь это?— пухлые губы Маратая задрожали от гнева.

— Не знаю, но предполагаю. Понятно. А точно я знаю одно — если не обманешь, то и не проживешь. Тебе, идеалист, не мешало бы это усвоить. Легче жить будет... Вот мы и пришли.— Андрей толкнул ногой тяжелую массивную дверь. По крутой широкой лестни-

це быстро забежал на второй этаж. Крикнул с верхней площадки:

— Подожди меня внизу.

Маратай купил в киоске газету. Сел на краешек ступеньки и стал читать. «На луга пришел сенокос!»— извещал заголовок статьи на первой странице.

— Уже сенокос?— удивился Маратай. Там, на севере, он и не заметил, как распустилось, расцвело короткое сибирское лето. Сенокос... Сколько с этим коротким словом у него, Маратая, связано хороших воспоминаний! От газетного листа вдруг пахнуло душистым ароматом скошенных трав... Защекотала ноги колючая стерня... На какой-то миг показалось, что за ворот рубахи набилось молодое свежее сено... Он даже плечами повел.

«Наши тоже, наверно, вышли на луга,— подумал Маратай.— И мать, и сестренка... Хороши забайкальские степи... Ох, хороши... Ширь, простор, приволье. Вот бы сейчас взять в руки литовку и, припадая одной ногой, двинуться по широкому лугу в дружном ряду косцов. И слышать тугой звон кузнечиков, и вытирать с лица обильный пот, и пить из крынки холодное сладковатое молоко...»

Маратай тяжело вздохнул и огляделся. Зачем он здесь? Ждет Андрея? Но кто ему этот парень? Никто. Он хотел было встать и уйти, но, развернув газету, увидел заголовок: «Сегодня на строительстве Северной ГЭС».

В небольшой заметке сообщалось о том, что строители самой северной в нашей стране гидроэлектростанции, сооружаемой в районе вечной мерзлоты, вчера начали подготовку к перекрытию левобережной протоки бурной реки Тылтыкан.

— Молодцы, ребята!— Маратай радостно хлопнул ладонью по газете.

— Кто молодец?— хмуро спросил подошедший Андрей.

— Да наши... На стройке... Левобережную протоку готовятся перекрывать...

— Ага...— криво усмехнулся Андрей.— У вас еще только готовятся перекрывать... А у нас перекрыли. Вернее, нас уже накрыли.

— Кого накрыли?— не понял Маратай.

— Меня... Кого же еще... Уволили с работы. Но...— Андрей поднял указательный палец.— Но проявили гуманность. Гу-ман-ность! Понятно. Рука, видите ли, у этого бюрократа не поднимается марать мою трудовую книжку. Предложил написать заявление. Он увольняет меня по моему же горячему, ну просто-таки пламенному желанию...

— Да ты не кривляйся. Расскажи толком, что произошло,— дернул его за руку Маратай.

— А что рассказывать, — пожал плечами Андрей.— Позвонили из милиции. Так, мол, и так... Был в вытрезвителе. Хулиганил. А тут еще синяки на роже. Факты недостойного поведения налицо... Ну, конечно, начальничек припомнил старые мои фокусы... И, как говорится, сделал определенные оргвыводы. Придется по такому торжественному случаю напиться. Как ты думаешь?

— Ну, нет,— Маратай покачал головой.— Я еще со вчерашнего не пришел в себя. Да и дела вечером кое-какие есть. В студенческое общежитие надо заскочить. Парня знакомого попроведать.

— Ну, иди... Я сейчас за расчетом, а потом видно будет.— Андрей повернулся и пошел по коридору. Уже издали крикнул:— Негде будет ночевать — приходи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ощущение одиночества среди шумных полупьяных людей с каждой минутой нарастало. Выпитая водка не успокаивала, наоборот, увеличивала раздражение. За соседним столиком какой-то хлюст с тонкими усиками-шнурками поздравлял розовощекого толстяка с днем рождения и лез к нему целоваться.

— Эй, детка! Еще двести водки и пива... Пива!— крикнул Андрей официантке.

Пришли знакомые парни. Помахали ему издали. С ними две девушки. Склонившись над меню, компания весело переговаривалась. Одна из девушек, крашеная блондинка, оглянулась и встретилась взглядом с Андреем. Он подмигнул ей. Блондинка отвернулась и, кивая в его сторону, сказала что-то своим друзьям. Парни засмеялись. Один из них шутливо погрозил Андрею пальцем.

Андрей сморщился:

— Сиди-сиди... Никто не собирается уводить твою курочку.

Из ресторана он вышел поздно. Покачиваясь, побрел по ночному городу. Навстречу попадались парочки. Улыбались девичьи лица. А у него нет любимой девушки. Почему? Он ведь тоже мог бы вот так же смеяться, шутить, ласково держать в свой руке руку подруги. Да... Но почему у него нет любимой девушки? А... Все они шлюхи. Была ведь у него Ниночка... Ну разве не потаскуха... Переметнулась к другому. А Женька? Ну, это не в счет... Просто толстозадая кобыла.

А Маринка? А что Маринка... Она хорошая... И добрая... И красивая... Только очень уж умную из себя корчит. Ей, видите ли, не нравится, что он пьет. Ха... Ей, видите ли, не по душе его отношение к людям. Ха... Ерунда все это. Он свободный человек... Что хочег, то и делает. Сво-бод-ный... И наплевать на все. Подумаешь, с работы уволили... Выгнали... Все это ерунда. Из жизни не выгонят. Работа будет. У нас не какая-нибудь там Америка. Это не Соединенные разные там Штаты, где живут дис... дискриминированные негры. А что негры? Негры отличные парни. Когда-нибудь они вломят чистокровным американцам за свинское отношение. И правильно сделают...

Андрей шел и бормотал под нос первые попавшиеся слова. А почему бы и не поговорить. Он одинок... Разве воспрещается говорить самому с собой... Это даже интересно... Никто не спорит с тобой. Да, но о чем же он думал?

Андрей остановился. Потер кулаком переносицу. Тяжело вздохнул. Качнувшись, побрел дальше. Ага, вспомнил... Он думал о Маринке. Она говорит, что он опустился. Что он, мол, не достоин славного прошлого своих родителей. Что он позорит их память. И еще она говорит, что если бы его старики были живы, то они сгорели бы от стыда, что у них такой сын. Может, права Маришка? А? Нет, она просто дура. Да. Ду-ра. Она ничего не понимает. Ничегошеньки... А какое ей дело до его стариков. Они мертвы. Им все равно, какой дорогой пойдет их сын. Им все равно... Да... А сейчас его старикам было бы под пятьдесят. Они погибли за Советскую власть... Черт... Все-таки он свинья. Наверно, свинья... Не так живет...

Недалеко от дома его кто-то догнал, тронул за плечо. Оглянулся. Перед ним стояла полногрудая высокая девушка.

— А, Женя... Ты кстати подвернулась. Я домой... Пойдем ко мне...

— Пойдем,— кокетливо повела плечами девушка.

— Ты, Джека, просто молодец. Бутылочку прихватим? У меня денег — куры не клюют.

Женька хихикнула:

— Как хочешь.

Через кухню шли, стараясь не шуметь. Женька, держа Андрея за руку, тихо смеялась. В темноте хлопнула чья-то дверь. Женька испуганным мышонком шмыгнула в комнату.

— Чего ты боишься? Не первый же раз...— Андрей вытащил из кармана бутылку. Снял пиджак:— Раздевайся, Джека. Я хочу в постель... В постель...

Через продолговатый четырехугольник окна Андрей видел в темном небе луну. В голове шумело. Казалось, что луна качается, как маятник больших настенных часов. Сбоку, рядом, белели Женькины плечи.

— Меня, Джека, с работы уволили,— сказал Андрей.

Женька повернулась к нему.

— У нас недавно тоже одного парня уволили.— Она приподнялась. Взяла со стола сигарету. Закурила.

— Куда бы теперь устроиться на работу?

— Я себе юбку бочоночком заказала.— Женька повернулась к Андрею. Обняла его. Поцеловала.— У тебя почему губы опухли? Целовался?

— Подрался тут с одним...

— А... У нас тоже вчера два парня подрались,— она хихикнула.— Из-за девчонки.

— Меня, Джека, с работы уволили...

— Ты уже говорил. Знаешь, за мной один женатик увивается. Потеха. Симпатичный такой... У него двое детей...— Женька снова хихикнула.

— Слушай, Джека,— Андрей приподнялся,— ты знаешь о том, что ты телка?

Женька засмеялась:

— Ты пьяный.

— А ты телка.— Андрею вдруг стало противно, что рядом с ним лежит эта толстая и глупая девка. Хотелось еще сказать ей что-нибудь грубое. Но он сдержался. Глядя на мерцающую в окне луну, спросил:— Джека, ты бы на луну полетела, если бы наши такую ракету изобрели?

— Не... А что там делать?

— Я же говорю, что ты телка.

— А ты бы полетел?

— Куда же на работу устроиться?

— Я сегодня объявление видела, каменщики на стройку требуются...

— Джека, иди домой.

— Почему?

— Меня тошнит, Джека... Иди... Если не уйдешь, я могу в окно выпрыгнуть... Иди...

Женька встала. Обиженно сопя носом, начала одеваться.

— Сам же пригласил... Никто к тебе не навязывался...

Андрей отвернулся к стене. Вдруг в дверь постучали. Женька быстро оделась. Включила свет. Поправив измятые волосы, открыла дверь.

Андрей приподнялся на кровати.

— А... Маратай... Проходи, старик. Да ты не стесняйся...— и крикнул топтавшейся около двери Женьке— Джека, пока!

— Я думал, ты один,— смущенно проговорил Маратай.

— Выпьешь?— Андрей вылил в стакан остатки вина.

— Можно. А ты?

— Я уже нагрузился. Но не помогает... Тоска какая-то навалилась... Все противно... Думал, с Женькой легче станет.— Андрей уткнулся лицом в подушку, замотал головой.— Тоска... Тоска...

Маратай выпил вино. Взял конфету.

— А я сегодня хорошо поработал. Вечером все же решил зайти в совнархоз. И подвезло... Запчасти для кабель-крана выписал. Завтра отгружу и можно на север, к своим...

— У тебя там родные? — спросил Андрей.

— Нет. Родные у меня в Забайкалье, в деревне. А там знакомые ребята и девчата. Вместе работаем. Обожди-ка, у меня, кажется, фотография есть. — Он полез в карман пиджака. — Вот. Посмотри. Вся наша бригада.

Андрей, пьяно щурясь, долго разглядывал фотокарточку.

— Это из-за них ты вчера драться полез?

— Угу.

— А это кто такие?— Андрей ткнул пальцем в фотографию и указал на стоящих среди парней трех девушек.

— Девчата наши,— глаза Маратая радостно блеснули:— Замечательные девчата. Вот эта, в центре, Галина Яковенко. Электромеханик. Та, что слева,— Катюшка Иванова. Она слесарем работает. А справа стоит Ульяна Сорокина. Стажер. Готовится в машинисты. А это все наши ребята. Парни на совесть.

— Парни как парни. А вот девочки ничего... Особенно вот эта, большеглазая. В центре которая...

— А... Это Галинка. Она у нас строгая. Не подходи, — улыбнулся добродушно Маратай.

— Все они строгие. С ними, Маратай, нужны быстрота и натиск. Тогда всю их строгость будто корова языком слизнет. Видел вот эту... Ну, с которой в дверях встретился. Тоже строгая была... Сейчас, как овечка.

— Наши не будут овечками. Не такой закваски. А эта что... Ни чести, видать, ни совести... Наши девчата гордые, красивые и чистые.

Андрей пьяно рассмеялся:

— Ты сильно-то их не расхваливай. А то вот возьму и махану туда, к вам на стройку. У тебя невесту отобью. Будешь тогда хвататься.

— Слушай Андрей... — сказал Маратай. — Что тебе здесь делать? Поедем к нам на стройку. Рабочих у нас не хватает. Лишним не будешь. Хочешь работать бетонщиком — бетонщиком станешь. Экскаваторщиком — на экскаваторщика выучат. Могу помочь на кабель-кран устроиться. Поедем. Ну что тебя здесь держит? Эта вонючая и тесная, как могила, комната? Да я бы через месяц с тоски в ней сдох. Ни друзей у тебя здесь настоящих, ни товарищей. Я думал, ты с девушкой хорошей знаком. А ты вон с кем водишься. Тьфу... — плюнул Маратай. — Сам себя позоришь.

Андрей задумался. И вдруг, тряхнув головой, взглянул на Маратая.

— Слушай, старик... А ты, пожалуй, прав. Мне здесь делать действительно нечего. Я еду с тобой.— Он протянул Маратаю руку.— Только, дружище, бетонщиком или там экскаваторщиком я не буду работать. Уволь. Мой профиль — точная механика. У вас там часовая мастерская найдется?

— Все у нас найдется... Все,— обрадовался Маратай. Он быстро разделся и нырнул под одеяло. Уже лежа на кушетке, сказал:— Завтра полетим. Ты, Андрей, даже не представляешь, какая там у нас красотища... Тайга... Горы... Бурные реки и речушки... Есть даже места, где нога человека не ступала... А зверья сколько! И соболи, и горностаи, и медведи... А недалеко, в тайге, эвенки и якуты живут...

Маратай еще долго рассказывал про тайгу, про стройку, про товарищей. Он замолчал только тогда, когда услышал громкий храп Андрея, его сонное, несвязное бормотание.

Странный сон приснился в эту ночь Андрею. Он ходил по какой-то большой стройке, а рядом бегало много разного зверья. Якуты и эвенки отгоняли их палками. На высокой башне какого-то диковинного крана сидел Маратай и весело смеялся.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Вон! Вон! Наш поселок!— крикнул Маратай и толкнул Андрея в плечо. Парни припали к иллюминатору. Маратай тыкал пальцем в стекло и показывал вниз, под крыло самолета. Но сколько Андрей ни всматривался, прижавшись лбом к холодному окну, он ничего не мог разглядеть. Под плоскостью

стремительно проносились рваные клочья облаков. А там, далеко внизу, куда хватал глаз, ощетинилась острыми вершинами деревьев тайга, таинственная и неприветливая.

— Да вот же... Вот, где две реки сливаются...— нервничал Маратай.— Смотри лучше... Неужели не видишь?

— Нет, не вижу...— растерянно бормотал Андрей.— А не те вон несколько домиков?

— Ну да... Они...— обрадованно закивал Маратай.

Андрей откинулся на спинку кресла, внимательно посмотрел на него и вдруг громко расхохотался.

— Ну и хохмач же ты, Маратай, как я погляжу,— сквозь смех сказал он.

— Что такое?— не понял Маратай.

— Я думал, что здесь правда, что-то солидное строится... А тут всего несколько домишек.

Маратай промолчал. Самолет, сделав крутой разворот, пошел на снижение. Пассажиры заерзали в креслах.

Чем ближе к земле приближался самолет, тем тревожнее становилось на душе у Андрея. Откуда пришло это беспокойство, он не знал. Но уже не подсмеивался над Маратаем. Прикрыв глаза, притих в кресле. Вспомнились невеселые напутственные слова бывшего напарника по работе в часовой мастерской. Сегодня утром, узнав, что Андрей летит на север, он отвел его в сторону и сказал тихо: «Куда ты едешь, дурак? Ты думал об этом? Там, на севере, тебе не место... Там холодно... Там голодно... Там ты никогда не выпьешь стакан хорошего вина... Не съешь свежего яблока... А главное, люди... Там люди, Андрей, не те... Я тебе много говорил об этом... Не езди... Отвяжись ты от этого бурята, пока не поздно. Я тебе помогу здесь на работу устроиться. Можно будет делишки делать...» Андрей было в нерешительности затоптался. Но подошел Маратай и показал билеты на самолет. Андрей не смог отказаться.

В окнах-иллюминаторах замелькали верхушки зеленых сосен. Все тело сжалось, как бы предчувствуя удар. Руки крепко обхватили подлокотники кресла. Самолет стукнулся колесами о твердую землю. Подпрыгнул. Снова стукнулся и покатился по аэродрому. Пассажиры засуетились, потянулись к сумкам и чемоданам.

— Вот и Покровск,— выдохнул кто-то. Андрею было непонятно: обрадовался этот человек, прилетев сюда, или огорчился. На сердце стало еще тревожней. Он взял чемодан и, держась поближе к Маратаю, вышел из самолета. Огляделся. На широком поле аэродрома было пустынно и тихо. До странности тихо. Поднятая самолетом пыль медленно оседала на землю. Вдали горбатились горы. И куда ни глянешь — тайга, тайга... Андрею почему-то показалось, что стоит он на высокой горе, с которой все хорошо видно. Он поднял голову. Небо бледно-голубое. Оно будто распахнуло свой простор в неведомые дали.

Подошел автобус. Пассажиры быстро заняли места, и машина тронулась.

Минут через десять въехали на узкую улицу. По сторонам теснились дома с геранями на окнах.

— Это Покровск. Районный центр,— объяснил Маратай.— Вот школа. Вон больница. В той вот роще Дом культуры. А вокруг этого городка больше десятка золотых приисков. Самые богатейшие залежи в стране...

— А где твоя стройка?— перебил его Андрей.

— До нее еще хватит киселя хлебать. Километрах в сорока отсюда... Вниз по реке... Хорошо бы катер у пристани застать...

Но катера на пристани не оказалось. Маратай забрался в причаленную к берегу моторную лодку и, пошептавшись о чем-то с мотористом, махнул Андрею рукой.

— Давай сюда!

Едва Андрей успел забраться в лодку, как взревел мотор.

— Держись!— крикнул моторист.

Лодка круто отвалила от берега, повернула вниз по течению и, набирая скорость, понеслась к громоздящимся вдали скалистым горам. Впервые Андрею приходилось плыть по такой реке. Вода в ней словно кипела. Мутный поток крутился, как огромная карусель, бурлил, затягивая в черные омуты, щепки, ветки, листья. То и дело лодка со всего хода врезалась в крутые горбатые волны; брызги летели в лицо, на одежду. Каменистые берега до предела сжимали реку и, казалось, что она торопится вырваться из их жестких объятий. На редких плесах-разливах река как бы облегченно вздыхала, успокаивалась и плавно несла свои воды дальше.

Андрей смотрел на дальние, подернутые синей дымкой горы, на скалистые берега, на окутанную зеленой пеной густую тайгу и хотел навсегда запомнить эту неповторимую красоту северного края. Но как-то не бралось такое... Не бралось разом все обилие щедрых летних красок, бездонная прозрачно голубая

синь высокого неба, бурливая глубина реки... Он стоял и, боясь спугнуть нахлынувшие чувства, рожденные великой красотой незнакомой земли.

— Вот и наша стройка!— крикнул сквозь рев мотора Маратай. Он указал на левый берег, туда, где тесной кучкой стояло несколько домов.

Лодка зашуршала днищем о песок и ткнулась в берег. Парни взяли вещи и направились к поселку. Как-то незаметно исчез шум реки, будто и не было за спиной бурлящего, клокочущего потока. Стучали топоры. Звенели пилы. Голоса людей смешивались с рокотом моторов. Маратай и Андрей вышли на просеку. По ней прокладывали дорогу. Бульдозер, надрываясь, толкал перед собой огромную кучу земли. Где-то рядом за лесом с ревом и грохотом проносились автомашины. По обеим сторонам просеки строились жилые дома.

— Здорово, Маратай!— высунулся из кабины бульдозера улыбающийся черномазый парень.

— Привет, привет,— помахал ему рукой Маратай.

— А... Майкл прибыл,— раздалось рядом. Из-за кустов вышел здоровенный верзила в узеньких брючках и полосатой рубахе. Он хлопнул Маратая по плечу:— Ну, как там на большой земле идут дела?

— Железно, Гарри,— улыбнулся Маратай.

— Отлично, Майкл. Отлично. Угости сигареточкой, и я потопаю дальше. Ответственное задание самого дядюшки Билля выполняю. За гвоздями он меня послал.— Долговязый закурил и, проламываясь через кусты, пошел дальше.

— Кто такой?— спросил Андрей.

— Гришка Журавлев... Плотник из бригады Блинова...— не договорил Маратай.

— Товарищу Домбаеву салют,— послышалось с лесов строящегося дома.

Парни подняли голову. На них, улыбаясь, смотрела девушка.

— Тебя, видно, здесь каждая собака знает,— усмехнулся Андрей.

— Почему собака... Люди знают,— Маратай широко улыбнулся.

Подошли к старой, выгоревшей на солнце палатке. Маратай отвернул ее край, залез внутрь, позвал за собой Андрея. В палатке полутемно. Свет едва пробивался через маленькие оконца.

— Да... Житуха, видать, неважная здесь,— сказал Андрей.

— Хорошо живем. Отлично живем.— Маратай взял со стола большой букет цветов.— Вот цветы даже есть. Как называются?

— А черт их знает, — отмахнулся Андрей.

Маратай засмеялся.

День клонился к концу, когда Маратай и Андрей направились к огромной торчащей над березняком мачте кабель-крана. Где-то рядом глухо шумела река. Ее грозный монотонный гул сливался с рокотом машин, с голосами рабочих.

— Смотри-ка... Никак, Маратай.

И не успели парни выйти из березняка, как от кабель-крана к ним с криком и смехом метнулось несколько фигур. Они схватили Маратая и закрутили-завертели его.

Андрей остановился в стороне, исподлобья смотрел на незнакомых людей.

— А мы тебя заждались. Думаем, уж не сбежал ли совсем...— приветливо смеялась светловолосая девушка. И от этого смеха Андрею почему-то стало легче и проще.

— А что это у тебя с губами?— она уже не смеялась.— Да тебя, кажется, избили... Под глазом синяк... Нос картошкой...

— Ерунда,— Маратай взглянул на Андрея.— Ты лучше познакомься с моим товарищем. И вы, ребята...

Все повернулись к Романову.

— Вас, видно, обоих колотили,— разглядев синяки и на лице Андрея, покачала головой девушка.

— Обоих,— кивнул Андрей.

— Работать к нам?— спросил его долговязый.

— Посмотрю, что предложите.

— А что умеешь делать?

— Часы ремонтировать.

Парни снисходительно улыбнулись. Девчата весело расхохотались.

— А с ювелирным делом вы случайно не знакомы?— повела плечами белокурая. И ее большие голубые глаза заискрились лукавством.

— Для вас могу и ювелирным мастерством заняться, — прищурился Андрей.

— Благодарю. Это я так... На всякий случай спросила.

— А я на всякий случай и предлагаю.

— Разговорчивый какой...— девушки с любопытством оглядели Андрея с ног до головы.

— И вежливый, видать,— оттопырила нижнюю губку ее подруга.

— Надо полагать... Он же часовых дел мастер,— сказала белокурая.

— А по-моему, дамских дел мастер, — оттопыренная губка задрожала от смеха.

Девчата дружно рассмеялись.

— Сейчас частушки запоют... Мой миленок, как теленок... Эх, фольклёр...— Андрей притворно тяжело вздохнул. Но девушки даже и не оглянулись. Они поднялись по крутой лестнице в кабину кабель-крана и захлопнули за собой дверь.

— Я же говорил тебе, наши девчата не то что твоя Женька-овечка,— засмеялся Маратай.

— Как эту блондинистую звать?— спросил его сердито Андрей.

— Так я же тебе говорил... Фотокарточку когда показывал... Это она и есть, Галина Яковенко. А та вторая...

— Та меня не интересует, — перебил его Андрей.

Где-то рядом глухо ухнул взрыв. Земля под ногами вздрогнула, закачалась.

— Скалу рвут. — Парни торопливо побежали к реке. Андрей вместе со всеми подошел к краю обрыва. Сверху и машины и люди казались игрушечными, а многоводная бурная река — неприступной. Она горбатилась крутыми волнами, клокотала, стремительно и бесстрашно неслась мимо грозно нависших высоких хмурых скал. Даже мысленно остановить ее, перегородить казалось безумным, неосуществимым делом.

Вдруг у кромки противоположного берега букетом поднялось черное облако.

— Взрыв!— крикнул Маратай. Андрей невольно отпрянул от обрыва. Вздрогнула под ногами земля. И в тот же миг окрестности сотрясло гулкое эхо. Огромное черное облако рухнуло в реку. Вверх взметнулся гигантский фонтан брызг. Над зеленой тайгой тревожно закаркали вороны. Звонкоголосый гул покатился по верхушкам сосен к видневшимся вдали крутолобым гольцам.

— Видал, какая у нас красота,— повернулся к Андрею Маратай.

— Диковато.

— Ничего. Привыкнешь.

— Дак как насчет работы? — Долговязый протянул Романову открытый портсигар.— Нам нужен человек. Хочешь, поговорим с Коршуном насчет тебя?

Андрей закурил. Небрежно спросил:

— Это кто такой Коршун?

— Старший машинист кабель-крана.

— Нет, не надо,— Андрей покосился в сторону кабель-крана, откуда раздавался веселый девичий смех.— Не надо. Я попробую по специальности. Есть у вас здесь часовая мастерская?

— Часовая! — усмехнулся долговязый. — Да здесь пока бани и той нет... А ты говоришь, часовая мастерская. Вот все, что имеется тут, перед тобой: тайга, горы, река и мы... Остальное все надо строить. Понятно?

— Понятно. — Андрей нахмурился. Бросив под обрыв недокуренную папиросу, взял под локоть Маратая, отвел его в сторону: — Ты зачем меня сюда приволок?

— Работать,— открыто взглянул ему в глаза Домбаев.

— Ты обманул... Здесь нет для меня работы.

— Построй мастерскую — будет. Не хочешь — иди работать к нам или бетонщиком, плотником, арматурщиком... — добродушно улыбнулся Маратай.

— Вот что,— подвинулся к нему вплотную Андрей:— У меня не хватит на обратную дорогу денег. Дай в долг. Прилечу в Иркутск — вышлю.

Маратай ощетинился. Брови его нахмурились. Черные глаза стали колючими, злыми:

— Испугался, значит. Так вот. Я трусам деньги в долг не даю,— выдохнул он.

— Кто трус?— Андрей схватил его за грудки. Притянул к себе.

— Ну-ну... Полегче,— подошел долговязый, положил Андрею на плечо руку. С другой стороны Романов увидел еще двух парней. Он оттолкнул Маратая от себя.

— Нужны вы мне... Подонки... На обратную дорогу я деньги достану... — Андрей повернулся и быстро пошел к палаткам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Первую ночь на строительстве Андрею пришлось переночевать на чужой койке. Зашел поздно вечером в чью-то палатку — пусто. Лег — и заснул мертвецким сном. А утром вскочил — солнце уже высоко и в палатке опять нет никого. Совсем было собрался идти, но увидел на столе исписанный лист бумаги и на нем корявыми буквами: «Знаю, проспишь. В столовку опоздаешь. Оставляю тебе харч. Не стесняйся — трескай. Пашка».

— Это что еще за Пашка?

Андрей убрал со стола газету. Под ней оказалась раскрытая банка консервов, кусок колбасы и полбулки черного хлеба. Долго не раздумывая, съел колбасу и консервы.

А через час начальник отдела кадров, сунув ему в руки бумажку, сказал сердито:

— Плотником будешь. Блинов тебя научит работать.

И вот Андрей стоит перед Блиновым Григорием Ивановичем. Бригадиру плотников уже за пятьдесят. Но он крепок, широкоплеч. Лицо обветренное, загорелое. На правой щеке глубокий шрам. Из-под густых, лохматых бровей на Андрея внимательно смотрят карие с лукавинкой глаза.

Блинов повертел в руках протянутую Андреем бумажку, тронул пышные черные усы, сказал, словно запел:

— Собирались затянуть песню, да подголоска не было. А вот и появился. Так, значит, Андрей сын Романов,— и спросил вдруг:— Плотничал когда-нибудь?

— Нет, не приходилось... Топора в руках не держал...

— Эх... А ведь нас топор одевает, топор обувает... Кабы бог не дал топора, так бы топиться давно пора...— И опять спросил неожиданно:— Откуда сам-то?

— Сибиряк,— ответил Андрей.

— Землячок, значит. Пойдем, я тебе топорик выберу. Оно ведь как... Топор острее, так и дело спорее. У нас топору места много... Есть, где разгуляться. Если не умеешь — научим. Ну а не захочешь — скатертью дорога.

Бригадир подвел Андрея к маленькой кладовой. Отомкнул ее. Вынес оттуда сверкающий топор.

— Вот, сынок, люби и жалуй. Пока будешь подручным у Пашки Картошкина. Парень он разбитной и расторопный. И теперь рубля стоит, а как ему бока надуть, и два дадут...

Блинов засмеялся. На загорелое лицо тонкой паутиной легли морщинки. Глаза спрятались под пушистые черные брови и лукаво сверкнули.

— А вот и Павел,— указал Блинов на тесавшего бревно парня. Тот работал уверенно. Из-под топора в разные стороны отлетали большие щепки. Парень то и дело поворачивал голову к соседнему дому и что-то кричал сидевшей на крыльце девушке.

— Видишь,— улыбнулся Блинов, и морщинки усыпали его лицо.— Наш Пашка — что добрый поваренок, который на чумичке вшей бьет, а языком тарелки трет. Все успевает...

Подошли ближе. Блинов подозвал Картошкина.

— Вот тебе, Паша, ученик. Научи его клин тесать— мастерство казать. А пока он в нашем деле индюшки от воробья не распознает. Понял?

— Все ясно, как днем,— отозвался весело Картошкин. Он внимательно, с ног до головы оглядел новичка. Сняв с головы старую кепчонку, вытер со лба пот. Спросил:

— Это ты сегодня всю ночь в моей палатке храпел?

— Наверно, я, — улыбнулся Андрей, вспомнив записку про харчи и завтрак.

— Продолжай и дальше храпеть. Одному скука.

Когда бригадир ушел, Пашка, торопливо рассказав, что и где надо построить их бригаде, повел Андрея по шатким лестницам на леса строящегося дома. Наверху сильно пахло смолой, сухими досками и тайгой.

Отсюда Андрей увидел контуры возникающей в тайге улицы, которая обещала быть широкой, ровной и обязательно красивой. Он взял топор и стал тесать бревно. Топор крутился в руках, был непослушен.

— Ты смотри ноги береги. А то по коленке вместо бревна тяпнешь.— Пашка подошел, взял топор:— Вот так надо, Андрюха. Ноги пошире. Бревно между них. И сильнее... Не стесняйся... Хххык... Хххык...

Андрей смотрел и завидовал Пашке. Ловко у интеллигентика получалось. Большие щепки ломтями отлетали от бревна.

— Ничего. Ты не огорчайся!— кричал Пашка:— Научишься. Я тоже не умел.

Рад был Андрей, что Пашка не смеялся, не издевался над его неуклюжестью и неумением.

Перед обедом заглянул бригадир:

— Э-э-э, ребятки. Я вижу, у вас дела на славу идут. Дом растет не по дням — по часам, а как пшеничное тесто на опаре киснет. — Он посмотрел, как подогнаны бревна. Посоветовал побольше класть между ними пакли и ушел.

Вечером, после работы, парни долго лежали на теплых досках перекрытия дома.

Пашка, подперев ладонями подбородок, смотрел вдаль.

— Хорошо здесь. Природа красивая.— Он по-детски улыбнулся. — Люди интересные. А стройка! О такой я только и мечтал у себя в Курске.— И добавил, тяжело вздохнув:— Вот только об отце с матерью скучаю. А писем им не пишу. И не буду.

— Почему же? — удивился Андрей.

— Не отпускали они меня сюда. Я ведь только нынче десятилетку закончил... Хотели, чтобы я в медицинский воткнулся. А он нужен мне, как свинье ермолка... Я строителем хочу быть. Из-за этого и поссорился со стариками. В обиде я на них...

— Ну, это ты зря.— Андрей перевернулся на спину. Долго смотрел в глубокую синь вечернего неба. Простая и чистая Пашкина откровенность взяла за душу. Захотелось рассказать о своей судьбе.

— У меня вот нет родителей. И я всю жизнь это чувствую,— сказал он тихо.

— Умерли?— повернулся к нему Пашка.

— Убили.

— Давно?

— Давно уже.

И Андрей поведал Пашке о своих родителях.

...Пятнадцати лет Матвей Романов уже партизанил в сибирских лесах. Позже он ловил по глухим таежным увалам остатки кулачьих банд. А когда отгремела война, вернулся в родное село. Здесь вместе с другими коммунистами организовал первый колхоз. Неспокойно было в то время. Кулаки нет-нет да и поднимали недобитые головы...

Однажды темной весенней ночью Матвей Романов, возвращаясь из правления колхоза домой, увидел на краю села у колхозного амбара две подозрительно суетящиеся тени. Вынув из кармана пистолет, подкрался. Прислушался.

— Толкай его под амбар... Сгорит — подумают, что он нечаянно поджег...— услышал он хриплый шепот.

Двое, кряхтя, затолкали под амбар чье-то тело. Заткнули дыру сеном.

— Поджигай, — подтолкнул широкоплечий своего напарника.

И тут Матвей Романов выскочил из-за угла.

— Руки вверх!

В ответ громыхнули из обреза. Пуля опалила висок. Романов бросился вперед. Одного он уложил наповал. Другого догнал за поскотиной. Привел обратно и, ткнув пистолетом в сторону амбара, приказал:

— Вытаскивай.

Под амбаром оказался колхозный сторож-старик. Оглушенный сильным ударом, он пришел в себя только утром.

Убитого, пожилого бородатого кулака, похоронили на краю деревенского кладбища. Его сына, здоровенного, изрытого оспой парня, отправили с приезжими милиционерами в город. Уже сидя на телеге, он злобно оглядел столпившихся людей, отыскал среди них Романова. Усмехнулся недобро:

— Ну, Матвей Романов... Я у тебя в долгу...— и, скрипнув зубами, бросил жестко:— Жив буду — жди пулю в лоб.

Шли годы. Матвей Романов был председателем колхоза, когда пришла беда. Однажды морозную тишину февральской ночи разорвали два гулких выстрела...

Долго, видно, ждал кулацкий выродок, коль выбрал такой час расплаты. В те дни все село разделяло радость председателя: его жинка сына-первенца родила. Сам Матвей Романов ходил радостный и счастливый. Сам поехал в районную больницу за женой и сыном. А обратно взмыленный конь привез его к воротам родного дома мертвым. Мертвой была и жена. А на дне кошевки, закатываясь, кричал ребенок...

Так и не нашли следов преступника. Разыгравшаяся в ту ночь пурга перемела все дороги и таежные тропки. Покрутились милиционеры вокруг села, да так и уехали ни с чем...

Андрей достал пачку папирос. Закурил.

— Обо всем этом мне дед рассказал,— он тяжело вздохнул:— Эх... Встретить бы этого гада Граненого... Это он отца и мать угробил... Да где там... Разве найдешь его сейчас...

— Обожди!— Пашка резко вскочил на колени. Схватил Андрея за руку.— Как ты назвал его?

— Граненый... А что?

— Постой... Постой... Где-то я слышал эту фамилию. Но где... Где...— Пашка усиленно тер переносицу.

— Брось шутить,— нахмурился Андрей.

— Вспомнил,— прошептал Пашка.— Вспомнил.— Он подвинулся к Андрею.— Месяца полтора назад я ездил в Покровск... В райком комсомола... Зашел в чайную пообедать... Пьяные там толкались.. Помню, один закричал на весь зал: «Граненый, вернись! Вернись, говорю, Граненый!» Меня тогда удивила такая необычная фамилия...

— Это прозвище... — Нахмурив брови, Андрей приподнялся: — Ты не заметил, какой он из себя?

Пашка огорченно развел руками:

— Не разглядел... В дверях уж он был, когда я посмотрел в его сторону. Помню, в телогрейке. Высокий такой, широкоплечий. Не со стройки, по-моему... С приисков, наверно...

— Странно... Может, и он... Надо выяснить... Надо выяснить.— Андрей взял топор и стал спускаться по лестнице.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вернувшись с работы, Андрей снял рубаху, перебросил через плечо полотенце и побежал к реке умываться. Перед заходом

солнца река словно притихла. Ни шума, ни рева, ни бульканья... Лишь изредка с легким вздохом-журчанием раскрутится водяная воронка, выплывут на поверхность реки мелкие, сверкающие на солнце песчинки, и снова тишина. Река блестит. В ее зеркально чистой воде купается розовое, подрумяненное закатом небо. Опрокинулся вершинами деревьев в реку скалистый противоположный берег.

— Хорошо!— вздохнул Андрей. Он всегда любил реки, их прохладу, неудержимую стремительную силу и то живое и могучее, что чудилось ему в водяных потоках.

Андрей сел на край обрывистого берега.

Почему-то вспомнилась Женька. Последний вечер, проведенный с ней. Обидел он ее тогда. «Написать письмо, что ли?— подумал он. — А зачем? Она, наверно, уже юбку бочоночком себе сшила. — Усмехнулся. — Телка».

За спиной, где-то около ближних домов, послышался звонкий девичий смех. Андрей оглянулся. Но никого не увидел.

«Где, интересно, эта голубоглазая блондинка с крана? Воображает из себя...»

Выше по реке кто-то с шумом бросился в воду и поплыл вдоль берега.

«Мне, что ли, искупаться?» — подумал Андрей. Быстро разделся и вошел в воду. Река обожгла ноги холодом. Андрей нырнул и поплыл.

«А что если на тот берег попробовать?»— Он повернул поперек течения. И уже не ощущал ни холода, ни усталости. Хорошо чувствовать себя сильным. А берег с каждым рывком все ближе, ближе... Вот уже видны ветки черемушника, свесившиеся в воду. Но река тащит дальше к большим скатившимся с горы валунам. Около них вышел на берег и почувствовал, что замерз. Пробираясь между гранитными глыбами, вскарабкался на мысок и лег на плоский, облизанный ветрами, теплый камень. И сразу прошла дрожь, откатился от горла холодный ледяной комок.

Взглянул на противоположный берег. Там одевался после купания человек. Маленьким комочком лежала около воды одежда. От палаток доносился перебор гармошки. Огляделся. Вокруг поселка лежала притихшая, дремучая тайга.

Незаметно подкрались сумерки. Солнце спряталось за дальний хребет. Стало прохладно. Андрей встал и торопливо пошел вверх по течению, рассчитывая заплыть так, чтобы пристать к противоположному берегу в том месте, где лежала одежда. Лезть в воду уже не хотелось. И он пожалел, что заплыл на этот берег. Но делать было нечего. Спустившись к маленькому заливчику, Андрей неожиданно наткнулся на привязанную к стволу черемухи лодку.

— Отлично!— обрадовался он.— На ней и переплыву. Только надо хозяина подождать.— Залез в лодку и уселся на корме. Минут через пятнадцать в воду посыпались мелкие камни. Прибрежные кусты закачались, и к берегу вышла девушка. В ее руках большой букет цветов. Увидев в лодке парня, она испуганно вскрикнула.

— Не бойтесь... Я не снежный человек...— засмеялся Андрей. И вдруг узнал в девушке ту, белокурую с кабель-крана.

— Признаться, не ожидала встретить на своем корабле Робинзона... Да еще в таком виде...— Она прыгнула в лодку.

— А Лолита Торрес не боится гулять одна в таежных дебрях?— развязно спросил Андрей.

Девушка сняла с головы косынку и завязала букет.

— Между прочим... — не глядя на Андрея, мягко проговорила она,— я никогда не мечтала стать актрисой. И всегда предпочитаю, чтобы меня называли моим собственным именем.

— Если мне не изменяет память — вас зовут Галиной,— в тон ей сказал Андрей.

Девушка удивленно подняла на него глаза.

— Да. Но откуда вы меня знаете?

— Боже мой... Я с вами встречаюсь третий раз, и вы меня не помните? Какая жалость,— Андрей притворно вздохнул.— Первый раз я увидел вас на фотографии, которую показал мой бывший знакомый Маратай. Второй раз увидел вас около кабель-крана. И вот — я вижу вас...

— Ах, да...— кивнула девушка.

Андрея оскорбило равнодушное восклицание Галины. Показалось, что она посмотрела на него с неприязнью и презрением. Он нахмурился. Галина оттолкнула лодку от берега, села за весла.

— А эти цветы...— усмехнулся Андрей и указал на букет:— Для любимого?

— Возможно, и для него.— Галина ловко направила лодку поперек течения.

— Разрешите, я сяду за весла,— встал Андрей. Не успела она возразить, как он очутился рядом. Лодка качнулась. Чтобы не вывалиться, Андрей присел, схватился одной рукой за борт, другой за плечо девушки. Ее нежная щека, розовое маленькое ухо, голубой глаз с большим черным зрачком оказа-

лись совсем рядом. От этой неожиданной близости у Андрея захватило дыхание. Он вдруг нагнулся и поцеловал девушку в щеку. Галина резко отшатнулась назад, оттолкнула парня. Не успел он подняться, как она вскочила. Глаза ее горели. Лодка, покачиваясь, плыла по середине реки.

— Ну чего ты разошлась. Подумаешь, недотрога.— Андрей нагло усмехнулся, шагнул к девушке.

— Отойди... — Галина попятилась.

— Брось, детка, ерепениться... Это не посовременному...— Он протянул к ней руки.

— Негодяй,— выдохнула она.

Того, что произошло дальше, Андрей никак не ожидал.

Галина резко оттолкнулась и прыгнула в воду. Река подхватила ее, накрыла крутой волной, выбросила наверх и понесла вниз по течению.

— Вот дуреха.— Андрей шлепнулся на скамейку, торопливо схватился за весла.

Метров через двадцать он догнал Галину.

— Давай руку,— наклонился он к ней.

Но она обогнула лодку и поплыла дальше.

«Как бы пузыри не пустила»,— испуганно подумал Андрей. Он греб и не сводил глаз с Галины. Но вот она встала на дно и, отжимая волосы, пошла к берегу. Мокрое платье плотно облегало ее сильное, красивое тело.

— Ну чего ты обиделась?— спросил он.

Она, бросив отжимать волосы, взялась за борт лодки, подтянула ее к себе. Тонкие ноздри чуть вздернутого носика Галины раздувались от обиды и гнева.

— Нахал.— Она размахнулась и сильно ударила Андрея по щеке.— Убирайся из лодки.

— Так...— Андрей, обиженно засопев, потер щеку.

— Да. У нас так,— прищурилась Галина.— Не знаю, как у вас.

Андрей выпрыгнул на берег и пошел к черневшей невдалеке своей одежде.

«Черт меня дернул лезть к ней,— подумал он. — Девчонка-то, видать, с перцем». Вдруг вспомнил ее маленькое, покрытое легким пушком розовое ухо. Нежную, мягкую щеку, до которой он чуть дотронулся губами. И тихо рассмеялся. Одевшись, отправился в поселок.

Еще не открыв брезентовый полог палатки, услышал голос Маратая. И сразу же Андрей помрачнел, насупился.

«А этому что еще здесь надо?»— подумал он.

Вошел в палатку.

— Вот и Андрюха... Здравствуй.— Маратай поднялся, протянул ему руку.— А мы тебя ждем...

— Привет,— хмуро пробурчал Андрей. Из-под нависших бровей глянул в черные глаза бурята. В них ни насмешки, ни ехидства. Только любопытство.

— Что-то ты, Андрей, долго мылся.—Пашка, суетясь, снял с плитки кипящий чайник, поставил на стол.

— Купался,— небрежно бросил Андрей.

— Вода холодная?— спросил Маратай.

— Как лед.

Сели за стол. Пашка налил чай в большие алюминиевые кружки, достал из тумбочки масло, колбасу, печенье.

— Ух... Сейчас согреюсь.— Андрей подвинул к себе кружку.

— Чай не пить — какая сила. Это еще моя бабушка говорила.— Смуглое лицо Домбаева блестело. Он чаевничал обстоятельно, со смаком.— Чай пить да трубку курить — шибко хорошо. Для нас, бурят, чай дороже хлеба.— И вдруг спросил, стрельнув черными глазами в сторону Андрея: — Бежать-то отсюда не раздумал?

Тот вздрогнул. Мрачно покосился на Домбаева.

— Денег еще на дорогу не накопил,— мрачно сказал он.

— Ну, копи... Копи... — усмехнулся Маратай. — Сколько тебе надо?

— Сто целковых.

— Да...— занозисто протянул Маратай.— В часовой-то мастерской быстро бы на честных людях эти деньги заработал...

— Не твоего ума дело,— оборвал его Андрей, которому вдруг почему-то стало стыдно, что о его делах-делишках узнает Пашка.

— Как сказать...— многозначительно повел бровями Маратай и повернулся к Картошкину.— Невезучая, Паша, эта коечка,— указал он на Андрееву кровать.— На ней дрыхнул недавно один такой же... Месяц повертелся, а потом говорит: мне нужны гроши и харчи хороши... Смотался искать длинные рубли. Помнишь?

— Помню. Как же не помнить,— отозвался Пашка.— Прихватил из моего кармана червонец. Из чемодана протертые на заднице штаны и сбежал, сволочь. А вообще-то туда ему и дорога. Мы и без таких построим гидростанцию...

— Правильно, Паша.— Маратай притих. Задумался о чем-то своем.— Эх, много сейчас сюда народа едет. Счастье свое ищут. А его

ведь не так легко найти. Да это и хорошо. Если бы счастье было легко доступно, то люди перестали бы его ценить. Не правда ли?— наклонился он к Андрею.

— Не знаю. Не думал...— отодвинулся тот.

— А надо думать. Голова у человека не только для шапки,— жестко сказал Маратай. Встал:— Ну, я пойду.

— Иди-иди,— облегченно вздохнул Андрей.

Маратай натянул кепку. Повернулся, уже от двери:

— Будешь на большой земле — старух не обижай.

— Ну, ты... Осторожнее...— Андрей сжал кулаки.

— А чего... Неправда, что ли?— взглянул на него в упор Маратай, обрадовавшись, что его намек угодил в цель.

— Нужна мне твоя правда.

— А может, и нужна,— прищурился Домбаев. — Да, кстати... — он усмехнулся: — привет Женьке.

— Каждому свое,— злобно пожал плечами Андрей и вдруг выпалил нагло:— Тебе сегодня тоже букетик преподнесут.

— Я буду очень рад,— улыбнулся Маратай.

— Нет. Почему же.— Андрей небрежно отвернулся от Маратая и направился к своей кровати:— Вместе с твоей красоткой цветочки-то для тебя рвали.— Он покосился краем глаза на Домбаева.

Маратай на минуту замер. Потом резко повернулся и выскочил из палатки.

— Давай-ка, Паша, ложиться спать,— Андрей усмехнулся. Сняв ботинки, бросил их под кровать.— Чего этот тип ко мне придирается?— спросил он Картошкина, кивнув на дверь.

— Ты в самом деле хочешь отсюда уехать?— задал ему встречный вопрос Пашка.

— А почему бы и нет? Я вольная птица. Зарплату вот получу и смотаюсь... Здесь работы мне по специальности нет. А топором — пусть вот такие, как ты, энтузиасты вкалывают. У меня образование не позволяет. Понятно?

— Понятно. А я-то думал: ты человек... Эх...— Пашка лег на койку и отвернулся к стене.

Андрей потушил свет, тоже лег. Но уснуть не мог. Мешало то ли вечернее купание и эта неожиданная встреча с Галиной, то ли выпитый крепкий чай, а может быть, шумный разговор с Маратаем. Он ворочался на койке и думал, думал о своей жизни. А поздно ночью встал, закурил. Рядом похрапывал Пашка. Андрей выглянул в маленькое окошко. Вдали, на берегу реки, плясало пламя костра. Около него мелькали силуэты людей. Вокруг было черным-черно. И только огонек костра согревал душу...

Андрей снова упал на кровать. Уткнулся в подушку. И впервые осознал, как далеко, почти на край света забрался он. Зачем? Нужен ли здесь? Ну, а если вернуться? Что ждет его там? Пьянки со случайными знакомыми? Квартира, пропахшая кошками. Встречи с Женькой? И в лучшем случае часовая мастерская на центральном рынке?

Почему-то вспомнилось высокое светлое небо, увиденное впервые на аэродроме в Покровске, и распахнувшийся тогда перед ним горизонт.

А мысли катились, как речные волны...

«Ну, а этот парень Маратай... Почему он на него злится? Может, он и прав... Может, прав... А эта Галина, такая сердитая с ним?— Вспомнил ее глаза.— Красивая... Нежная... И далекая...»

Андрей смотрел в темноту, слушал чьи-то далекие голоса, ленивый лай собаки, легкое безмятежное похрапывание Пашки.

«Как я мог забыть... Как я мог забыть...— чуть не закричал он.— Ведь Пашка говорил, где-то здесь Граненый... Я должен его найти...»— Андрей соскочил с кровати. Включил свет, подбежал к разметавшемуся во сне Картошкину:

— Паша! Павел...— Он тряхнул парня за плечо:— Слышишь, Пашка. Я остаюсь.

Пашка испуганно вскочил, ничего не понимая, заморгал глазами.

— Кто остается?

— Да я... Я...

— А... Ну, оставайся...— Пашка натянул на плечи одеяло и, уткнувшись в подушку, снова захрапел.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Охо-хо...— вздыхает Утельгин. Он внимательно рассматривает следы соболя. Они исчезли в узкой расщелине скалистого мыса. Однако, придется выкуривать соболишку...— качает головой охотник.

Собака сердито лает, в бессильной ярости скребет лапами землю, бросается на камни и, срываясь с них, падает.

Охотник не спеша вынул из чехла нож, нарезал с березы коры. Собрал со старого дерева мох и полез между камнями на скалу. По свежим следам видно, где скрылся соболь. Около небольшой расщелины Утельгин вынул

из-за пазухи березовую кору, зажег ее и обложил мохом. Горький и едкий дым пополз между камнями. Охотник отошел в сторону, вскинул ружье.

«Если нет другого хода, соболишка долго не протянет. Выскочит»,— подумал Утельгин. Он не замечает ни дыма, разъедающего глаза, ни бегущих по лицу слез. Внизу, под скалой, навострив уши, замер Аренаут. И соболь выскочил. Он ошалело вынырнул из густого серого дыма и, петляя между камней, бросился к другой расщелине. Раздался сухой, словно кто палкой стукнул о старое дерево, выстрел. Соболь споткнулся. Махнув пушистым хвостом, перевернулся через голову и, подставив охотнику светло-коричневое брюшко, замер на камнях. Взвизгивая, заметалась собака. Утельгин подошел, поднял зверька и, держа его на ладонях, долго разглядывал.

Неожиданно сверху посыпались камни.

— С добычей, охотник,— донесся хриплый, простуженный голос.

Утельгин вздрогул. Руки крепче сжали ружье. Он поднял голову. На краю обрыва стоял человек. На охотника он не походил. Утельгин это сразу заметил по неумело заброшенному за плечо ружью. Да и одет он был не по-таежному. Легкая куртка и серая кепка не могли спасти его ни от ветра, ни от ночных морозов. Человек, пробуя каждый камень ногой, медленно стал спускаться к Утельгину.

— Здорово были,— подошел он к охотнику.

— Здрастуй.

— Соболя, значит, промышляешь?— усмехнулся незнакомец. Протянул к убитому зверьку руку:— А хорош... Сотню наверняка получишь за него...

— Да, соболишка славный,— согласился Утельгин.— Однако, целые сутки таскал меня по тайге...

— Сутки?— удивился незнакомец и покачал головой.— Нелегко добывается наряд нашим барышням. Ну, давай спускаться вниз. А то тут ветер. Пробирает до костей.

Они спустились к реке. Аренаут косил злые, налитые кровью глаза на незнакомца и глухо рычал. Присели на камень. Человек вынул портсигар, щелкнул и протянул его охотнику. Утельгин осторожно взял папиросу, закурил.

— Моим угощайся...— предложил он кисет с табаком.

— Спасибо. А я вот решил по лесочку прогуляться. Да, видно, далеко забрел. Надо домой возвращаться. На стройку.

— На стройку?— встрепенулся Утельгин.

— Туда.

В узких, черных глазах Утельгина блеснули огоньки. Он что-то хотел спросить у незнакомца, но не решался.

— А ты издалека за соболем пришел?— поинтересовался незнакомец, оглядывая охотника с ног до головы.

— Далеко. Шибко далеко. Там, в верховьях, однако, мой дом...— махнул рукой Утельгин и нерешительно спросил:— Как на стройке-то?

— А чего ей... Строят...— пожал плечами человек:— Скоро электричеством соболей ловить будешь.— Он засмеялся, похлопал Утельгина по спине. Аренаут злобно ощетинился, зарычал.— Ну ты,— незнакомец замахнулся на собаку.

— А я вот на стройку, однако, надумал идти работать,— отогнав подальше Аренаута, неуверенно проговорил Утельгин.

— На стройку?— удивился незнакомец.— Надоело по тайге бродить?

Отбросив недокуренную папиросу, он с любопытством оглядел охотника, на минуту задумался. Потом решительно встал.

— Пойдем со мной... Я тебе помогу устроиться на работу. Жить будешь пока у меня. Вместе нам шибко хорошо будет...— Незнакомец хрипло рассмеялся.— Пойдем... Борис Игнатьевич Джось будет тебе хорошим другом...

Джось шел по таежной тропе за Утельгиным, и, глядя в спину охотника, думал о своей жизни. Кто ее знает — судьба разные шутки выделывает с человеком. Может быть, на этот раз преподнесла она ему, Джосю, приятный сюрприз в лице вот этого эвенка. Может быть... Все может быть. Нет, он не отпустит этого охотника от себя до тех пор, пока не узнает у него все о здешних таежных местах...

В поселок пришли уже в сумерках. С десяток уличных дворняг увязались за Аренаутом и, злобно тявкая, наседали на него.

Борис Игнатьевич жил на берегу реки в маленьком бревенчатом домике. Джося устраивало такое отшельническое жилье. Да лучшего нельзя было и придумать. К нему никто не заходил, не тревожил неожиданными визитами. А те, кого он сам приглашал, чувствовали себя в домике спокойно...

— Вот и мои хоромы.— Джось открыл перед охотником дверь.— Проходи... Гостем будешь...

Утельгин вошел в избу. Не отставая от него ни на шаг, заскочила и собака. Хозяин разделся, начал разжигать в железной печке

огонь. Утельгин, расстегнув оленью ровдугу[1], сидел и разглядывал убранство избушки. Посредине комнаты стол, покрытый зеленой клеенкой. На нем бутылки, стаканы, куски хлеба. Около окна тумбочка. У передней стены широкая кровать, небрежно застланная зеленым одеялом.

Борис Игнатьевич, закончив возиться около печки, подошел к Утельгину.

— Давай раздевайся,— пригласил он охотника.— Умываться будем... Отдыхать...— Джось достал из тумбочки бутылку водки, нарезал сала, хлеба.

За столом хозяин и гость засиделись до поздней ночи. У порога, положив голову на передние лапы, дремал Аренаут. Изредка он вздрагивал и, чуть приоткрыв глаза, смотрел на людей. А они пили водку, ели и говорили. Утельгин был благодарен человеку за гостеприимство. Он расспрашивал Бориса Игнатьевича о стройке, о людях, о машинах.

Джось приглядывался к охотнику и никак не мог понять, зачем этот таежный житель хочет идти работать на стройку. Зачем? Борис Игнатьевич сидел, положив тяжелые волосатые руки на стол, и думал о том, что все в жизни перемешалось и завязалось тугим непонятным узлом. Кто-то едет с юга на север. Житель тайги тащится на стройку... Его, Джося, манит юг.

Уже за полночь, когда Большая Медведица обогнула поселок и заглянула в окна домика на берегу, Джось небрежно спросил:

— По тайге, Утельгин, бродишь... Скажи... Много в ней, матушке, богатства видел?

Утельгин поднял захмелевшую голову. Тяжело ворочая языком, промямлил:

— Видел, однако, братишка... Золотишка много в тайге видел... Шибко много... Там... Там...— Он неопределенно махнул на дверь. Пьяно засмеялся:— Ух, много золотишка... Хоть шапкой греби...

— Да ну... — встрепенулся Джось. Он дрожащей рукой схватил бутылку и выплеснул водку в стакан Утельгина. — Пей, друг.

— Спасибо... Хороший ты человек, однако. — Голова охотника падала, веки слипались. — А где, бойе[2], робишь? — Он уставился пьяными глазами на Джося.

— Где работаю?— переспросил Джось.— Диспетчером на бетонном заводе. А в свободное время геологией занимаюсь. Понимаешь, геологией. Полезные ископаемые разыскиваю. Да ты не бойся. Все будет хорошо.

— Зачем бояться? Ты, однако, хороший человек. Тебя, бойе, грех бояться...— Утельгин пьяно улыбался и лез к хозяину целоваться.

— Ну вот и хорошо.— Джось встал, похлопал охотника по плечу:— Пей, друг. Живи у меня... Завтра я помогу тебе на работу устроиться. — Ласково звучал голос Бориса Игнатьевича. Он уже думал о том дне, когда охотник поведет его в тайгу. А там золото. Зо-ло-то... Уж он-то заставит эвенка рассказать и показать, где тайга хранит золотой клад. Заставит.

Через два дня Утельгин пошел работать в котлован бетонщиком. Он попал в бригаду Блинова. Рабочие встретили его приветливыми, добрыми словами, угощали папиросами, дружелюбно хлопали по плечу. Утельгин смеялся. И только Аренаут, опустив хвост, тревожно метался по котловану, взвизгивая и испуганно озираясь. Нет, не понимал он, почему хозяин утром прибежал сюда, на шумный, рычащий машинами и кишащий людьми берег реки, а не пошел по глухой тропе в тайгу...

Подтягивая к блоку бадью, полную бетона, Утельгин поглядывал на работающих недалеко девушек. Оттуда то и дело слышался веселый смех. Где-то там была та, что растревожила сердце охотника, та, что грезилась ему по ночам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На стройку прибывали все новые люди. В августе прилетела с рейсовым самолетом и жена начальника строительства Тамара Николаевна с семилетней дочуркой Иринкой.

Георгий Степанович Позолотин встретил семью на аэродроме. Сели на катер и до поселка плыли по реке.

— Мне кажется, Георгий, здесь совсем недурно. Смотри, какой чудесный вид. Прелесть... Эта изумительная река... Лес... Горы... Я буду рисовать. Здесь все чудесно...— Молодая женщина глядела по сторонам. Ее темные глаза щурились от яркого солнца. На смуглом лице играла улыбка.

Георгий Степанович был очень рад, что жене по душе пришелся этот край.

— Где же наш терем-теремок, о котором ты писал? — спросила Тамара Николаевна, когда катер остановился около причала.

— Сейчас увидишь,— Георгий Степанович уложил вещи в багажник «победы». Посадил дочурку на переднее сиденье. Сам с женой сел на заднее. Машина тронулась.

---

[1] Оленья ровдуга (эвенк.) — выделка из оленьей кожи. Рабочий костюм.

[2] Бойе (эвенк.) — друг.

— Ты долго ждал нас на аэродроме?— Тамара Николаевна ласково взглянула на мужа, прижалась к его плечу.

— Нет.— Он поцеловал ее в щеку. Улыбнулся.— Самолет пришел точно по расписанию. А вот и наш терем-теремок.

Машина затормозила около небольшого выкрашенного в зеленый цвет домика.

— О, Георгий... Какой очаровательный домик. А эти елочки, березки...— Тамара Николаевна вбежала во двор, радостно улыбаясь, осмотрела веранду. Вошла в квартиру. Здесь пахло свежей краской, известью, приятным запахом чистоты. На кухне стоял столик, покрытый зеленой клеенкой, рядом с ним холодильник. В большой комнате бросалось в глаза сверкающее черным лаком пианино.

Тамара Николаевна с нежностью посмотрела на мужа:

— Георгий... Признаю... Ты оказался на высоте. Разреши, милый, я тебя поцелую...— Она осторожно, чтобы не стереть с губ помады, прикоснулась к чисто выбритой щеке мужа.

— Я вас накормлю отменным обедом,— басил Позолотин. Он был очень рад приезду жены и дочери. Жить одному без семьи эти полгода надоело. И он наслаждался, слушая звонкий смех дочери, милый, родной голос жены.

— Забавно видеть тебя в роли кухарки,— засмеялась Тамара Николаевна, вытирая полотенцем руки.

— Смотри, смотри. Вероятно, больше тебе не представится такого удовольствия.— Георгий Степанович ласково взглянул на жену и неожиданно сказал:— Красивая ты у меня.

Тамара Николаевна сморщила носик, рассмеялась:

— О... Ты научился говорить комплименты.

— Кажется, деградирую... Умные люди комплиментов не говорят,— отшутился Георгий Степанович.

— Соскучился?

Он кивнул головой. Жена тихо и счастливо рассмеялась.

— Давай, я столом займусь. — Она расставила тарелки. Начала резать закуски.

Георгий Степанович сел на стул и, улыбаясь, следил за ее проворными руками. Иринка забралась к отцу на колени.

— Вот мы и опять все вместе.— Георгий Степанович улыбнулся.— Теперь уж долго не расстанемся. Пока станцию не построим. Тебе не надоело, Тамара, ездить по стройкам? — спросил он жену.

— Что же мне делать, Георгий?— она пожала плечами. Лукаво взглянула на мужа:— Не могу же я все время жить на юге? Гляди еще отвыкну от тебя и останусь где-нибудь на берегу Черного моря. Кстати, в Сочи великолепная погода. Там так хорошо... А море, Георгий, прелестно. Мы с Иринкой каждое утро купались. В нынешнем сезоне было много интересных людей.... Я очень жалела, что тебя не было рядом. Тебя, правда, не отпускали в отпуск?

— Да,— кивнул Георгий Степанович.— До отпуска ли тут.— Он махнул рукой.— Организационный период на стройке самый тяжелый.

— Подвигайся к столу.

— Ты много работаешь, Георгий?— спросила Тамара Николаевна, подавая мужу салфетку.

— С восьми утра до десяти вечера. Но ничего. Скоро в котлован влезем. Бетонный завод пустим — легче будет.

— А там бетон пойдет. Суточный график. Перекрытие реки. Партийные собрания и активы,— горько усмехнулась Тамара Николаевна. Повернулась к дочери.— И снова, Иринка, мы нашего папу будем видеть только по ночам.— Она налила чай.

— Что же делать, дорогая?— пожал плечами Георгий Степанович.— Я люблю свою работу. Она — моя жизнь. И вас люблю,— он улыбнулся жене и дочери.

— Я тоже пойду работать. Здесь есть школа? — спросила Тамара Николаевна.

— А как же. В первую очередь построили. Через месяц начнутся занятия. Кстати, преподавателя литературы нет.

— Вот и хорошо. Это как раз для меня.

— Ты не забыла еще свой предмет?

— Думаешь, что прошедших лет замужества достаточно для того, чтобы весь университетский курс вылетел из головы? — рассмеялась Тамара Николаевна.

Зазвонил телефон. Тамара Николаевна встала. Она протянула трубку Георгию Степановичу.

— Слушаю. А... Андрей Андреевич. Здравствуй. Помню... Разве в шесть? Я почему-то думал, что в семь...— Позолотин посмотрел на часы:— Вероятно, немного опоздаю. Да. Семья у меня приехала. Спасибо, спасибо...— он положил трубку, сел за стол.

— Кто это Андрей Андреевич?— спросила жена.

— Парторг наш... Ермолаев... В шесть партбюро. О подготовке к зиме разговор пойдет...

— Так рано!— удивилась Тамара Николаевна.

— Здесь осени почти не бывает. В сентябре заморозки. В октябре снег,— и добавил, вздохнув:— С главным инженером у меня что-то дело не клеится.

— Он что, молодой, неопытный?

— Да нет. Уже пожилой. Под пятьдесят. И опыт есть, без живинки человек. Выпивает лишку... Сегодня на партбюро его слушаем.— Георгий Степанович надел пиджак, набросил на плечи плащ, поцеловал дочь и вышел на крыльцо.

— Георгий, тебя во сколько ждать?— крикнула вдогонку жена.

— Часиков в девять буду.

— Ну вот. Опять мы с тобой вдвоем.— Тамара Николаевна печально вздохнула, прижала к себе дочь.

— Я пойду на улицу?— спросила девочка.

— Иди играй.

Тамара Николаевна убрала со стола. Подошла к раскрытому окну. Пахнуло свежестью, терпким и острым ароматом тайги. Домик стоял на берегу в том месте, где река, словно испугавшись скалистого мыса, отскакивала от него и делала крутой поворот вправо, к расщелине между скал. Из окна видны другие дома на берегу, а дальше горы, горы, горы. Казалось, они громоздились друг другу на плечи. Тамара Николаевна пригляделась к ближнему лесу и с огорчением заметила еле видные признаки приближающейся осени. Кое-какие березки на склоне горы за рекой чуть пожелтели и напомнили об уходящем лете. «Что же удивляться. Здесь север»,— вздохнула женщина. Ее поразило и другое — тишина. Светлая и какая-то странная тишина. Ни шороха ветерка, ни шелеста листвы, ни пенья птиц, ни голосов людей.

— А там...— Тамара Николаевна закрыла глаза. И сразу же почти физически ощутила на лице порывы тугого и озорного морского ветра, запах выброшенных на берег водорослей, холодные брызги разбивающихся о прибрежные скалы волн. Дыхание моря... В долгую холодную зиму оно, вероятно, не раз напомнит о себе...

«Хорошо, если бы Георгия перевели работать куда-нибудь на юг. Поближе к морю, — подумала Тамара Николаевна. — А здесь... Красиво, но... мертво».

Она отошла от окна. Поправила около зеркала прическу, села за пианино. Тонкие пальцы пробежали по клавишам. Глаза Тамары, полные грусти, казалось, видели что-то далекое и невозвратимое. Ах, эта музыка... Когда Тамара Николаевна слышала или сама играла любимые мелодии, ей казалось, что на земле, кроме нее и других людей, живет кто-то необыкновенный с ласковым, нежным и всепонимающим сердцем. И тогда начинала почему-то болеть и томиться душа. С музыкой всегда приходила легкая грусть...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Заседание партийного бюро закончилось в десять вечера. Расходились — шумели, поругивались. Над тротуарами покачивались огоньки папирос. Слышались приглушенные голоса.

Позолотин и Ермолаев шли рядом. Высокий, широкоплечий Георгий Степанович шагал размашисто, широко. Ермолаев прихрамывал на правую ногу. Ежась от вечерней прохлады, сутулился. Оба молчали, вслушиваясь в далекий монотонный гул котлована, шорохи подступившей к поселку тайги. В ближнем бору ухнул сыч и черной молнией метнулся между сосен. Вдали ему отозвалась сова.

— Что молчишь, Андрей Андреич?— повернулся к парторгу Позолотин.

— Да вот размышляю.— Ермолаев кашлянул: — Не пойму что-то я Рогулина. В открытые ворота ломится. Оплевал людей. То плохо. Это нехорошо. А сам ничего не предложил путного. Слышал разговор об ускорении строительства жилья?

— Ну...

— Так безответственно вести себя стыдно. Ведь сам посуди... В мехмастерской, на бетонном заводе рабочие без дела сидят, а на строительстве жилых домов рук не хватает. Порядок разве это?

— Непорядок,— нахмурился Позолотин.

— То-то и оно,— сердито сказал Ермолаев.— Указал я ему на это, так куда там... На дыбы... Говорил, что перерос тот возраст, когда необходимо читать мораль. А я считаю,— голос парторга стал суровым,— если кто забыл социалистическую мораль, то ее принципы никогда не поздно напомнить. И, кстати, я не испытываю наслаждения, напоминая ему, опытному специалисту, коммунисту,— свои обязанности, свой долг... А с жильем надо срочно принимать меры, — он еще больше ссутулился, глухо добавил: — Сегодня в пятой палатке у работницы лесозавода Потаповой сын умер... Годков трех...

Позолотин вздрогнул. Замедлил шаг.

— Простудился?

— По-видимому, так... Видишь, холода-то какие... И сырость...— Ермолаев тяжело вздохнул. Сказал жестко:— Пора кончать, Георгий Степанович, эту волынку с жильем. В палатках ютятся, а твой главный инженер снимает бригады со строительства домов и направляет их в котлован. И ты почему-то по-

творствуешь этому.

— Что же я сделаю, если рабочей силы не хватает,— попытался оправдаться Позолотин.— Не могу же я прекратить работы по подготовке котлована. Иначе на какой черт мы сюда приехали.— Георгий Степанович зло сплюнул.

— Все это правильно, Степаныч,— положил ему руку на плечо Ермолаев.— Но котлован остается котлованом, скала скалой, а вот о людях давай не будем забывать. Понимаешь, наша стройка сейчас попала в заколдованный круг. Нет людей, потому что нет жилья, а жилья нет, потому что не хватает людей. Не хватает людей — трещит и план, и котлован, и все на свете, — добавил твердо: — жилье — это сейчас главное. Это судьба людей, а следовательно, и стройки. Вот и давай ухватимся за него и руками и зубами. Это не Ташкент — зиму в палатках здесь трудно зимовать. Каждый такой случай... Как с мальчишкой... На нашей, брат совести.

Георгий Степанович тяжело вздохнул, достал папиросу из кармана, чиркнул спичку. Прикурив, не погасил огонек, а посмотрел на Ермолаева. Спичка погасла. Где-то за дальними, чернеющими в ночи горами заплясала зарница. Донесся глухой раскат грома.

— Вот еще дождичка не хватало,— хмуро сказал Ермолаев.

— По сводке в верховьях Тылтыкана третьи сутки дожди хлещут,— отозвался Позолотин и протянул парторгу руку:— Ну, до свидания, Андрей Андреевич. Пойду... Семья ждет.

— Да... Я и забыл спросить. Как доехала супруга-то с дочкой?

— Спасибо. Благополучно.

— Ну и хорошо,— парторг пожал Позолотину руку, кивнул в сторону светящихся квадратов окон:— Моя Варвара, видать, тоже не угомонилась еще.— Ермолаев проговорил это просто, по-домашнему. Позолотин невольно улыбнулся, заторопился к своему дому.

— Заждались?— крикнул он, приоткрыв дверь из кухни в комнату.

Тамара Николаевна и Иринка, обрадованные, соскочили с дивана.

— Что так долго?

— Считай, что сегодня я пришел рано.

— Ну, а если ты будешь возвращаться домой в пять или в шесть часов?

— Мечты, моя дорогая...

— Жить так мне будет трудно.

— Здесь всем нелегко, Томочка.

Сели ужинать. Увидев на столе бутылку муската, Георгий Степанович обрадованно потер ладони:

— Ооо... Бутылка старого доброго вина! Это хорошо,— он налил рюмки.

— За ваш приезд... За счастье.— Георгий Степанович на секунду невольно прислушался к нарастающему за окном шуму. Гроза полыхала где-то рядом. Тревога мелькнула в глазах Позолотина, но он потушил ее.— За наше счастье, Томочка,— он выпил. Не успел закусить — зазвонил телефон. С вилкой в руке Позолотин подошел к аппарату.

— Да. Слушаю. Что? Когда? Почему раньше не сообщили? Сейчас же пришлите к моей квартире дежурную машину. Главного инженера вызовите. Рогулина, говорю, вызовите. Как не нашли? Куда уехал? Хорошо. Жду машину.— Он бросил трубку на аппарат.

— Что случилось?

— Паводок... Перемычку в котловане рвет.— Георгий Степанович сердито положил на стол вилку, торопливо снял с вешалки кепку и брезентовый плащ.

Тамара Николаевна смотрела на мужа и не узнавала его. Он буквально за несколько секунд стал чужим и незнакомым. По его глазам — беспокойным, тревожным — она увидела, что он уже там, в котловане.

С улицы послышались сигналы автомашины.

— Это за мной.— Позолотин выбежал во двор. Тамара Николаевна, зябко кутая плечи в шерстяной платок, проводила его до калитки. В свете фар она увидела, как к машине бежит, прихрамывая, высокий сутулый человек.

— Поедем вместе, Андрей Андреич,— крикнул Позолотин. И жене:— Меня не жди. Ложись спать.

Хлопнула дверка. Газик, как огромными усами, пощупал темноту лучами фар и понесся по улице.

Небо разорвала огромная молния. На какой-то миг озарило стоящие вдоль улицы дома, черную мохнатую гору за рекой. И в ту же минуту грянул страшной силы гром. Где-то рядом жалобно тявкнула и заскулила собака. Ветер злобно хохотнул в ответ, присвистнул, толкнул и закачал деревья.

— О, господи...— Тамара Николаевна, ослепленная яркой вспышкой молнии, запнулась за ступеньку крыльца. Загремело опрокинутое ведро. Не успела она открыть дверь, как большие капли дождя забарабанили о шиферную крышу дома, успев больно хлестнуть ее по спине. Тяжелый, плотный, как стена, шум с каждой секундой приближался, ширился, нарастал. Казалось, что катится в темноте огромная, гигантская морская волна, которая все сметет, задавит на своем пути.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В этот вечер в свою холостяцкую квартиру Рогулин шел согнувшись, тяжело опустив плечи. В голове перемалывались сказанные в его адрес на сегодняшнем партбюро резкие слова. Горечь и обида царапали сердце.

«Объявить хотели выговор. А предложил кто? Прохоров...— Ануфрий Иннокентьевич горько усмехнулся:— Можно сказать, ученик. Вырастил человека... Был мастером... Стал начальником участка. И вот — отплатил... Метит, наверно, на должность главного».

Подходя к дому, увидел в окнах своей квартиры свет.

— Кто бы это?— удивился Рогулин. На крыльце щепкой очистил с сапог грязь. Вошел в дом. Навстречу поднялся Джось. Новый его знакомый по преферансу. Раскинув руки, пошел к Рогулину:

— Э-э-э... Ануфрий Иннокентьевич. Доброго здоровья, дорогой... Доброго здоровья...— Он долго тряс руку Рогулину. — А я вот, делать нечего, решил после работы к тебе заглянуть. Дай думаю, попроведаю. Подошел, а на двери замок. Ковырнул своим ключом — и вот сижу тебя поджидаю, — он прищурил черные навыкате глаза.—Сегодня в Покровск ездил. Видишь, что раздобыл. — Джось достал из-под стола бутылку коньяка: — Армянский, — причмокнул он. — Высший сорт.

— О... Это кстати, Борис Игнатьевич. Кстати... Настроение, скажу я тебе, прескверное,— мрачно сказал Ануфрий Иннокентьевич, снимая кожаное пальто.

— Опять неприятности?— Джось глянул Рогулину в глаза.

— Да... Есть небольшие. Выговор вот чуть не вляпали.

— Тебе? Вот подлецы, — всплеснул руками Джось. — Ах подлецы.

Сели за стол. Джось наполнил стаканы.

— Ну, Ануфрий Иннокентьевич. Дай бог, не последнюю.

Чокнулись. Выпили.

Джось расстегнул воротник рубахи.

После второй рюмки Рогулин забрюзжал:

— Выговор. А за что? Работал на Волге... На Каме... На Иртыше... В Иркутске... Не было выговоров. А тут... Эту речушку... Да я оттяпаю на ней такую электростанцию, что...

Джось крепко сжал его локоть.

— Брось, Ануфрий Иннокентьевич, об этом. Забудь. Подумаешь — выговор. Когда-нибудь они тебе еще в ножки поклонятся. Выговор... А ты будь выше этого. Не мелочись. Лучше давай о другом,— в черных глазах Джося заплясали чертики:— Не надоело тебе бобылем жить? А?— И, наклонившись к Рогулину, прошептал на ухо:— Хочешь? Я тебе такую кралю найду — закачаешься,— он щелкнул языком:— Очи кари, косы русы, голосочек — серебро. Хо-хо-хо...

— Говоришь, кралю? Не надо кралю. У меня жена красавица... Дочь и сын. А впрочем, я с ними не живу. Можно и кралю,— он стукнул кулаком по столу.— Выпьем давай за кралю.

— Есть в Покровске две бабеночки. Кругленькие такие... Пальчики оближешь,— смаковал Борис Игнатьевич.

— Мне и одной хватит,— хохотнул Рогулин. Обнял Джося:— Ты оказался хорошим другом, Борис. Сейчас я не в почете... Шарахаются от меня, как от прокаженного. А ты, знаю — не побежишь... Не побежишь ведь? Да?

— Ты прав, Ануфрий Иннокентьевич.— Бараньи глаза Джося прищурились. — От друзей я не бегаю... Не из тех. А вот к крале я тебя увезу. Сердце-то, наверно, заледенело? Пусть оттает. Чего, в самом деле, стесняться. Живем только один раз. А все остальное — болтовня.

Телефон стоял на тумбочке. Джось снял трубку. От имени главного инженера вызвал из гаража машину.

— Давай, давай, Ануфрий Иннокентьевич, поторапливайся,— он помог Рогулину надеть кожаное пальто.— Вот так. Красотища,— он похлопал его по обтянутой хромом спине.— Девочки от тебя без ума будут. Едем. Вон и машина подошла.

Дорога петляла около самого берега. Она то задевала краем черную реку, то вплотную прижималась к скалам. Рогулин и Джось молча всматривались в темноту. Вдали то и дело вспыхивали молнии.

— До грозы надо успеть,— поежился на заднем сиденье Джось.

Впереди показались редкие огни. Машина стремительно понеслась по улицам притихшего перед непогодой городка.

— Тормози. Приехали.— Джось вылез из машины.— А ты, дорогой, езжай,— сказал он шоферу. Подошел к Рогулину.— Ну, как самочувствие?

— Куда притащил ты меня?— хмуро спросил Рогулин, вглядываясь в чернеющие по обеим сторонам улицы дома.

— Не беспокойся. Все будет в порядке. В этом домике живет чудный аленький цветок...— игриво хохотнул Джось. Похлопал Рогулина по плечу.

Тот отодвинулся. Хмуро проворчал:

— Цветок... Идет вон гроза большая. Как бы не натворила беды на стройке...

— А...— Джось злобно махнул рукой.— Брось ты об этом,— он раздраженно швырнул папиросу, затоптал ее:— Надоело. За картами — о работе, за вином — о работе, за столом — о работе. И вот к женщинам приехали, и тоже надо обязательно толковать о работе. Как черти с писаной торбой, носитесь со своей работой. Надоело.— Чувствуя, что слишком грубо разговаривает с Рогулиным, Борис Игнатьевич смягчился:— Не беспокойся, Ануфрий Иннокентьевич, ничего не случится. Твой рабочий день окончен. Мой тоже. Сейчас мы отдыхаем,— и спросил:— Начальник строительства на месте?

Рогулин кивнул.

— Позолотин дома. Приехала сегодня жена к нему.

— Ну вот и отлично... Нечего здесь топтаться...Пойдем в дом...— Джось перепрыгнул через канаву, зашел в ближний палисадник. Кулаком постучал в ставень окна, сквозь узкие щели которого просачивался свет. Хлопнула дверь, послышались торопливые мягкие шаги.

— Кто там?— раздался из-за калитки певучий, какой-то теплый и домашний женский голос. Рогулину почему-то показалось, что они подняли женщину из постели, и стоит она за калиткой еще теплая, горячая, с наброшенным на круглые голые плечи платком. Захотелось скорее увидеть эту женщину.

— Открывай, Ксюша. Свои. Иль не чуешь...— засмеялся Борис Игнатьевич.

— Как не чуять,— запела за калиткой женщина, отодвигая задвижку. — Чую... Да так спрашиваю. На всякий случай. Береженого, говорят, и бог бережет.

— Давно это ты стала такой осторожной?

— С тех пор, как тебя, красавчика, узнала,— отшучивалась хозяйка.

Калитка проскрипела, пропустила гостей и захлопнулась.

Рогулин всматривался в хозяйку. Она без платка, одета нарядно и, по всей вероятности, совсем не такая, какой представлялась ему по ту сторону калитки. Он усмехнулся.

На кухне гости сняли пальто. Прошли в комнату. И сразу же очутились около большого круглого стола, уставленного закусками.

— Ба-а-тюшки!— развел руками Джось, оглядывая тарелки с колбасой, осетровым балычком, кетовой икрой. Облизнулся, заметив банку с любимыми сардинами.— И яблочек раздобыла, и соленых грибков, и огурчиков...— Борис Игнатьевич обнял одной рукой хозяйку.— Ай, Ксюша... Ай, голубушка...— Он подмигнул Рогулину:— Это не то что у нас, холостяков,— а сам стрель-стрель глазами по сторонам.

— Видать, добрая хозяйка у этого дома,— сказал Рогулин.

— Какие уж есть — не взыщите, — сверкнула частоколом золотых зубов хозяйка.

Рогулин, не скрывая любопытства, разглядывал ее. Хозяйке лет тридцать. Она крупная, полная. Лицо красивое, но несколько странное. Оно и привлекало и отталкивало. Было в нем что-то кошачье. Маленький рот, чуть вздернутый носик, пушок над верхней губой. Когда женщина смеялась, казалось, что это милый беззаботный котенок. Но лишь улыбка сходила с ее лица, как раскосые, зеленоватые глаза настораживались и котенок превращался в злую, рассерженную кошку.

— Что ж ты, Ксюша, закуску на самое видное место выставила, а вот жар-птицу спрятала.— Борис Игнатьевич сунулся вперед:— И вы голос не подаете, словно и нет здесь,— он с чувством пожал руку женщине, вышедшей из боковой комнаты.— Познакомьтесь, пожалуйста.— Поддерживая ее под локоть, подвел к Рогулину:— Мой друг Ануфрий Иннокентьевич... Наш главный инженер. Прошу любить и жаловать.

Женщина кокетливо поджала губы, склонив голову, протянула Рогулину руку.

— Марина Александровна,— сказала она с легкой улыбкой.

— Очень приятно... Очень приятно...— Рогулин весь встрепенулся и подтянулся.

С этой минуты он потерял покой. Нет, никак не ожидал Ануфрий Иннокентьевич встретить в этом неказистом домике такую красивую, с грустными, затуманенными глазами женщину...

Сели за стол. И вдруг над самым домиком глухо, как из тяжелой пушки, громыхнул гром. На столе зазвенела посуда. Затряслись стены. Люди притихли. Снова над крышей громыхнул глухой раскат и покатился в сторону стройки. Слышно было, как за окнами шумели под ветром кусты. А через несколько минут и их несвязный, беспокойный разговор потонул в монотонном, нарастающем шуме дождя. На какой-то миг Рогулин вспомнил о стройке, о котловане, но, взглянув на Марину Александровну, забыл обо всем.

— Выпьем за грозу,— поднялся улыбающийся Борис Игнатьевич.— За грозу, которая застала нас, Ануфрий Иннокентьевич, за хорошо сервированным столом и в обществе та-

ких милых женщин.— Он засмеялся и опрокинул в рот рюмку.

Тост следовал за тостом, рюмка за рюмкой. Рогулин быстро хмелел. Он таращил глаза на Марину Александровну. То и дело говорил ей комплименты. Громко и невпопад смеялся.

Весело чувствовал себя и Борис Игнатьевич. Но пил мало, а вот ел с аппетитом. Он поддерживал разговор с Мариной Александровной и Рогулиным, успевал поцеловать в щечку свою кошечку Ксюшу.

— Видишь, какую важную птицу я к тебе приволок,— шепнул он на ухо хозяйке.

Раскосые кошачьи глаза хитро прищурились:

— Посмотрим, будет ли толк...

— Не шептаться... Не люблю, когда секретничают... Нетактично... Гык...— пьяно икнул Рогулин.— Простите...— высокий, нескладный, он поднялся из-за стола, поклонился Марине Александровне:— Увлекался в молодости... Отменным танцором был... Разрешите...

— Браво, Ануфрий Иннокентьевич, браво.— Ксюша подбежала к радиоле, поставила пластинку.

Медленные, плавные звуки старинного танго заполнили комнату. Рогулин танцевал сосредоточенно и важно. Это не мешало ему то и дело наступать партнерше на ноги. Он извинялся. Женщина, запрокинув голову, смеялась.

— Вы такой вежливый... Да... Да... такой милый. Можно подумать, что мы танцуем на большом праздничном вечере,— кокетничала Марина Александровна.

— Привычка, Мариночка, привычка...— Рогулин заглядывал в голубые, с черными зрачками, глаза. От выпитого вина и от близости этой яркой, манящей женщины у него кружилась голова.

Рядом танцевали Борис Игнатьевич и Ксюша. Они толкались, громко смеялись,

После танцев снова пили коньяк и шампанское. Первым выбыл из-за стола Рогулин. Качаясь на стуле, он опрокинулся назад и, даже не почувствовав падения, уснул. Его с возней и смехом подняли, увели в маленькую комнатушку и уложили на кровать. Он громко захрапел, что-то несвязно забормотал.

— Укатали наконец сивку крутые горки...— усмехнулся Джось.— А теперь, девоньки, и поговорить о делах можно,— он оказался почти совсем трезвым. Женщины подвинулись к нему.— Довольно комедию ломать. Весело отдыхать будем там, на большой земле. А сейчас дело надо делать. Время — золото. Для нас эти слова не в переносном смысле, а в буквальном. Итак, Маришка... Этот человек...— он ткнул пальцем в сторону храпевшего за перегородкой Рогулина,— должен стать твоим мужем.

Марина брезгливо сморщилась.

— Ну, чего ты...— прикрикнул на нее Джось.— Подумаешь, рыться начала. Забыла, давно ли баланду хлебала.

— Ты насчет этого брось. Сам туда не попади,— лениво огрызнулась женщина.

— Сам? Умные там не сидят... Вот дуракам там место.

— Да бросьте вы. Как сойдетесь, что цепные собаки...— Ксюша положила голову на плечо Бориса Игнатьевича и зажмурилась — замурлыкала.

— Так вот, будешь жить с ним,— повторил хмуро Джось.

— Может, поздравишь меня с законным браком...— недобро усмехнулась Марина.— Плеснула в стакан вина, выпила.— Ну, давай, выкладывай, что дальше задумал.

Борис Игнатьевич отодвинулся от Ксении.

— Дело такое... Побаиваюсь я, расколоть нас могут... Так вот пока не поздно, надо отвести подозрения,— он наклонился к Марине:— Если будешь женой главного инженера стройки, то сойдешь за мою сестру. Вот и выходит, я шурин авторитетного человека. Наши семьи дружат. Живем тихо, мирно. Мы люди паиньки,— он подмигнул хозяйке:— Правда, Ксюша?

Ксения вздохнула:

— Ох, чует мое серденько, заведешь ты нас туда, где Макар телят не пас.

— Не каркай,— сверкнул на нее глазами Джось.— Волков бояться — в лес не ходить. Слушайте дальше. Будете на прииске — рябому передайте: пусть пока заглохнет. Чтобы ни грамма золотишка к его рукам не прилипало. И работает пусть, как лошадь. Его авторитет тоже нам на пользу пойдет. А зимой может на стройку перебраться. Нужен будет здесь... Итак, с сегодняшнего дня мы честные труженики.

Вдруг на кухне что-то упало, загрохотало, со звоном покатилось по полу. Джось вскочил, резко повернулся к двери. Его правая рука нырнула в задний карман. Холодной сталью сверкнула финка. Побледневшее, покрывшееся испариной лицо напряглось. В глазах жесткие, безжалостные огоньки. Появись кто чужой — убьет. В комнату, мурлыча, скользнул котенок. Ксюша облегченно вздохнула. Марина усмехнулась.

— А черт. Поразвели тут разную падаль.— Джось злобно пнул котенка, сунул

нож в карман.— Налей вина,— приказал он Ксюше. Залпом выпил.— А сейчас спать. Маришка, позаботься о своем будущем муже. Да не ломайся, дура...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Стоп!

Газик на полной скорости затормозил около верховой перемычки котлована. Позолотин и Ермолаев выскочили из машины, бросились к освещенной прожекторами насыпи. Ливень и ветер, налетавшие из темноты, толкали в спины, валили с ног.

— Где прорвало?— подбежал Позолотин к толпившимся на перемычке людям. Он напряженно всматривался в бурлящую, клокочущую темноту.

— Вон... Около ряжа...— шагнул к нему начальник участка Прохоров.

Позолотин, запинаясь о камни, побежал дальше. Около прорана остановился. Река прервала перемычку там, где верховая насыпь примыкала к продольным ряжам. Позолотин до боли сжал зубы. Не замечая секущего по лицу дождя, молний, разрывающих небо на куски, смотрел на черный, прыгающий через камни поток. Вода катилась в котлован. Начальник строительства знал, что это значит.

В котловане десятки кранов, машин, агрегатов. Оттуда вынуты тысячи кубометров скалы. Недавно там началась установка арматуры под бетонные блоки. И все это будет затоплено. Смыто водой.

Прихрамывая, подбежал и, тяжело дыша, остановился рядом Ермолаев. С ним начальник участка Прохоров и еще люди.

— Давно это случилось?— сквозь разбойничьи посвисты ветра крикнул Позолотин, повернувшись к Прохорову.

— С полчаса назад,— отозвался начальник участка.

— Какие меры принял?

— Увеличил количество машин на подвозке гравия. Сейчас сюда подойдет еще один бульдозер.

Позолотин лихорадочно соображал. То, что делает Прохоров,— не предупредит катастрофы. Хоть сто, хоть тысячу машин ставь — толку не будет. Перемычка узка. По ней много машин не пропустишь. Да и быстро разворачиваться им негде... Но что же делать? Каждая минута дорога...

— Прекрати все работы в котловане,— приказал он Прохорову.— Выведи оттуда людей и какие можно механизмы. Сыпь в проран не только гравий, но и скалу.— Георгий Степанович вытер мокрое от дождя лицо.— Позвони электрикам. Пусть включат все запасные прожекторы. А то тут ни черта не видно.

Прохоров исчез за темной дождевой завесой. Куда-то в сторону отодвинулись другие люди. К прорану то и дело подпячивались самосвалы. Они с грохотом вываливали гравий в бушующий водяной поток.

— Ты считаешь, Георгий Степанович, этих мер достаточно, чтобы заткнуть проран?— спросил Ермолаев.

— Нет.

— Что же делать?

— Вот думаю,— мрачно ответил Позолотин.

Подбежал Прохоров.

— Указание выполнено, Георгий Степанович.

— Аварийные насосы включил?

— Включил.

— Слушай, Прохоров. По продольной перемычке машины пройдут к прорану?— Позолотин вопросительно посмотрел на начальника участка.

— Нет. Там ряжи узкие.

— Жаль.

— Ты, никак, Георгий Степанович, хотел через низовую перемычку самосвалы пустить? С двух сторон проран сжимать?— уловил мысль начальника стройки Ермолаев.

Позолотин кивнул:

— Думал.

На мачтах, расставленных вокруг котлована, вспыхнули прожекторы. Позолотин подошел к краю насыпи, всмотрелся в котлован. Ближний экскаватор утонул уже по самые гусеницы. Компрессоры, трансформаторную будку, краны тоже подтопило. А вода в котловане все прибывала и прибывала. Она лилась с неба, неслась бурным потоком, рвалась через проран, сотнями ручьев катилась с горы. Казалось, что ничем уже не остановить разбушевавшуюся стихию.

Позолотину не трудно было предугадать, что будет с котлованом через несколько часов. Как огромное озеро, наполнится он до краев. Вода, ища выхода, прорвет низовую перемычку. И пиши пропало. Река как ни в чем не бывало потечет по старому руслу. Все усилия строителей, их труд, потраченное время, средства — как корова языком слизнет.

Подошли несколько человек. Среди них Горнов — заместитель главного инженера, Богданов — начальник техотдела.

Позолотин огляделся — Рогулина нет.

— Что же, товарищи, делать будем?— Георгий Степанович тревожно взглянул на инженеров. Но что предложишь, когда не

хватает машин, чтобы забить клокочущий проран.

Река явно побеждала людей. И Позолотин принял решение.

— Будем расширять перемычку и одновременно поднимать ее выше...

— Эй!— вдруг донесся сквозь шум дождя чей-то голос. На перемычке оглянулись. Сутулясь, по дороге бежал человек:

— Где начальник?— крикнул он. Увидев Позолотина, сдернул с головы брезентовый капюшон.

— В чем дело, Блинов?— Позолотин узнал бригадира плотников.

— Рабочие, Георгий Степанович, волнуются. За котлован беспокоятся. Какая, может, помощь от нас нужна... Говори... Подсобим...— Блинов высморкался. Вытер обвисшие усы.

— Спасибо, товарищ Блинов...— взволнованно сказал Позолотин. Эта поддержка рабочих обрадовала его.

— Все по местам... Нечего здесь топтаться... — повернулся он к инженерам. — Все бульдозеры сюда, автомашины...

— Слушай, Степаныч,— Блинов тронул начальника строительства за плечо:— А что если по низовой перемычке подвозить камни до продольной,— а там как-нито их на руках к прорану подтащим. А то стоим ни в дышло, ни в оглоблю, ни в корень, ни впристяжку...

— На руках, Блинов, далеко,— с сожалением вздохнул Позолотин.— Длина продольной перемычки триста пятьдесят метров.

Из темноты подвинулся Ермолаев.

— А по-моему, дело Блинов толкует,— взглянул он Георгию Степановичу в глаза.— Ничего, что далеко... Народу много. Цепью вытянемся...

— И верно...— крякнул Блинов.

Георгий Степанович на минуту задумался. Тряхнул головой.

— Ну что ж... Попробуем...

Ермолаев и Блинов исчезли за насыпью.

Позолотин окликнул Прохорова. Приказал ему срочно организовать подвозку обломков скалы к низовой перемычке.

Прохоров побежал в прорабскую звонить. Через минуту, выскочив оттуда, столкнулся с парнем в куцом плащике.

— Ты чего тут шатаешься?— накинулся на него начальник участка.— Делать нечего?

— С рабочими из поселка я прибег. Проран хотел посмотреть,— прикрываясь от ветра рукой, крикнул парень.

— Из чьей бригады?— заглянул ему в лицо Прохоров.

— Блинов у нас начальник. А моя фамилия Картошкин.

— Постой-ка тут, Картошкин.— Прохоров забежал обратно в прорабскую, схватил там что-то и, вернувшись, сунул Пашке в руку.— Вот тебе флажок... Регулируй...— крикнул он.— Две машины направляй к верховой перемычке... две к низовой...

Картошкин не успел и рта раскрыть, а начальник участка был уже далеко. Пашка повертел головой по сторонам. Хмыкнул:

— Чудак человек... с какой это радости я должен торчать здесь.

Вдруг мимо, приседая на ухабах под тяжелым грузом, пронеслась машина. За ней вторая, третья... Они шли к верховой перемычке. Пашка видел, как самосвалы со стоном опрокидывали кузова и направлялись в обратный рейс.

«Безобразие... Почему же они только к верховой идут...»— подумал он. И закричал, замахал руками, останавливая груженый МАЗ.

— Чего орешь?— высунулся из кабины мордастый шофер.

— К низовой вези груз... Начальник участка так велел,— крикнул Пашка.

— А ты чего здесь околачиваешься?— сердито спросил шофер.

— Регулировщик я... Не видишь...— махнул флажком Пашка.

— А-а-а... Ну, держись. Замерзнешь — вон будка... Сбегай обогрейся,— дружелюбнее проговорил шофер. Он захлопнул дверку кабины.

Пашка хотел спросить о проране. Скоро ли забросают эту чертову дыру в перемычке... А то вон уже полкотлована воды. И машины залило, и арматуру... Но не успел. Подошли другие самосвалы.

Пропустив несколько машин к низовой перемычке, Пашка оглянулся. От неожиданности вздрогнул. Почти на самой середине реки по продольной перемычке торопились к прорану люди. Впереди всех — спина коромыслом — бежал Блинов. За ним, прихрамывая, торопился Ермолаев.

— Становись цепочкой! Толки воду, чтоб пыль шла!— доносит ветер до Пашки голос Блинова.

— Эх... А Андрюхи нет. В тепле сидит, сачок...— вздохнул Пашка.— А я вот не уйду... не уйду...— он стучит от холода зубами.

А на перемычке сутолока.

— Людей много, можно и в три цепочки стать, — кричит Ермолаев.

— Верно, парторг,— басит Блинов и по-

ворачивается к рабочим: — А ну, ребятушки, поиграем силушкой.

Через несколько минут люди выстроились на узкой продольной перемычке. Слева клокотала река. В свете прожекторов видно, как горбатятся волны. Смотри — не зевай! Сорвешься — пропадешь. С другого боку в полузалитом котловане вода хороводом кружится. Ненароком упадешь — тоже едва ли выберешься. А окаянный дождь, холодный, резкий, хлещет в глаза и льет, и льет, как из прорвы.

— Давай, давай... Пошевеливайся!

Люди передают друг другу камни, качаются, как маятники, из стороны в сторону.

— Эх... Нажмем — навалимся...

Обломки скалы полетели в проран.

— Повыше, повыше, ребята, бросай... Вот сюда.— Ермолаев швырнул тяжелый камень в бушующий поток. Как с ленты транспортера, посыпались в реку обломки скалы.

— Молодцы! — крикнул Пашка. Но ветер заткнул ему рот, хлестнул холодной дождевой водой в глаза. Пашка скрипнул от злости зубами, промычал:

— Сволочь этот Андрей... В палатке отсиживается... За это морду надо бить...— Картошкин погрозил в сторону поселка кулаком.

В самой середине одной из живых цепочек стоит Романов. Он играючи подхватывает брошенный ему большой камень и быстро посылает его вперед. Вот в его руках снова камень... третий... сотый...

— Врешь — не возьмешь!— кричит Андрей реке.

— Не возьмет, однако, — отзывается кто-то рядом.

— Пошевеливайся!— орет справа плечистый детина.

— Эх-ма...— Андрей чувствует в руках силу, а в сердце кипучую радость. Веселая работка нежданно-негаданно подвалила сегодня. Хотел было он сначала под шумок смотаться из котлована. Но увидел встревоженные лица рабочих — понял: беда нешуточная над стройкой нависла. Убежит — всех подведет. Сам себе в душу плюнет. Остался.

«Где-то Пашка?»— с тревогой подумал Романов. После того как он решил остаться на стройке, этот парень стал ему близок и дорог. Андрей на несколько лет старше Пашки, но разве в этом дело... Вот с Маратаем они ровесники — одногодки, а не могут поладить.

Андрей покосился на маячившую на берегу башню кабель-крана. Ему захотелось, чтобы Маратай увидел его вот здесь, на перемычке. Он усмехнулся. Разогнул ноющую спину. Взглянул на реку. Она вся в блеске электрических огней. Чем-то напоминает мокрый асфальт. Асфальт. Вспомнился город. Но странно, он показался далеким-далеким и чужим. На какой-то миг вспомнилась Женька, но ее заслонило красивое, большеглазое лицо Галинки...

— Эй, не зевай!— окликнули рядом. Увесистый камень упал Андрею на ногу. Он зажмурился от боли, но все же поднял камень и передал его дальше.

— Поторапливайся...

— Потораплива-а-айся...— как эхо, отозвалась живая цепь.

Через минуту Андрей забыл о боли в ноге, о городе, о Женьке, о Пашке и Маратае... Камни, только камни и руки людей, подающие их, мелькали перед его глазами...

В эту ночь мало кто заметил, когда перестал дождь, утих ветер. Уже под утро Позолотин, взглянув на черное небо, увидел сиротливо мерцающую одинокую звезду. Впервые за эту беспокойную ночь Георгий Степанович вспомнил о жене, о дочери.

«Иринка спит. А Тамара ждет, наверное»,— подумал он.

За прораном, на другой его стороне, гудели голоса.

— Поднажмем, товарищи. Еще удар — и залатаем эту проклятую дыру,— подбадривал рабочих Ермолаев, а сам еле держался на ногах.— Ну еще... еще, ребятушки, нажмем...

В это время продрогший, насквозь промерзший Пашка Картошкин, разогреваясь, бегал на перекрестке двух дорог. Вот он, увидев, что машин пока нет на дороге, подбежал к краю перемычки, взглянул на реку.

— У-у-у... Чер-р-ртовка...— погрозил ей кулаком. И вдруг замер. Протер глаза. Снова уставился, не мигая, на реку. Что же это такое... Сердце Пашки радостно заколотилось. Недалеко от берега он увидел черные мокрые шляпки торчащих из воды камней. Час назад их не было. Не бы-ло!— Пашка как сумасшедший сорвался с места и бросился к проpану, где толпились люди.

— Река убывает!— крикнул он, подбегая.

— Что такое?— резко повернулся Позолотин.

— Река убывает... Вон... вон, видите, камни торчат. Час назад они были в воде...— Пашка схватил начальника строительства за руку и потащил к краю перемычки.

— Верно, парень.— От сознания того, что опасность миновала, что котлован спасен и

строительство гидростанции можно продолжать, Позолотин готов был пуститься в пляс.

А Пашка на глазах Позолотина вдруг опустился на землю. Нервное напряжение прошло, не оставив физических сил. Зубы его выбивали дробь. Промокшая одежда не грела.

— Стой!— крикнул Позолотин шоферу проезжавшей машины.— Посади-ка парня в кабину да увези ко мне домой. Не забудь сказать жене, чтобы стакашек спирту ему для разогрева дала...

Через забитый камнями проран перемычки к Позолотину подошел Ермолаев.

— Ну, Степаныч, люди выстояли,— устало улыбнулся парторг.

— Выстояли, Андрей Андреевич.— Георгий Степанович крепко пожал Ермолаеву руку.

Подбежал Прохоров. За ним — Горнов, Богданов, другие инженеры, рабочие.

— Виктор Николаевич,— повернулся к Прохорову Позолотин,— проверь, пожалуйста, все насосы. Установи еще несколько... За два дня надо откачать из котлована всю воду. Откачать во что бы то ни стало. Будем класть бетон.

Георгий Степанович огляделся. Над землей занималось утро нового дня. Жидкий бледно-серый рассвет приглушил свет прожекторов. Куда-то под темные берега и в глухие таежные распадки медленно уползала ночная мгла. А рядом как ни в чем не бывало текла за перемычкой река. Сердитая, грозная. И трудно было предугадать, какие фокусы она еще выбросит, пока людям удастся окончательно ее обуздать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

День прошел. Второй пролетел. Третий торопится. Блинов радуется — работка подвигается. Усы у бригадира от удовольствия по сторонам топорщатся, покрикивает:

— Постой, холостой, дай подумать женатому!

И вдруг — раз! В бригаде слушок ползет: Блинов не в духе. А он после обеда остановился около Андрея и Пашки. Кисет узорчатый из кармана достал. Закурил.

— Вот так-то, ребятки...— тяжело вздохнул бригадир, на ошкуренное бревно присел: — Живем — покашливаем, ходим — похрамываем.

— Что такое, Григорий Иванович? Нездоровится?— спросил Пашка.

— Здоровому и нездоровье здорово, а нездоровому и здоровье — нездоровье.

...И неожиданно Блинов разразился бранью:— Сколько мне баба толковала: не умничай, Гришка. Нет, лезу, едрена шишка, в самое пекло. Наш пострел везде поспел. Вот и вышло, что Адам согрешил, а я воздыхаю.

— Да, что случилось, Григорий Иванович?— подошел Андрей. С лесов на бригадира удивленно смотрел Картошкин.

— Что... Не знаете? — сердито глянул на них Блинов.— Вчера кладовку забыл замкнуть. Прихожу утром. Глядь... Инструмента нового, что на днях получил,— нет. Кто-то, не говоря плохого слова,— за пазуху, да и ушел,— бригадир вздохнул.— А я-то думал, ребятам радость будет. Нет, нашлась сволочь,— люди молотить, а он замки колотить.

— Кто же это мог на такую подлость пойти?— удивленно воскликнул Картошкин.

— Э-э-э... Из тысячи людей — пара сволочных душонок всегда найдется. Знаю... Такими делишками занимается тот, кто работать не любит...— Блинов погрозил кому-то кулаком.— Попался бы, сволочуга, руки надо пообрубать за такую пакость.

— Да. За это стоит всыпать,— мрачно сказал Андрей.

Пашка взглянул на него и удивился перемене, происшедшей с товарищем. Лицо Андрея сердитое и злое. Глаза потемнели. Черные густые брови сошлись на переносице в сплошную дугу.

— Ругайся не ругайся, выходит так, что вор ворует, а мир горюет.— Блинов сердито сплюнул.— Сейчас на каждого можно думать, что он стащил инструмент. Один в грехе, а все в ответе. Пойду начальству докладывать. Ничего не поделаешь...

К вечеру о случившемся узнала вся бригада. Андрей удивился, что люди не шумели, не кричали. Все внешне довольно спокойно встретили это известие. Пожилые плотники, поговорив, перекурили, перекинули топоры и пилы через плечи и молча разошлись по палаткам. Они и не такое видели в жизни.

Андрей пришел с работы расстроенный. Умылся, переоделся, нехотя выпил кружку холодного чая и вышел из палатки. Почему-то не покидало скверное ощущение. Будто не кто-то, а он украл из кладовки Блинова топоры. Андрей усмехнулся. Приходилось воровать, но совесть никогда не грызла. А вот тут и не воровал, а червяк сосет. Сосет...

«Отчего бы это?— подумал он.— Может быть, оттого, что узнал настоящую цену этим пилам и топорам. Или оттого, что не успел получить новый топор, а старый натер на правой ладони кровавую мозоль...»

— Пакостники,— сказал он громко и пошел к котловану. После той тревожной ночи он еще не был там. Назавтра же после ночного аврала бригаду перевели на старую работу — строить жилые дома. Но сейчас хотелось посмотреть на котлован. Он уже казался каким-то своим.

Андрей шел и глядел вокруг. Днем, увлеченный работой, он как-то не замечал изменений, происшедших здесь. Но сегодня они бросались в глаза. Лесистые, крутые горы, обступившие поселок, словно облиняли. Сквозь покров растительности кое-где выглядывали серые плешины скал. В воздухе плавал густой запах грибов и прелых листьев.

На горе Андрея догнал Пашка:

— Ты чего меня не дождался?

— Сам дорогу знаешь.

Пашка обиженно засопел, молча пошел рядом.

За горой рокотал бульдозер, гудели автомашины. Там находился котлован.

На горе парни остановились. Отсюда видна стройка. В котловане много машин, мотают из стороны в сторону длинными шеями краны. Люди кажутся маленькими. Перемычки крепкими объятиями охватили котлован. Теперь, река, к нему не подступайся. Андрей взглянул на то место, где в цепочке товарищей стоял той ночью. Никаких следов пережитого. Вот только котлован сухой и тарахтит машинами А ведь мог и не тарахтеть. Ну, а ему-то, Андрею, не все ли равно. И почувствовал, что нет, не все равно. Чем-то незримым, неосязаемым, но крепко связан он теперь со стройкой. А может быть, это так, блажь одна?

— Эй, парни,— вдруг окрикнул кто-то издали Андрея и Пашку. Они оглянулись.

Из молодого березняка обступившего со всех сторон башню кабель-крана, выглядывал улыбающийся Маратай.

Романов хотел было повернуть обратно, но не успел.

— Курево, Андрей, есть?— подошел Маратай.

— Держи. — Андрей, не глядя, сунул ему в руки портсигар.

Домбаев прищурился. В уголке его глаз сверкнули лукавые искорки.

— Понимаешь, — заговорил он, как будто между ним и Андреем никогда не было ни ссор, ни разногласий.— Понимаешь...

— Все разошлись, а ты что, ночевать здесь собираешься?— усмехнулся Пашка.

— Да нет. Зачем ночевать. Мы в одну смену работаем. Жду вот Галину. Она за цветами в лесок вон тот убежала. Сейчас придет и пойдем все вместе домой.

Андрей, услышав, что рядом находится Галина, повернулся и пошел к поселку. Но позади донесся веселый девичий голос:

— Эй, мальчики! Вы что, решили меня бросить,— девушка подбежала к парням. В руках у нее большой букет цветов.— Это вот, Маратайка, тебе. Моему грязнуле. А это тебе, — улыбаясь подала она несколько цветов Пашке.

— А это,— Галина подбежала к стоявшему к ней спиной Андрею и протянула ему цветы. Повернувшись, Андрей встретился с большими радостными глазами девушки. От этого взгляда ему стало сразу жарко, в горле перехватило дыхание. Галина, узнав Андрея, запнулась на полуслове, уронила цветы. Андрей наклонился, подобрал их и протянул ей. Она, закусив нижнюю губу, исподлобья посмотрела на него и сказала: — А это... Я дарю вам.

Взяв Маратая под руку, Галина со смехом потащила его под гору.

— Вам вот смешно,— крикнул Пашка.— А у нас несчастье.

— Что такое?— остановился Маратай.

— Что? Обокрали нас. Весь новый инструмент из конторки Блинова утащили.

— Ай-яй-яй...— покачал головой Маратай. — За это надо наказывать... Шибко наказывать... Товарищей кто-то ограбил. Искупать надо, — вдруг он схватил Андрея за руку. Черные глаза бурята тревожно блестели: — Постой. Я тут двух недавно приметил. Кепчонки на глаза надвинули, бродят по поселку. Уж не они ли... Надо узнать.

Спустившись к поселку, Маратай с Галиной пошли к своим палаткам, Андрей и Пашка направились к себе. Еще издали они увидели, что полог палатки поднят. Когда подошли ближе, услышали громкие голоса.

— Стоит ли из-за этого волноваться,— кричал кто-то хрипло.— Подумаешь — топоры и пилы украли. Воруют, братец мой, миллионами, и все шито-крыто. И поверьте, милый человек, воровали, воруют и будут воровать... Да-да... Будут воровать.

— Это еще посмотрим,— спокойно возразил другой голос.

Андрей и Пашка вошли в палатку.

— Пришли. Я вот вас жду. Акт надо подписать,— поднялся им навстречу бригадир.— Видели вырванный с корнем замок?

— Видали.— Андрей подписал бумагу, покосился в сторону незнакомца, пристроившегося на Пашкиной кровати.

— Это Джось... Вместе летели сюда,— шепнул ему Пашка.

Андрей встретился с жесткими глазами Джося. Смуглый, весь какой-то сбитый и, по всей вероятности, физически очень сильный, тот выглядел сурово и внушительно. В его глазах и во всем лице было что-то разбойное и бесшабашное.

— Ну, я побежал.— Блинов попрощался со всеми и вышел из палатки.

— Наделали бригадиру печали,— вздохнул Пашка.

— Все перемелется — мука будет,— махнул рукой Джось.— Что же это ты, дружок, забыл меня? А?— заглянул он в глаза Картошкину.

Тот смутился.

— Да некогда все... Дела... Работа...

— Ну ладно, ладно...— Джось встал с кровати, похлопал Пашку по плечу:— Верю. А тем более ты сейчас не один, дружок у тебя появился,— он подмигнул Андрею.— Новичок?

Андрей кивнул.

Борис Игнатьевич изучающе оглядел его.

— Может, выпьем ради знакомства? А?— Он подвинулся к столу, вытащил из кармана пол-литровую бутылку водки. Раскупорив, поставил ее на стол. Из другого кармана вынул завернутый в бумагу кусок колбасы.— И закусочка при нас. Между прочим... — Джось приподнял бутылку, повернулся к парням.— Между прочим, не люблю я вашего бригадиришку. Вредный мужик. Правду ищет... Дурак. Под ногами только путается.— Он подмигнул Андрею. Разлив водку, подвинул кружки к парням.— Пьем, орлы. Потом покалякаем.

Когда, неестественно сморщившись, Пашка поднес ко рту кружку, толстые щеки Джося затряслись от смеха. В больших бараньих глазах запрыгали огоньки.

«За мальчишку считает»,— злобно подумал Пашка и судорожными глотками выпил водку.

— О кэй, мой мальчик. Ты делаешь успехи. Скоро будешь настоящим мужчиной,— похлопал его по спине Борис Игнатьевич.

Андрей выпил аккуратно, маленькими глотками. Поставил на стол кружку, вытер губы и лишь потом взял корочку хлеба.

— Молодчик,— крякнул Джось. Он опустошил кружку двумя большими глотками. Сплюнул на пол и бросил в рот кусок колбасы.— Здесь одна радость — водочка,— повернулся к Андрею.— Понимаешь, тружусь я на бетонном заводе. Работа — не бей лежачего. В час одна машина. Побалагурю с шоферами и работа вся. А вот делов нет. А где делов нет, там и грошей нет. Правда ведь?— Он хохотнул, толкнул Андрея в плечо.— Да тебе ли это говорить. Я вижу, ты парень битый: свое не упустишь.

Джось внимательно, точно изучая, что за человек перед ним, разглядывал Андрея. В глазах его все сильнее разгорались какие-то загадочные огоньки. Точно обдумывая что-то, он пересел с табуретки на табуретку. Потом встал, прошелся по палатке.

— У тебя холодная водичка есть?— неожиданно спросил он Пашку.

Картошкин сунулся к ведру, в которое Джось уже успел заглянуть.

— Сбегай-ка, дорогой. А то, понимаешь,— Борис Игнатьевич тронул круглый, как яблоко, кадык,— кусок в горле застревает.

Пашка схватил ведро, выбежал на улицу. Джось подошел к Андрею:

— На заработки приехал?

Андрей молча пожал плечами.

— Бесполезно. От силы двести — двести пятьдесят можно в месяц заколотить. А это разве деньги? — И, наклонившись вплотную к Романову, спросил: — Хочешь заработать?

— Без денег сейчас живу,— нахмурился Андрей.

Джось вынул из бокового кармана тугой бумажник. Раскрыл его и протянул Андрею пять десяток.

— Это на первый случай. Да, кстати... Сделай мне одну небольшую услугу. Завтра я принесу тебе маленькую посылочку, а с ней адресок. Отправишь ее от своего имени куда следует. Хотел Пашке поручить. Да боюсь растреплется малец. А ты парень, вижу, толковый. Понимаешь, что к чему...

Андрей недоуменно посмотрел на Джося. В захмелевшей голове шевельнулось неясное подозрение.

— А ты сам... Почему твою посылку я должен отправлять?

Джось сердито посмотрел на него. В черных глазах Бориса Игнатьевича мелькнуло раздражение.

— Я думал, ты умнее...— Он положил тяжелую руку Андрею на плечо:— Понимаешь, дружище... Я не хочу, чтобы моя неблагозвучная фамилия вновь дошла до моего неблагодарного семейства. Разошелся я с женой. Сам понимаешь, алименты... А это значит, жизнь впроголодь. Даже и выпить нельзя будет себе позволить... Понимэ?— шутливо спросил он.

— Угу,— мрачно кивнул Андрей.

Недалеко от палатки послышались торопливые шаги.

— Спрячь гроши,— приказал Джось.

Андрей торопливо сунул деньги в карман.

В палатку с ведром воды зашел Пашка.

— Попьем студеной водицы,— взял кружку Борис Игнатьевич.— Холодненькая, ух...

Пашка сбросил телогрейку. Подвинулся к столу.

— Холодновато у реки,— сказал он.

Джось вытер мокрые губы, хлопнул его по спине:

— Мерзляк ты, Пашка. Тебе не бетонщиком работать, а у нас в диспетчерской сидеть. И чего ты к этому Блинову прилип. Шел бы к нам. Я бы тебя научил жить.

Пашка сердито ощетинился, нахмурился.

— А вы не клевещите на Григория Ивановича. Наш бригадир человек правильный.

— Ух ты... заступник.— Джось гундосо рассмеялся.

За палаткой послышались твердые шаги. Ввалился Маратай.

— Привет веселой компании,— поздоровался он. Увидев Андрея рядом с Джосем, хитро улыбнулся.— А ты, Андрей, говорил, что у тебя знакомых здесь нет... Оказывается, нашлись...

— У хороших парней везде друзья найдутся,— ухмыльнулся Джось. Он с неприязнью посмотрел на бурята. Лезут тут всякие, поговорить не дадут... Но промолчал. Достал из кармана еще бутылку водки. Повернулся к Маратаю, подавая ему кружку:

— Как ты думаешь, Домбаев, получится из Андрея человек?— Джось прищурился.

Маратай взял кружку, поднял ее над столом.

— За то, чтобы из Андрея получился настоящий человек. — Он выпил водку, понюхал ломоть хлеба и, взяв кусок колбасы, сел на кровать.

— Хороший тост,— заиграл глазами Борис Игнатьевич. Поворачиваясь то к Маратаю, то к Андрею, он завел разговор:— Да, ребятки... Прогадали мы. В этих краях пропасть недолго... Заработки плохие... Харчишки дорогие... Жилье неважное... Скоро зима... А она тут злющая, как моя бывшая теща. Я, признаться, ехал сюда и думал, что рублишки здесь по меньшей мере с портянку длиной...

— Рубли везде одинаковые... Трудовые,— отрезал Маратай.— Вот я, например, не за ними приехал. Да и Паша, пожалуй, тоже. Правда ведь?

Пашка кивнул головой.

— Деньги — это ерунда. Вот счастье свое найти. Смысл жизни... Узнать, что к чему... Это дороже всяких денег.— Маратай, прищурившись, посмотрел на Андрея.

Джось крякнул, встал, заходил по комнате.

— Ты видел, Домбаев, такую картину, когда кошке привяжут к хвосту бумажку и она вертится, силясь схватить ее?

— Видел,— отозвался Маратай.

— Так вот. Бедняжка кружится до полусмерти, до изнеможения. Ловит бумажку. Ну и бывает, что поймает. Она счастлива. Так и человек. Бегает, гоняется за своим так называемым счастьем. И, наконец, подкараулит его. Хвать... А это что-нибудь вроде бумажки, привязанной к кошачьему хвосту.— Борис Игнатьевич раскатисто захохотал, подмигнул Андрею, но неожиданно умолк и, засопев носом, выпалил жестко и яростно:— Большинство людей имеют о счастье чисто абстрактное понятие. Вдохновение, труд, радость творчества... Все это болтовня. Счастье, я считаю, когда у тебя деньги есть. Деньги — это все. Деньги, вот что главное. Понятно?— Джось мутными глазами оглядел парней. По его лицу расплылись красные пятна.

— Вы не правы, Борис Игнатьевич,— вызывающе крикнул Пашка. Он заметно охмелел:— На кой черт мне деньги. Мне и заработанных хватает. Мне другое надо...

— А-а-а...— Джось пренебрежительно махнул рукой.— Ребенок,— он подмигнул Андрею.

— Тихо!— Маратай поднял голову.— Я скажу, что такое счастье.

И вдруг он запел на своем родном языке. Задушевная мелодия заполнила комнату. От нее пахло ковылем, цветами, солнцем... В черных глазах Домбаева проносились табуны степных коней, смеялись веселые круглолицые девушки. А вокруг бескрайняя степь, степь...

Андрей задумался. Не понимая слов песни, он в то же время чувствовал в ней что-то мудрое и светлое. И хорошие мысли заполняли его душу. Он думал о судьбе человека, о жизни и смерти, о лжи и правде, о друзьях и недругах. О тех, с кем, вероятно, придется ему еще встретиться в жизни... Какая сложная штука — эта жизнь! Только сейчас вроде и прав был Джось. А вот незнакомая песня заставила забыть и о его словах, и о деньгах, и о стоящей на столе водке. Что-то есть, повидимому, в жизни важнее их...

Маратай умолк.

— О чем это ты, Домбаев, пел?— спросил Джось.

Маратай улыбнулся.

— О счастье,— он тихо засмеялся.— О солнце, о земле, о легком ветерке и о людях, смело шагающих по дорогам. У нас — бурят — о счастье есть шибко хорошая поговорка. Если нет долгов — блаженство, нет болезней — счастье. Жизнь — есть счастье.

— Чудак ты.— Джось взглянул на часы. Поднялся. Незаметно кивнул Андрею на дверь.— Ну ладно, детки, ночь... Вы, я вижу, бай-бай хотите. Отдыхайте... А я того... Пойду в свою холостяцкую обитель.

Андрей вышел за Джосем.

Когда отошли подальше от палатки, Борис Игнатьевич сказал вкрадчиво:

— Значит, завтра, дружок, я к тебе забегу. Ты уж отправь посылочку... Не откажи... Да не сомневайся... — он потрепал Андрея по плечу.— В посылке сибирские орешки. Кедровые, каленые... Вот такие. На, попробуй...— Он достал из кармана горсть орехов и высыпал их в подставленную Андреем ладонь.— Вот такие орехи я посылаю моему знакомому. Пусть знает, что я не где-нибудь, а в Сибири живу... Так договорились?

Андрей пощупал в кармане деньги.

— Ладно.

— Ну вот и отлично.— Джось вплотную придвинулся к Андрею:— А в этом,— он похлопал Романова по карману, в который тот положил деньги,— в этом не сомневайся. Деньги будут. Была бы голова на плечах. Хо-хо-хо... Вот так-то... Да смотри... Этих идеалистов меньше слушай, — он кивнул на палатку, в которой остались Пашка и Маратай.— Ну, пока.

Он повернулся и зашагал прочь. Скоро его темный силуэт растаял в ночной мгле.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Назавтра в обеденный перерыв к столику, за которым сидел Андрей, подсел Маратай.

— У тебя, Андрей, время свободное есть?

— А что?

— Да вот лекция сегодня в клубе... О дружбе и товариществе... Может, придешь?

— А ты что обо мне заботишься?— сердито спросил Андрей.

— В комитете комсомола попросили поговорить с ребятами... Вот я и выполняю поручение,— сказал Маратай. — Сам-то я сегодня занят.

Андрей колебался.

— Сходи... Послушай,— не отставал Маратай.

— Ладно. Приду.— Андрей встал из-за стола.

— Вот и отлично,— улыбнулся Маратай.

После работы Андрей пошел на почту. Отправил посылку Джося — небольшой ящик,— а вечером направился в клуб. Народу там полным-полно. Лектор, красивый высокий парень, говорил интересно. Слушали его внимательно.

Андрей всматривался в лица сидящих рядом людей. Ни одного знакомого человека. И вдруг он заметил Галину Яковенко. Она сидела на первом ряду. Андрей видел ее четкий профиль, тонкую бровь, розовую щеку. Красивой, недоступной казалась она парню. Глядя на Галину, Андрей вспомнил приключение на реке. Жаркую пощечину девушки, ее презрительный взгляд. Как наяву, представилась вчерашняя встреча. Букет цветов.

«Хороша»,— ласкaя взглядом русые косы Галины, вздохнул Андрей. Повезло же этому Маратаю. Сумел подкатиться... И цветы ему, и ласковые словечки...

Лекция закончилась поздно. Андрей, не желая встречаться с Галиной, из клуба вышел первым. На улице непогодило. Ветер царапался в брусчатые стены домов, раскачивал высокие сосны. Андрей торопливо направился к палаткам. Небо, черное, тяжелое, придавило поселок. Со всех сторон подступали темные громады гор.

Около высокого забора остановился прикурить. Вспыхнул в темноте красный язычок пламени и погас. Андрей хотел было идти дальше, но услышал позади шаги.

— Это вы, Романов?— окликнул его девичий голос.— Оказывается, у меня есть попутчик.

Андрей узнал Галину. Он вздрогнул от ее голоса. По телу прошла жаркая волна.

— Да, мы недалеко друг от друга живем,— ответил он и как-то сразу неловко почувствовал себя рядом с этой девушкой. О чем говорить сейчас с ней — не знал. Все слова и мысли как будто ветром из головы выдуло. Андрей шел и молчал.

Галина первая нарушила молчание:

— Значит, вы решили оставаться на стройке?— спросила она, и по ее голосу он почувствовал, что она улыбается.

— Откуда это видно? — помрачнев, отозвался Андрей.

— Так мне кажется...

— Могу хоть завтра уехать.

— А вы ершистый,— сказала Галина.

— Вы тоже,— усмехнулся Андрей.

Девушка промолчала.

— Сердитесь?— неожиданно спросил Андрей.

Галина ответила не сразу. Она долго шла молча, потом, повернувшись к Андрею, сказала тихо:

— Я не злопамятна. К тому же Маратай мне кое-что рассказал. И ваша судьба меня заинтересовала.

— Еще не хватало!— сердито воскликнул Андрей. А мысль тревожная точно огнем

обожгла. «Опять Маратай... И здесь этот Маратай...»— О чем же он говорил, если не секрет?— Романов замедлил шаги.

— О ваших родителях... О том, что вы росли без родителей... Я ведь тоже детдомовская девчонка,— с легкой грустью ответила она.— Потому и ершистая. За себя надо заступаться,— и, помолчав, добавила:— Отца в сорок четвертом на фронте убили. А мать во время эвакуации из Киева.— Подвинувшись ближе к Андрею, зашептала взволнованно:— А вы, Андрей, обязательно найдите убийцу своих родителей. Я бы, если напала на след — нашла. И вы найдете. Паша Картошкин врать не станет. Я верю ему, что он слышал фамилию Граненого.

— Да вы-то откуда обо всем знаете?— раздраженно спросил Андрей.

— А наши ребята от меня ничего не скрывают. И я от них тоже.

Ветер крепчал. Он рвал с Галины платок, трепал полы пальто. Андрей шел, подставив тугим порывам лицо. На перекрестке он остановился. Его попутчице надо было вправо по тропинке. Андрей нерешительно замялся. «Если предложить проводить, скажет еще, что навязываюсь»,— подумал он.

Но Галина сама попросила:

— Если не трудно, Андрей, то проводите, пожалуйста, меня до палаток.— И тихо засмеялась:— Боюсь собак.

Андрею стало весело. Он шел по узкой тропинке за девушкой и улыбался.

— Ну, вот я и дома. Благодарю вас.— Галина остановилась недалеко от крайней палатки, подала Андрею теплую руку. Он чувствовал, что девушка чему-то улыбается. Хотел сказать ей что-то доброе, хорошее, но не успел.

— До свидания...— Галина выдернула руку из его руки и побежала по тропинке.

Андрей долго глядел ей вслед. Сердце билось тревожно и радостно. Он, не выбирая дороги, проламываясь через березняк, быстро прошел через чащу. Когтистые ветки хлестали по лицу, но Андрей не замечал ничего. Его рука, мозолистая, с потрескавшейся кожей, берегла тепло маленькой девичьей руки.

Около своей палатки лицом к лицу столкнулся с Джосем.

— Где это ты бродишь?— раздраженно процедил сквозь зубы Борис Игнатьевич.— Кое-как дождался...

— Отчитаться надо?— сердито спросил Андрей. От светлого, радостного настроения не осталось и следа.

— Отправил посылку?— вплотную подошел к нему Джось.— Давай квитанцию...

Андрей нащупал в кармане бумажку, протянул ее Джосю. Тот повеселел.

— Спасибо, дорогой... Спасибо...

Зашли в палатку. Около тумбочки, разбирая кроссворд, склонились Маратай и Пашка.

— Андрей, назови домашнее животное из восьми букв,— подскочил Пашка.

— Тунеядец,— бросил Андрей, снимая телогрейку.

Все засмеялись.

— И охота вам ерундой заниматься?— спросил Борис Игнатьевич склонившихся над журналом ребят.

— Это не ерунда,— сказал Пашка.— Это одна из форм самообразования.

— Эх ты, «форма». Водку еще не научился пить, а туда же...

— Чего вы все водка да водка,— зло покосился на него Маратай.— Как будто на ней свет клином сошелся.

Джось словно не слышал его. Он поежился от холода, склонился над пышущей жаром печуркой.

— Эх, сейчас бы куда-нибудь в Азербайджан,— Борис Игнатьевич мечтательно улыбнулся.— Солнце, фрукты, море доброго вина и толпа красивых женщин...— Он вздохнул.— Все это я заслужил, заработал...

— Интересно, где же вы отличились?— ехидно спросил Маратай и подмигнул Пашке.

— Эх... миленькие, жизнь у меня необыкновенная. В войну такие истории случались, что и сейчас диву даюсь — каким чудом жив остался. Если интересно слушать — могу и рассказать.

— Слушать полезнее, чем говорить,— ввернул Пашка.

— Вот однажды какая история со мной произошла,— начал Джось.— Во время фронтовой жизни это случилось... Наступали мы... К Польше уже подходили. Наш батальон вырвался вперед...

Андрей сидел на кровати, слушал Бориса Игнатьевича и думал о Галине...

— В том бою оглушило меня взрывной волной. Несколько часов был без сознания...— Джось покачал головой.— Уже вечером, помню, очухался. Встал. Куда идти, не знаю. Слева болото, справа река. Пошел к лесу, что впереди виднелся. Винтовку за ремень по земле волоку. Сил нет на плечо поднять.

Маратай и Пашка отложили журнал и повернулись к рассказчику.

— Прошел я, значит, лесом и вижу большое поле. Тут, видно, бой был. Трупы людей, оружие разное... Идти дальше не могу. Пополз. Наши где-то недалеко должны нахо-

диться. Темно стало. Не заметил я глубокой воронки. Свалился в нее. Сильно ударился головой обо что-то... Чуть дух не испустил. Но все же собрался с силами, вылез. А дальше ничего не помню — сознание потерял. Очнулся—слышу негромкие голоса: «Жив?»— «Кажись, так» — отозвался кто-то рядом со мной.

Догадался я, что это санитары. Они обычно ночью раненых подбирали. Застонал от боли — голова, казалось, вот-вот расколется... Тело точно на отбивные котлеты готовили... Санитар, который был около меня, поднялся и отошел к своему товарищу. О чем они говорили, не знаю, но показалось мне, что собирались обыскать меня. Прикинул — обыскивать начнут — найдут в карманах золотые часы, портсигар. Трофеи мои... Их заберут, а меня бросят. Да что бросят — пристрелят. Знаю я эту братию... Ну, думаю, уж дудки. Винтовку я потерял, но в заднем кармане у меня на всякий случай пистолет хранился. Вот тут-то он и пригодился. Достал я его, детки... Притих. Гляжу, санитары ко мне идут. В руках одного носилки... Я им не дал себя обыскать. Как подошли, я сначала одного в упор уложил, а потом и другого...

Маратай и Пашка удивленно переглянулись. Андрей бросил на пол папиросу, придавил ее ногой.

Джось хрипло закашлялся. Через минуту, скрестив на груди руки, продолжал рассказ.

— Встал, значит, я и поковылял к своим. Уже рассвело, когда к оврагу подошел. Вдруг вижу, оттуда прямо на меня два немецких солдата прут. Вскинули автоматы... Ну, думаю, кончилась династия Джосей... Нет, черт возьми, повезло. Солдаты увидели, что перед ними раненый (а у меня вся морда в крови), опустили автоматы, подошли ко мне.

«О-о-о... русс»,— удивленно оглядывая меня, проговорил долговязый рыжий детина.

«Геноссе»,— похлопал по плечу другой и, показав на кровоточащий шрам на моей щеке, сморщился: «Вунде». Рана, значит.

И вот немцы огляделись вокруг, что-то быстро между собой затараторили, закивали головами. Согласились, значит, друг с другом. Потом один и говорит: «Гитлер капут»,— а сам показывает на себя и на своего товарища, мол, и нам тоже. И велят они мне двигаться подобру-поздорову в лес.

— Зачем это?— удивился Пашка.

— Отпустили меня немцы к своим,— ухмыльнулся Джось.— Дай-ка папироску,— он протянул руку к Андрею.— Ну вот, пошел я в лес, а сам оглядывась — боюсь, как бы благодетели-то не шарахнули мне разрывной в зад. «Геноссе»-то «геноссе», а черт их душу знает...— Он прикурил. Весело оглядел парней.— Но ничего.. Все обошлось. Помахали они мне, и разошлись мы. Они своей дорогой, я своей. Обрадовался я, что они меня даже не обыскали. Все, слава богу, осталось при мне. И часы, и портсигар. Так вот и добрался я до своих благополучно.— Джось вздохнул.

Маратай, не скрывая неприязни, отодвинулся от него. Широкие ноздри его носа раздувались от гнева.

— Добрые люди, видно, встретились на вашем пути, Борис Игнатьевич,— сказал он глухо:— Выходит, и среди врагов иногда порядочные люди находятся.

— За что же это вы санитаров-то убили?— перебил его Пашка.

— Как за что?— дернулся Джось.— За мародерство. Добрые люди обыскивать раненого не будут.

— Ну, а может быть, они документы ваши хотели найти. Часть, где вы служили, установить?— наседал Пашка.

— Ну, это ты, Паша, ерунду мелешь. Правда ведь, Андрей, ерунду говорит парень?— надеясь найти поддержку у Романова, повернулся в его сторону Борис Игнатьевич.

Андрей молчал.

В палатке наступила тревожная тишина. Лишь слышно, как в печурке потрескивают дрова да подвывает за стеной ветер.

— Да, необыкновенная у вас жизнь,— сквозь зубы процедил Маратай.

— А что?— Борис Игнатьевич подозрительно посмотрел на Домбаева. В больших, навыкате, глазах его мелькнуло недоумение.

Широкоплечий, кряжистый, Маратай вплотную подошел к Борису Игнатьевичу.

— А то, Джось, что те двое немцев были умные люди. Но они сделали большую ошибку.

— В чем?— недоуменно вскочил Борис Игнатьевич.

— Да в том, что вас не пристрелили.— Казалось, что Домбаев сейчас бросится на Джося. Андрей встал между ними.

— А ты отойди,— оттолкнул его Маратай.— Дружка себе нашел. Рыбак рыбака видит издалека...— Он презрительно взглянул на Андрея.— А я-то думал...— Сжав кулаки, резко повернулся к Джосю:— Может, вы Галинкиного отца тогда убили.

— Какой Галинки?— сделав круглые глаза, усмехнулся Борис Игнатьевич.

Но Маратай не слушал его.

— Мой совет вам, Джось,— подошел он к нему вплотную. — Катитесь-ка вы отсюда,

пока не поздно. Ищите теплый угол и существуйте. Да никому не рассказывайте про свои героические подвиги на войне. Не то... — Он поднес к мясистому носу Джося увесистый кулак.

— Ну, ты, щенок...— брызжа слюной, крикнул Джось.— Не тебе мне указывать...

— Скотина,— бросил в лицо ему Маратай и выбежал вон. Пашка, набросив телогрейку, за ним.

— Что это они истерику устроили?— Джось, нагло улыбаясь, уставился на Андрея.— Не нюхали пороха — вот и не знают, что такое война. Там и не такое случалось. А что я мародеров пристрелил, так это ерунда. По закону поступил.

Андрей смотрел в темное окно и молчал.

— Э... молокососы. Не ввязывались бы не в свое дело. Надо еще пожить... Киселя похлебать. А с меня довольно.— Джось яростно погрозил пальцем в сторону двери. Подошел к Андрею.— Ты от них подальше.— И спросил:— Деньги есть?

— Мало. Из вчерашних только-только с долгами рассчитался.

— Подбросить?— Джось достал бумажник. Помусолив пальцы, отсчитал три десятки. Подал их Андрею:— На вот на мелкие расходы.— Он исподлобья взглянул на Романова:— О деньгах не волнуйся... Будут они у тебя... Держи только язык за зубами. Понял?

— Понял,— отозвался Андрей.

— Вот так-то лучше... Ну, дрыхни...

Джось вышел из палатки.

Андрей быстро разделся и лег в кровать. Согнувшись в холодной постели, задумался. Мысли хороводом бродили в голове. Джось, видать, ворочает большими деньгами. И около него можно хорошо заработать... Андрей усмехнулся. Еще не остыла в нем городская жадность к деньгам... А зачем они ему? В них ли только дело. Неужели честно, как Маратай, как Блинов, как Пашка, как Галина, не заработает. Вспомнив о Галине улыбнулся.

«Но у ней же Маратай с языка не сходит,— с горечью и глухой ревностью подумал он.— Маратай, Пашка, Галина... Может быть, лучше к ним поближе? Но у Джося деньги... Деньги!»

Так ничего и не решив, Андрей заснул тревожным, беспокойным сном.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тамара Николаевна, проходя в учительскую, заметила незнакомого щеголеватого человека. Ей показалось, что он хотел с ней заговорить. Но вышедшая из соседнего класса преподавательница немецкого языка взяла ее под руку и увела в учительскую. Когда прозвенел звонок на урок и Тамара Николаевна направилась в класс, незнакомец остановил ее в коридоре с вежливым полупоклоном и сказал с приятной улыбкой:

— Извините. Мне необходимо решить с вами один деловой вопрос.

— Пожалуйста... Но у меня сейчас урок.— Тамара Николаевна показала на дверь класса, за которой раздавались голоса.

— Я подожду, если позволите.

Тамара Николаевна пожала плечами и прошла в класс.

Урок был последним. Ученики быстро разошлись. Тамара Николаевна, собирая книги в портфель, задержалась в классе. Дверь приоткрылась:

— Можно?

— Да-да. Пожалуйста.

— Моя фамилия Любецкий,— представился незнакомец.— Арон Павлович Любецкий.

— Садитесь, пожалуйста. Слушаю вас.

— Благодарю...— Любецкий неторопливо расстегнул пальто с дорогим полушалевым воротником, поправил выбившийся из-под жилета галстук и сел на краешек стула.

— Я приехал сюда недавно. Всего несколько дней назад,— сказал он и поджал красивые губы.— Работаю я здесь...— он сделал небольшую паузу,— работаю я здесь в клубе. Художником...— Любецкий чуть улыбнулся.— Сам я москвич. Север, а именно этот район, меня интересует прежде всего как художника. Сами понимаете — у здешних мест интересное революционное прошлое. И великолепное будущее, основы которого закладываются сейчас. Я и решил здесь поработать.

— Так сказать, творческая командировка,— заметила Тамара Николаевна.

— Не совсем так,— Любецкий грустно улыбнулся.— Не совсем так. Хотя, в общем-то, все мы в какой-то степени на этой грешной земле находимся в командировке...— он вздохнул:— По всей вероятности, я буду в этих краях работать до окончания строительства гидростанции. Так вот, Тамара Николаевна... Если мне не изменяет память, вас, кажется, так зовут?— Любецкий заглянул ей в глаза.

— Да-да,— почему-то смутившись, сказала Тамара Николаевна.

— Так вот, Тамара Николаевна, мы с вами в какой-то степени коллеги. Я знаю, вы

тоже увлекаетесь живописью. И не безуспешно.

— Что вы, что вы,— засмеялась Тамара Николаевна и покраснела.

Любецкий недоуменно поднял брови:

— Разве уже забросили? Я помню, у вас неплохо получались рисунки акварелью. Мне приходилось бывать в Куйбышеве на художественной выставке. Там экспонировались две ваши работы.

— Да... да,— кивнула Тамара Николаевна.

— В своей статье о выставке, напечатанной в газете «Советская культура», я отметил художественные достоинства ваших картин.

— Разве? Я не читала,— приятно удивилась Тамара Николаевна.

— Я подарю вам экземпляр этой газеты.

— Буду благодарна.

— Как видите, мы с вами старые знакомые,— Любецкий, улыбаясь, покачал головой.— Но дело не в этом, Тамара Николаевна. Я знаю, тот, кто однажды взял кисть — не расстанется с ней до конца жизни. И я надеюсь — впереди у нас много интересной работы, споров. А сейчас я нуждаюсь в вашей помощи.

— В моей помощи?— удивленно взглянула на собеседника Тамара Николаевна. Ее глаза встретились со светло-серыми в пушистых черных ресницах, глубокими глазами Любецкого.

— Вы думаете, вам нечем мне помочь?— шутливо спросил Любецкий.

— Мне просто удивительно, что я вам понадобилась.

— Недооцениваете свои возможности,— сказал с улыбкой Любецкий.

Но Тамара Николаевна не приняла его шутливого тона.

Любецкий согнал со своего лица улыбку:

— Простите... Сейчас я вам все объясню...

И он рассказал Тамаре Николаевне о том, что по просьбе общественных организаций стройки он занялся оформлением клуба строителей. Для этого он в первую очередь решил написать несколько больших картин, работу над которыми необходимо закончить к новому году.

— Но одному мне не справиться. Я пришел, Тамара Николаевна, просить вас в свободное от работы время помочь мне.

— Любопытно... Над какими же полотнами вы думаете работать?

— Это будет серия картин. Часть из них я мыслю сделать с натуры,— сказал Любецкий.— А несколько полотен думаю выполнить в своем стиле. Ну, об этом, я думаю, мы поговорим в другой раз,— улыбнулся художник. — Что же вы скажете о моем предложении? — вежливо спросил он.

Тамара Николаевна на несколько минут задумалась. Времени свободного у нее было достаточно. Иринка утром уходила в школу. Георгий Степанович дома бывал только поздно вечером. Почему бы и не вспомнить любимое занятие...

— Так что же вы скажете о моем предложении?— повторил Любецкий. Он, не сводя глаз, смотрел на женщину. Она была красива той мягкой русской красотой, в которой сочетаются женственность и ум, внешнее обаяние и внутренняя душевная привлекательность. Он быстро отмечал ее достоинства. среднего роста, изящная, стройная... черные, слегка вьющиеся волосы... Тонкий, с маленькой горбинкой нос... Большие черные глаза были мечтательны и, когда смотрели на человека, казалось, заглядывали в самую душу.

— Я согласна,— улыбнувшись сказала Тамара Николаевна и, посмотрев на часы, встала из-за стола.

— Благодарю вас.— Любецкий тоже торопливо поднялся.— Я вижу, вы спешите?

— Да. Меня ждет семья.— Тамара Николаевна направилась в учительскую.

Любецкий подождал в коридоре, пока она надела пальто. Они вышли вместе из школы. Было тепло и тихо. Вдали лениво лаяли собаки. В темном небе мерцали звезды.

— Нам, кажется, по пути...— Любецкий застегнул пальто.

— А вы где живете?— спросила Тамара Николаевна.

— Я снял домик на окраине поселка. Сейчас вот обзавожусь кое-каким домашним скарбом. Домик теплый, уютный. Никто в работе мне не будет мешать. Об этом я только и мечтал.

Неожиданно Тамара Николаевна поскользнулась на дороге и чуть не упала. Любецкий осторожно поддержал ее под руку. Сквозь шубу она почувствовала сильную руку, сжимающую ее локоть. Хотела освободиться, но снова поскользнулась. Любецкий покрепче взял ее под руку.

— Так можно и упасть,— шутливо сказал он.

Разговаривая, незаметно дошли до дома. В одном из окон показалась мужская тень.

— Как видно, моя семья в сборе.

— Это хорошо. Это хорошо,— сказал Любецкий.

— В воскресенье приходите к нам на чашку чая,— пригласила его Тамара Николаевна.

— Благодарю вас. Обязательно воспользуюсь приглашением. А я жду вас в клубе.

Тамара Николаевна кивнула.

— До свидания,— она протянула Любецкому руку. Он осторожно взял ее, наклонился и поцеловал.

— Спокойной ночи,— проговорил он. И, чуть пожав, выпустил руку. Подняв воротник пальто, он размашисто зашагал по дороге к своему дому...

Тамара Николаевна торопливо забежала на крыльцо.

— Наконец-то пришла... А я заждался...— радостно встретил жену Георгий Степанович. Он только что помылся и не успел еще расчесать всклоченные волосы.— Чего ты долго?

— По-моему, ты сегодня вернулся рано домой,— сказала Тамара Николаевна и лукаво улыбнулась: — Не нравится? А каково же мне тебя иногда по целым ночам ждать...— и спросила:— Ирина спит?

— Да. Ждала-ждала тебя и заснула.

Георгий Степанович помог жене снять шубку.

— Мы уже поужинали,— сказал он.— Чай горячий. Садись кушай.

Поправляя прическу перед зеркалом, Тамара Николаевна проговорила с улыбкой:

— Георгий, а меня сегодня провожали.

— Кто это посмел?— шутил Позолотин.

— Художник. Арон Павлович Любецкий. Он пригласил меня работать над оформлением клуба. Я согласилась.

— Правильно и сделала. Клуб пора скоро открывать, а там у нас неуютно, как в казарме. Любецкого я знаю. Он вчера был у меня. А познакомился я с ним еще на строительстве Волжской ГЭС. Он приезжал туда рисовать.

— Тебе понравились его работы?

Георгий Степанович пожал плечами.

— Ты извини, Томочка, но я в живописи плохо разбираюсь. Ну, реалистов куда ни шло еще, понимаю. Но разные там кубисты, импрессионисты, абстракционисты — не доходят...— он засмеялся.— Вероятно, от малограмотности.

— Он что, абстракционист?— спросила Тамара Николаевна.

— Не знаю. Но нашим рабочим его рисунки не понравились. На них какие-то квадратные лица. Неестественно яркие краски. И ничего похожего на оригинал.

— Живопись — не фотография.

— Вот видишь. Я же говорю, что ничего в этих тонкостях не смыслю,— примиряюще проговорил Георгий Степанович.

— Я пригласила в воскресенье Арона Павловича к нам в гости.

— Ну и молодец, Томочка. Разопьем с работниками искусства бутылочку вина.— Георгий Степанович ушел в свой кабинет.

Тамара Николаевна видела в открытую дверь, как он развернул папку с чертежами и склонился над ними.

Назавтра, отправив Георгия Степановича на работу, а Иринку в школу, Тамара Николаевна отправилась в клуб. В пустынном фойе ее встретил Любецкий. Он сдержанно поздоровался, проводил Тамару Николаевну в мастерскую.

— Вот мое рабочее место,— обвел он рукой небольшую комнату.

— А здесь холодно...— поежилась Тамара Николаевна.

— Попросим сторожа получше истопить печь,— улыбнулся Арон Павлович. Он подобрал с пола свалившуюся картину.— Вот эту работу я думаю вывесить в фойе. Над входом в зал,— указал он на недорисованное полотно.

Тамара Николаевна внимательно взглянула на картину. На ней изображено место строительства гидростанции. Бурная река. Высокие скалистые берега. Ажурные мачты кабель-крана. На краю обрыва два молодцеватых подтянутых парня. Картина была явно плакатного плана. Но чувствовалось, что художник вложил в рисунок немало мастерства. Вся картина давала очень верное представление о реальном расположении предметов в пространстве. Выдвинутые в правый угол фигуры парней приобретали особую значимость, монументальность. Перед глазами расстилались необъятные дали. Это как будто был весь тот огромный мир, который открылся человеку на суровом диком севере и в котором он стал хозяином.

— Хорошо. Мне нравится...— сказала Тамара Николаевна.

Любецкий пожал плечами, чуть заметно улыбнулся.

— Вам, Тамара Николаевна, предстоит вот из этих нескольких этюдов сделать композиционно цельную картину.— Он взял со стола листы бумаги и положил перед Тамарой Николаевной. Пока она рассматривала этюды, Любецкий стоял рядом и смотрел на нее.

— Я не думаю, чтобы это было уж очень трудно,— подняла голову Тамара Николаевна.

— Я тоже так считаю,— улыбнулся Арон Павлович.— Но сегодня, вероятно, работать нам не придется. В мастерской действительно холодно. А что если,— Любецкий поджал гу-

бы, на секунду задумался.— А что если, Тамара Николаевна, мы пойдем ко мне. Я вам обещал газету с отзывом о ваших вещах. К тому же я располагаю очень любопытным альбомом рисунков наших лучших художников. Вы, по всей вероятности, еще с ними не знакомы.

— Право же... Мне неудобно...— попробовала отказаться Тамара Николаевна.

— Тамара Николаевна... Голубушка...— укоризненно покачал головой Любецкий.

— Ну что ж... Я принимаю ваше приглашение,— сказала Тамара Николаевна.

Домик, снятый Любецким у старожила-рыбака, на зиму перекочевавшего в Покровск, находился на самом берегу реки, под крутой сопкой. В нем жарко натоплено, светло и чисто. На сделанных на скорую руку стеллажах стоят несколько недоработанных этюдов. Рядом с ними натянутые на подрамники чистые холсты. На табуретке аккуратно разложены тюбики с краской. Обстановка простая. Посредине большой четырехугольный стол, в простенке железная, аккуратно застланная солдатским одеялом, кровать.

— У меня жарко. Шубу лучше всего, дорогая Тамара Николаевна, снять,— предложил Арон Павлович. — Вот вам газета. А вот альбом.— Арон Павлович сел против Тамары Николаевны и, пока она читала газетный отчет за подписью Любецкого, в котором было сказано несколько теплых слов о ее картинах, он листал альбом.

— Благодарю вас за хороший отзыв,— сказала Тамара Николаевна, отодвигая газету.

— Я надеюсь, вы его с лихвой оправдаете,— глубокие, умные глаза Любецкого прищурились в улыбке.

Разговор шел о живописи.

— Старая школа, дорогая Тамара Николаевна, безвозвратно уходит в прошлое.— Арон Павлович прошелся по комнате. — Нужно искать новые пути, новые формы в искусстве. Мы в живописи, скажу я вам, очень отстали от западноевропейских художников. У нас многие еще работают по старинке. А сейчас, по-моему, требуется другой подход к делу. Надо изображать действительность не такой, какая она есть, а какой ее видит художник...

— Но тогда не все картины будут понятны широким массам. Они потеряют эстетическое и воспитательное значение. Художник, выражающий только себя,— плохой художник. Он должен выражать современность,— возразила Тамара Николаевна.

— Большое искусство, скажу я вам, и так понятно не всем, независимо от того, исторический или современный сюжет изображен на полотне. Но дело не в этом, дорогая Тамара Николаевна. Мне кажется, пора освободить искусство от политики. Оно стало слишком утилитарно. Вы понимаете, при этом творческая индивидуальность художника стушевывается...

— О, мне пора,— встала вдруг Тамара Николаевна.— Через час у меня занятия.

— Не смею задерживать,— проговорил Арон Павлович.

Он помог Тамаре Николаевне надеть шубку.

— Вам не скучно здесь одному?— спросила, уходя, гостья.

— Что поделаешь... Я привык.

— Ваша семья в Москве?

— Как ни странно — я одинок...— покачал головой Любецкий. И, как бы желая положить конец недоговоренности и неясности, сказал:— В войну моя невеста в Ленинграде погибла...— и, помолчав, тихо добавил:— Она чем-то была похожа на вас.

Проводить Тамару Николаевну на улицу Любецкий вышел без пальто и без шапки.

— Очень рад, что вы оказались таким интересным собеседником,— сказал он.— Думаю, это не последний наш разговор. Завтра я вас жду в клубе...— и добавил:— Вам удобней идти вот по этой тропинке. Здесь будет ближе.— Он указал на еле заметную дорожку в снегу.

— Мы с мужем ждем вас в воскресенье к себе,— крикнула Тамара Николаевна.

— Хорошо. Я буду. Обязательно буду...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Прошу за стол,— пригласила Тамара Николаевна сидящих на диване мужчин. Георгий Степанович поднялся. За ним встал и Любецкий.

— Да... да... Москва за последние годы очень изменилась,— продолжая незаконченный разговор, сказал Арон Павлович. Он отодвинул стул, сел за стол.

— Дядя, а вас как зовут?— подошла к Любецкому Ирина.

— Арон Павлович, — гость погладил девочку по головке.

— Ворон Павлинович? — засмеялась Иринка.

— Ирина! Не говори глупостей,— строго сказала мать.

— Да что вы, Тамара Николаевна...— Любецкий улыбнулся. — Дети удивительно восприимчивы на звуковые ассоциации. Представьте себе, что в детстве, когда я учился в школе, меня так и звали — Ворон...— гость засмеялся.

Георгий Степанович взял бутылку коньяка. Наполнил рюмку Арона Павловича и свою.

— Тамара, тебе красное?— спросил он и взял бутылку портвейна.

— Да-да...

— Ну что ж... Выпьем за нашу встречу здесь на севере...— поднял рюмку Георгий Степанович.

— Да, мне очень приятно, что я познакомился с вашей семьей,— любезно кивнул Любецкий и тоже поднял рюмку.

Все выпили.

— Арон Павлович, попробуйте, пожалуйста, вот этот салат из крабов,— подвинула тарелку Тамара Николаевна.

— Благодарю вас, —улыбнулся Любецкий и задержал свой взгляд на хозяйке.

Тамара Николаевна выглядела сегодня прекрасно. Темное, с глубоким вырезом на груди платье плотно облегало ее изящную, красивую фигуру. На груди скромная, но дорогая брошь. Волосы аккуратно уложены. В ушах поблескивают маленькие, с голубоватыми камушками сережки... Все на ней кстати, просто и красиво... А главное — у нее сегодня необыкновенное лицо. Живое, красивое, оно сияет каким-то вдохновенным внутренним светом. Глаза блестят, она улыбается...

После выпитой рюмки вина Тамара Николаевна разрумянилась. Георгий Степанович ласково взглянул на нее, улыбнулся.

«Волнуется. Как гости, так всегда волнуется»,— с нежностью подумал он о жене. Она смутилась под его взглядом, засуетилась.

Георгий Степанович снова налил рюмки. На этот раз тост предложил Любецкий.

— Я предлагаю выпить за здоровье и... творческие успехи Тамары Николаевны. Мы хорошо с вами поработали это время. Не правда ли, Тамара Николаевна?

— Вы довольны своей ученицей?

— У вас, Тамара Николаевна, есть самое главное для художника.— Любецкий отложил вилку. — Вы прекрасно чувствуете цвет. А в цвете вы передаете свое восприятие мира. Настоящий художник, милая Тамара Николаевна, должен уметь остро и тонко увидеть, почувствовать самые сложные, часто незаметные для других оттенки цвета, его гармонические сочетания. У вас это есть.

— Да, но мне кажется, я совершенно беспомощна в композиции,— огорченно вздохнула Тамара Николаевна.

— Я не представляю живопись без цвета. А композиция — лишь элемент художественной формы,— успокоил ее Любецкий.— При упорном труде мы овладеем и композицией,— он улыбнулся.— И еще, Тамара Николаевна, я вам скажу вот что. — Арон Павлович откинулся на спинку стула. Лицо его посерьезнело. Глаза блеснули.— Сейчас изобразительное искусство развивается по новым путям. Понятие композиции, сюжета и другие элементы, связанные с созданием образа, устарели. Сейчас на первый план выдвигаются вопросы цвета... Да, да... Вопросы цвета...

— Папочка, а почему ты не рисуешь?— повернулась к отцу Иринка.

Георгий Степанович погладил дочь по головке.

— Все люди, Иринка, не могут заниматься каким-то одним делом. Каждый делает то, что ему нравится. Я вот строю гидроэлектростанцию. Арон Павлович рисует. Мама работает в школе и тоже любит рисовать...

— Простите, Георгий Степанович. Вам нравятся картины Тамары Николаевны?— повернулся к нему Любецкий.

Георгий Степанович, чуть захмелевший, потянулся к бутылке, наполнил рюмки.

— Чем бы дитя не тешилось, Арон Павлович, лишь бы не плакало...— Он рассмеялся, весело взглянул на жену, потом на Любецкого.— Я плохо разбираюсь в живописи. Просто некогда этим заниматься. Но бывая с Тамарой на выставках, я всегда отдаю предпочтение старым мастерам. Люблю Левитана и особенно Айвазовского...— Он помолчал.— Ну, а насчет работ Тамары —...Георгий Степанович улыбнулся.— Мне больше нравится, когда она играет на пианино.

Любецкий пожал плечами.

Тамара Николаевна смутилась, щеки ее порозовели.

— Ах, Георгий... Тебя же не об этом спрашивают, — раздраженно сказала она и встала.

— Мамочка, сыграй что-нибудь,— выскочила из-за стола Иринка.— Я тоже люблю, когда ты играешь...

— Да, Тамара Николаевна, сыграйте, пожалуйста,— вежливо попросил Любецкий.

Тамара Николаевна села за инструмент. Легкие, нежные и чуть грустные звуки наполнили комнату.

Арон Павлович смотрел на Тамару Нико-

лаевну, и сердце его сладко сжималось, как от предчувствия какой-то большой радости...

Кончив играть, Тамара Николаевна повернулась к столу. Георгий Степанович сидел, закрыв глаза. Казалось, что он уснул. Поймав взгляд Тамары Николаевны, устремленный на мужа, Любецкий едва заметно улыбнулся, склонился над тарелкой.

— Папа,— Иринка тронула за рукав отца.

Георгий Степанович вздрогнул, открыл глаза.

— Простите. Задумался о прошлом,— сказал он тихо.— Музыка — великая штука...

Арон Павлович вытер салфеткой губы.

— А я, Георгий Степанович, когда слушаю хорошую музыку, чаще всего грустную, прощаю людям все... И зло, и причиненные друг другу страдания, и даже войну... Музыка как бы поднимает человека над миром, делает его мудрее...

— Вы думаете?— оживился Георгий Степанович.— Мне кажется, люди должны быть достойны хорошей музыки. Музыка. Настоящая музыка и зло несовместимы. Музыка должна делать человека лучше, чем он есть. Пробуждать в нем самые хорошие чувства. Звать его на борьбу за светлые идеалы, а не внушать ему всепрощение... Мудрость, о которой вы говорите,— это, по-моему, равнодушие к земным делам, к людям...

Любецкий пожал плечами. Он собрался было что-то сказать, но неожиданно зазвонил телефон. Позолотин взял трубку.

— Да... Слушаю... Да ну!— воскликнул он, и лицо его озарила радостная улыбка.— Хорошо. Очень хорошо. Присылайте машину. Сейчас приеду.

— Что такое, Георгий?— встала из-за стола Тамара Николаевна.

— Понимаешь,— Георгий Степанович радостно взглянул на жену.— Через несколько минут начнется бетонирование водобойной плиты. Рабочие приглашают меня уложить первый бетон... Вы уж извините, — повернулся он к Любецкому.— Да... Кстати...— Георгий Степанович подошел к жене: — Дай мне, Томочка, несколько серебряных монет...

— Монет?— недоуменно взглянула на него жена.— Зачем они тебе?

Позолотин улыбнулся.

— Видишь ли... По заведенной традиции на подготовленную под укладку бетона скалу строители бросают серебряные монеты... Для счастья... Чтоб как можно больше веков стояло сооружение...

— И вы придаете этому суеверию значение?— снисходительно спросил Любецкий.

— А почему бы и нет? Это не суеверие. Это что-то вроде обряда. И идет от душевной щедрости людей. От их заботы о своем деле... Ну, я побежал. Вон машина подошла,— кивнул он на окно.— Думаю, что скоро вернусь. Прощаться не буду.

Позолотин вышел.

В комнате после ухода хозяина наступило неловкое молчание.

— Я помню, Тамара Николаевна,— тихо и вежливо произнес Любецкий,— в Москве, в сквере около Большого театра, есть небольшой фонтан. Так вот на дне его чаши каждый вечер можно увидеть много монет. Говорят, что приезжие бросают их для того, чтобы когда-нибудь еще раз побывать в Москве. Извините, но все это ерунда. Я не вижу здесь поэзии... Ночью дворник собирает монеты из фонтана. А многим людям не часто приходится еще раз побывать в столице. Не правда ли, Тамара Николаевна?

Тамара Николаевна в глубине души понимала людей, бросавших монеты в фонтан. Ей нравилась эта милая человеческая наивность. Да и сама она, будучи в Москве, не раз останавливалась около фонтана и швыряла в него монетки. Но сейчас она была сердита на мужа, на его бестактность — оставить компанию и уйти...

— Да, конечно, Арон Павлович,— кивнула Тамара Николаевна.

«Неужели не мог час-другой повременить,— раздраженно подумала она о муже.— Никогда по-человечески не проведешь вечер. То у него котлован топит, то авария какая-нибудь, то совещание, разговор с Москвой... Господи, все это так надоело...»— она тяжело вздохнула.

— Вы огорчены чем-то, дорогая Тамара Николаевна?— спросил Любецкий.

— Немного,— грустно улыбнулась Тамара Николаевна.

Она подвернула регулятор радиоприемника. Зазвучала знакомая мелодия вальса.

— Разрешите вас пригласить на танец,— встал и поклонился Любецкий.

— Пожалуйста,— Тамара Николаевна положила ему на плечо руку.

Арон Павлович вдыхал пьянящий аромат духов Тамары Николаевны, смотрел на ее лицо, и в его груди поднималась волна нежности...

Тамара Николаевна чувствовала, что нравится этому красивому мужчине. Она ловила себя на том, что последнее время думает о нем. То, что не хватало ей в муже — внимания, заботы, участия,— она находила в Ароне Павловиче.

— Мама, я хочу спать,— захныкала Иринка.

— Извините, Арон Павлович,— остановилась Тамара Николаевна.— Я положу Ириночку спать.

Пока Тамара Николаевна была в соседней комнате, он перебирал на столике пластинки. Выбрав одну, поставил ее на радиолу и, когда хозяйка вернулась, включил приемник.

— Мое любимое танго,— улыбнулся он.

— Я тоже его люблю, — с улыбкой же ответила ему Тамара Николаевна.

А женский голос, тоскующий, грустный, пел:

> Хотел бы я быть с тобою рядом,
> На взгляд твой отвечать горячим взглядом.
> Твои глаза прекрасные целуя,
> Хочу шептать — люблю тебя, люблю я...

Они молчали. Но это молчание говорило лучше слов, что им хорошо вместе.

Пластинка кончилась. Любецкий сел на диван.

— Что-то долго задержался Георгий Степанович,— посмотрел он на часы.

Тамара Николаевна грустно усмехнулась.

— Мне, Арон Павлович, к этому не привыкать. Я нисколько не удивлюсь, если он вернется только в полночь или под утро...

— И это бывает часто?

— Представьте, да.

Любецкий приподнялся на диване, взял из пачки, лежащей на столе, папиросу, подвинул ближе к себе пепельницу. Поджав губы, он на минуту задумался. Потом, вскинув голову, открыто и прямо посмотрел на хозяйку.

— Скажите, Тамара Николаевна, вы счастливы?

— Смотря как понимать счастье... — грустно улыбнулась женщина.

— Ну конечно, по большому счету...

— Счастье женщины — в любви...— неопределенно ответила Тамара Николаевна.

Любецкий долго молчал. И вдруг, взглянув на хозяйку, сказал:

— Для меня не совсем понятны некоторые браки, Тамара Николаевна.

— Какие именно?

— Ну хотя бы ваш,— твердо посмотрел женщине в глаза Любецкий.— Вы с мужем совершенно разные люди. Я не понимаю, что может быть у вас общего. Он строитель. Его интересуют в основном кирпич, бетон, арматура... Вы же человек искусства... Тонкой душевной организации...

Тамара Николаевна как будто ждала этого разговора. Она улыбнулась.

— Мой муж — человек с широкими интересами. Он любит поэзию. Знаком с новинками современной литературы... Обожает музыку...

— Да, но судя по сегодняшнему разговору — это хрестоматийные знания,— наступал Любецкий.— Вы же по уровню подготовки, по глубине восприятия значительно превосходите его...

Тамара Николаевна пожала плечами.

— Может, кое в чем вы, Арон Павлович, и правы. За последнее время наши разговоры с мужем дальше бетона и вечной мерзлоты не идут. Я уже начинаю разбираться в вопросах гидротехнического строительства...— Она засмеялась.

Арон Павлович вдруг взглянул на часы, поднялся:

— Благодарю вас, Тамара Николаевна, за ужин, за чудесно проведенное время. Но мне пора. Уже десять часов. Вероятно, Георгий Степанович задержится и вернется не скоро... — он подошел к Тамаре Николаевне, поцеловал ей руку.

— Ну что же, Арон Павлович... И вам спасибо за компанию. Здесь так тоскливо...— вздохнула Тамара Николаевна.— Я часто думаю о Москве, о Ленинграде... Счастливые те люди, которые там живут... А мы вот закончим строить эту ГЭС, поедем куда-нибудь дальше... Поближе к Северному Полюсу...— она грустно улыбнулась.— И так всю жизнь... Всю жизнь...

— А я люблю Москву... И надолго никогда с ней не расстаюсь.— проговорил Любецкий, надевая пальто. — У меня там великолепная квартира, масса друзей...

— Вы счастливый человек, Арон Павлович,— позавидовала ему Тамара Николаевна.

— Не вполне,— шутливо развел руками Любецкий.— Вы сказали — счастье женщины в любви... Иногда в этом же и счастье мужчины...

— Возможно,— улыбнулась Тамара Николаевна. Она набросила на плечи шубку.— Я вас провожу до калитки.

Они вышли. На улице было холодно. Над поселком куполом поднялось зарево от электрических огней. В черном небе голубели звезды. Тихо крался месяц. В котловане глухо шумели машины...

Любецкий остановился около калитки. Посмотрел на рогатый месяц, на звезды. Взглянул в мерцающие теплыми огоньками глаза Тамары Николаевны, глубоко вздохнул:

И кажется — так будет вечность
Пока дышать не разучусь,
Я никогда с тобой не встречусь
И никогда не разлучусь...

Стихи прозвучали, как признание в чем-то сокровенном, большом...

— Вы любите Евтушенко?— тихо спросила Тамара Николаевна.

— А почему бы и нет?— подвинулся к ней Арон Павлович.— Помните у него:

В окно уткнувши черный нос,
Все ждет и ждет кого-то пес.
Я руку в шерсть его кладу,
И тоже я кого-то жду.
Ты помнишь, пес, пора была,
Когда здесь женщина жила.
Но кто же мне была она —
Не то сестра, не то жена,
А иногда казалось, — дочь,
Которой должен я помочь.
Она далеко... Ты притих.
Не будет женщин здесь других.
Мой славный пес, ты всем хорош,
И только жаль, что ты не пьешь...

Они долго молчали.

— Скажите, Арон Павлович, неужели после войны вы не встречали женщину, которую бы смогли полюбить?

Он вздохнул, покачал головой.

— Нет. Но сейчас...

— Это удивительно, — перебила его Тамара Николаевна.

Любецкий взял ее теплые руки в свои, крепко их сжал.

— Если я полюблю, Тамара Николаевна,— тихо сказал он,— то навсегда... До смерти... И ни на что не посмотрю... Встанет на пути чужая семья — разрушу. Умчу, закружу, украду...

— Ооо... какой вы страшный...— лукаво улыбнулась Тамара Николаевна и шутливо толкнула плечом березку. Комья снега посыпались ей за воротник. Она вся съежилась, тихо засмеялась. Ей вдруг захотелось, как когда-то девчонкой, озорно сорваться с места и бежать куда глаза глядят, и смеяться, и плакать... Но вместо этого она сказала: — Мне холодно.

Арон Павлович смел рукой с ее шубки снег, заглянул в лицо. Было темно. Но Любецкий увидел глаза женщины. В них и звезды, и слезинки, и грусть... Они ждали его, звали его... Он наклонился, быстро привлек к себе Тамару Николаевну и поцеловал ее в мягкие, горячие губы.

— Вы с ума сошли...— прошептала она.

— Я люблю вас.

— Вы с ума сошли...

Она оттолкнула его. Но он схватил ее за плечи и снова стал целовать... Целовать в глаза, в щеки, в губы.

— Идите... Идите... Мы еще встретимся... Идите, Арон... Павлович...

Тамара Николаевна вырвалась и забежала на крыльцо. Любецкий закурил. Постояв несколько минут, он открыл калитку и не спеша пошел по тропинке.

Через час вернулся Позолотин. Он торопливо вошел в дом. Разделся в прихожей, заглянул в комнату. Жена сидела на диване.

— А где же Ворон Павлинович?— шутливо спросил Георгий Степанович.

Тамара Николаевна не ответила.

— Значит, ушел. Плохо получилось...— Георгий Степанович сел рядом с женой. Положил ей на плечо руку.— Ты кажется, Томочка, на меня сердишься?

— Ты сегодня вел себя отвратительно,— зло бросила ему жена и отодвинулась. Георгий Степанович виновато пожал плечами.

— Понимаешь, Томочка. Когда начали укладывать бетон, сорвалась бадья... Слегка ушибло бетонщика Картошкина... Ну как я мог уйти из котлована... А потом началась укладка водобойной плиты... Это же для коллектива большой праздник...

— Бетон... Бадья... Котлован... Картошкин...— усмехнулась Тамара Николаевна. Звуки-то одни что значат...— и вдруг крикнула:— А мне надоело все это... Надоело... Я хочу, чтобы и у меня были праздники...— Она резко поднялась с дивана и, раздраженно гремя посудой, стала убирать со стола.

— Так это и есть наша жизнь... И праздник тоже наш,— добродушно улыбнулся Георгий Степанович.

Жена покосилась на него.

— Это твоя жизнь. Котлован — твой дом. А Картошкины — твоя семья... — Она, хлопнув сердито дверью, ушла на кухню.

«Ничего. Успокоится... И все снова будет хорошо. Разве в первый раз такие маленькие ссоры...— подумал Георгий Степанович.— Женщина без капризов — не женщина».

Он поднялся с дивана и прошел в комнату, где спала Иринка. Георгий Степанович поправил на постельке дочери одеяло. Убрал из-под руки девочки куклу. Наклонившись, поцеловал ребенка в щеку.

— Спи, детка... Спи, Иришка...— ласково прошептал он и вышел из комнаты.

(Окончание в следующем номере).

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Дорогой читатель!

Рядом с тобой в Иркутске, в десятках городов, поселков, новостроек нашей области живут люди, жизнь которых отдана поэзии. Но всех — и самых молодых, и наших маститых, широко известных поэтов объединяет радостное, доброе и взволнованное чувство первооткрытия.

Мы решили познакомить тебя, читатель, со стихами поэтов-профессионалов и тех, кто уже издал первые книги. Их произведения на первых страницах „Дня поэзии“. Во втором разделе — участники областной конференции „Молодость, творчество, современность“.

Раньше была поговорка: „За песнями — в Москву!“ Теперь за песнями едут в Сибирь. В третьем разделе „Дня поэзии“ мы поместили стихи гостей Иркутска, известных поэтов Азербайджана, Москвы, Ленинграда и наших соседей-сибиряков.

И как всегда в строю остаются поэты, которых уже с нами нет. В четвертом разделе — стихи Ивана Молчанова-Сибирского, Анатолия Ольхона и других.

И, наконец, труднейший жанр юмора и сатиры — в конце альманаха, в пятом разделе „Дня поэзии“.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Раиса Альтер

Снег

Снег для того, чтоб все перепутать:
Смешать дома, мосты, перекрестки.
Снег для того, чтоб в сады и на
улицы
Цвет отцветающих яблонь сбросить.
Снег для того, чтобы все забылось:
Хмурые мысли, дороги темные,
Снег для того, чтобы сердцу любилось
Не в затененных шторами комнатах
Снег заметает следы ненужные
Или, порою, совсем случайные,
Звездный, зовущий, кружится,
кружится...
Можно все начинать с начала.

Иркутск

Лилия Бережная

Позвони

Позвони мне, позвони же,
Хоть случайно, хоть шутя.
Ночь поземкой стекла лижет,
Шелестя.

Я по цеху, в смене жаркой,
Отрешенная, иду.
Тает снег, блеснув под аркой
На лету.

И гудит в горелках, бьется,
Дышит пламя, как прибой,
А моя мечта крадется
За тобой.

Если б я могла заставить,
Мысль свою войти в твой сон,
Зазвонил бы этот старый
Телефон.

Ангарск

Игорь Голубев

Вы видели, как трудно тает лед?..

Вы видели, как трудно тает
лед?
Вы знаете, как оживает
робот?
Он не живет — и все-таки живет.
В нем только люди вызывают робость:
их нелогичность,
нематематичность
любви,
презренья,
скуки,
нервной дрожи —
его, все видящего трезво и практично,
уже давно
осмысленно
тревожат.
Неполноценность собственную он
закономерно
признавать не хочет —
и по ночам
сквозь уличный неон
он ходит, изучая вздохи ночи.
Рассматривает утренний рассвет.

Расспрашивает сторожа в музее,
какой сюжет картины
или цвет
волнует этих ротозеев...
И, наконец, в газеты углублен,
стихи всех поколений
поднимает —
все, что людей бы всколыхнуло, он
запоминает,
словно понимает.
Ну, как же здесь
себя
не испытать?
Всю логику он вкладывает в строки.
Он, как поэт, согласен ночь не спать,
а поутру
явиться к судьям строгим.
«Глядите, люди — в люди я гожусь?
Читайте. Разрешаю взять с собою...
Боюсь, что слишком сложным покажусь,
но простоту, поверьте, я
освою».

Сто строчек за ночь!
Он побил рекорд
Но что-то от машины —
у поэта.
И, словно с графоманом-стариком,
стесняются с ним говорить об этом,
лишь намекают
на безбрежный лед...
По их смущенью различает сам он,
что от людей
по-прежнему далек.
Все это непонятно и досадно.
И он уходит — к завтрашней борьбе,
в стальной холодной скорлупе
забытый,
впервые
и полный
усомнившийся в себе
человеческой
обиды.

Ангарск

Владимир Ивашковский

Разговор с отцом

Ты приходишь ко мне
во сне.
Не убитый еще, живой,
В гимнастерке, пропахшей травой.
Ты хотел бы крикнуть:— Малыш!—
Но ты долго и страшно молчишь...
И глядишь на меня, узнавая себя,
Беспокойно пилотку свою теребя.
И, устало погладив меня по вихрам,
Долго ищешь на мне розоватый свой шрам.
Не находишь. Тускнеет в глазах твоих синь.
Но, отец! Ведь от пули последней, той,
Погибая, меня закрывал ты собой...
Ты уходишь, усталый, опять на войну,
И во сне я всю ночь до утра не усну.
...Когда трудно бывает мне,
Ты приходишь во сне.

Иркутск

Станислав Каминский

Моллюски

Не пишут биологи
об этих моллюсках,
Плюских и плоских,
плоских и плюских.
Без блеска,
без лоска,
растекаются,
вроде топленого воска.
Это панцирь,
на крепость похожий,
Наполненный мелкой
беспомощной дрожью.
Но опасности
близко нет,
моллюски вылазят
на белый свет.
И если никто их
не в силах сдавить —
у бесхребетных
воинственный вид.
И если никто их
не в силах сжать,
бесхребетные могут
скалы сожрать.
В аллигаторов могут
они превратиться:
Сунь им мизинец —
и нету мизинца.
Сунь им солнце —
и солнца нету.
С них не спросишь,
они не ответят.
Встретишь ли более
плюских и плоских,
плоских и плюских,
Без блеска,
без лоска,
бесформенных,
вроде топленого воска?

Иркутск

Игорь Красиков

Ангара

Если сжал в кулаках беду,
Побежденный
практичной серостью,
со своею бедой иду
к Ангаре,
к ее синей сырости.
Я по Набережной брожу,
где вокзал разноцветьем светится,
и на мост Ангарский вхожу,
и ловлю отраженье месяца,
и последних трамваев звон,
громкий говор ночных прохожих...
И беда уплывает вон,
и сомненья все меньше гложут.
Почему-то мне легче здесь,
В этой влажности
и морозности.
Забываю, что в мире есть
место жадности,
место подлости.
Я влюблен в Ангару одну,
эту женщину, так воспетую.

Ледяную ее волну
я ладонью
промерзшей
черпаю.
А она все бежит по дну,
ни морозом, ни льдом не скована,
и несет себя одному,
очень многими
облюбована.
Я вдыхаю ее туман,
вспоминаю свое,
прошедшее.
И, недавно от горя пьян,
я трезвею,
с рекой волшебствуя.
Сил набрался,
идти пора
в мир с тревогами,
в мир со спорами.
Хорошо, что ты, Ангара,
неподатлива,
непокорная.

Иркутск

Александр Малыгин

Я ищу дом...

Я ищу дом.
Как я не делал этого раньше,
Как никогда не искал я
ответа к задачам.
А все оттого, что вчера
Очень милая, очень смелая
девочка
Здесь мне сказала: «Приходи!»

А потом, уходя,
Не подставила губы свои,
И смотрела насмешливо на меня,
И смотрела застенчиво на меня.

Она только сказала мне: «Приходи!»
Сорвала с деревьев снежный цветок.
И умчалась по улицам, от зимы голубым,
В какой-то из этих серых домов.

Ангарск

Иннокентий Новокрещенных

Мой край...

Мой край
для перелетных неприветлив.
Суров!
Стволы
и ветви, ветви, ветви...
Но ветви в зной немеют.
Ожидают.
При встрече с ветром
ветви оживают.
Мне — ветра, ветра, ветра.
К черту — зной!
Я размечу
настой
густой
лесной,
я увлеку не признающих страха
в хмельную даль,
где ветер —
в лоб
с размаха,
где в дебрях
звонкий
искренний мороз,
где мир,
как сердце труженика,
прост.

Ангарск

Анатолий Парыгин

Пращуры

В тайге дики и первозданны дали,
Цветет багул разливами зари.
И если бы не мачты с проводами,
Какой тут век —
попробуй разбери.

А может, там, где мрачная гора
В глухой пещере, в дыме и угаре,
Ты питекантропов увидишь у костра,
Нестриженных, как наши парни.

Они о чем-то долго митингуют,
Совсем как мы, на сборище большом.
Они кого-то дико критикуют,
Совсем как мы общественным судом.

У первобытных срочная планерка
И, потрясая каменным копьем,
Охотники, они горланят гордо:
— Кончай дебаты!
— Мамонта
убьем!

Они крадутся, позабыв усталость,
На тропах роют ямы поскорей.
Кинжал кремневый да слепая ярость
Спасают их от яростных зверей.

Их речь резка, горласта и убога,
Копают землю, тяжело сопя.
Они еще не выдумали бога
И полагаются лишь только на себя.

Иркутск II

Геннадий Петрушкевич

Деды и внуки

Не надо
затылки царапать.
К чему
задаваться вопросом,
Кто первый
выдумал лапоть?
Все очень просто —
босый!
Он знаменитым не был.
Скотиной считался у знати.
Лучше спроси у деда.
Он знает, кто делал лапти.
Ему никто не пророчил
Величия,
даже в шутку.

Но мы
почему-то хохочем
Над этой
нехитрой обувкой.
Простой,
с деревенским ликом,
Когда-то запуганный розгой,
Стал сегодня Великим
Умом
и силою грозной.
Не нужно затылки
царапать,
В вопросы уткнувшись носом.
Деды придумали лапоть.
Внуки отправились в космос.

Иркутск

Валерий Сажин

Иду по улицам...

Иду по улицам
Ночью, утром и днем.
Лечу в электричках
В небо врезаюсь.
И везде, повсюду,
Вечно, кругом —
Улыбки и смех,
Презренье и зависть.

Жизнь.
Движение мыслей и рук,
Веселые, глупые,
Умные лица.
И страшно при мысли,
Что все это вдруг
Может остановиться.

Иркутск

Юрий Сорокин

Гроза

В ночь, как в бубен, весна стучит.
В синих отблесках мрак колеблется,
Не смолкая, гроза в ночи
В струях ливня кипит и мечется.
Там, как в бочке, шипят вином
Соки весен всех лет и давностей!
То ль смеется, то ль плачет
гром!
А скорее рыдает от радости.
Вдруг насквозь раскололась темь!
Пламень,
треск
и фанфар наваждение!
О! Каким же ты будешь, день,
Если это всего вступление?!

Братск

Ростислав Филиппов

Доверчивость

Когда мне в жизни приходилось туго,
я знал, что у глубоких переправ
всегда найду весло и лодку друга
глубокой ночью, в полдень и с утра.

Доверчивость — она меня спасает.

Я доверяю жизнь свою и скарб
и там, где так глуха тропа лесная,
и там, где степи глохнут от песка.
Всегда с людьми.

Пусть может так случиться,
что не найду тепла в чужой руке.
Доверчивость — она ко всем стучится,
и горько видеть двери на замке.
Да, это так: меня не предавали,
в мороз не прогоняли от огня.
Лишь иногда спокойно забывали,
а это много горше для меня.
И это ранит.
Вы уж не взыщите,
но ведь недаром опыт говорит:
доверчивость — обычно беззащитна,
отзывчивость — опора ей и щит.

Чига

Кирилл Чистов

Наши будни

Милицейская служба сурова.
Не для неженок хлипких она.
Говорю не для праздного слова —
Мной испытана лично, сполна.
Наши будни — раскаты грома,
Наша жизнь — горизонт в огне.
Мы почти не бываем дома,
отдавая себя стране.
Наши нервы — железа крепче.
Мы над павшими слез не льем.
Под огнем
расправляем плечи
И на них
Новый груз кладем.
Там, где бой,— там всегда утраты.
Мы — романтики.
Мы — солдаты.
Кровь Дзержинского в нас клокочет,
Души — страстью его горят.
И в сердцах наших
дни и ночи
Сердце Феликса
Бьет
В набат!

пос. Видим

Вячеслав Эпельштейн

Молчанье

И каждый физик —
композитор.
Поэты века — мудрецы.
Они, как добрые отцы,
благословили нас,
неистовых,
на дерзновенное молчанье,
чтобы — потом заговорить,
нет, прошептать,
как заклинанье,
что сумасшедшими ночами
поэт, как физик,
изобрел
молчанье жаждущих владеть
всем миром — прошлым
и грядущим.
Владеть — как петь,
как дом сложить,
снег и звезду очеловечить,
во всех сердцах увековечить
страданье яростное — жить!

Иркутск

Виктория Ярмицкая

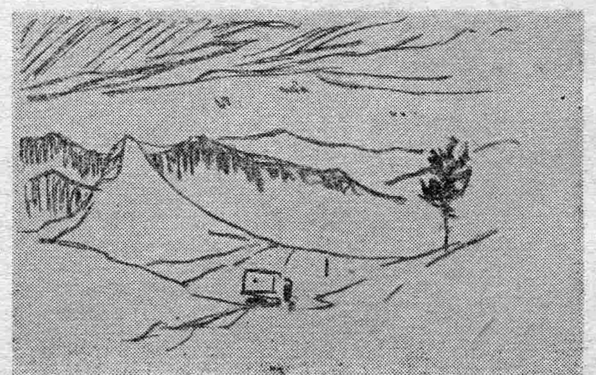
Беатриче

Кем была Беатриче?
Бледной и нервной женщиной,
Должно быть, бранилась с кухаркой,
Слезливо журила детей.
Что имела она, Беатриче?
Детей шестерых,
Ревнивого мужа,
Дом и в доме приличный достаток
И верное сердце Данте.
Смеялись торговцы в лавках:
— Нашел же, в кого влюбиться:
Немолода, некрасива, небогата и несвободна.
А Данте — мужчина видный.
Ну что бы ему приметить
Твою перезрелую дочку?
Не правда ль, смешно?
Ха-ха-ха!
Товар разложив по прилавкам,
На рынке судачили громко
Всезнающие торговки:
— Слава богу, что муж Беатриче
Нестар и довольно крепок.
Умри он, к примеру, сегодня,
Да разве ж возьмет Алигьери
На шею себе обузу —
Детишек своей любезной?
Нет, тетушки, вечного в мире,
А прочно: наш дом да дети,
Мужья да флорины в кармане.
Но нет ничего химерней
Безумства влюбленных поэтов.
...Века пролистали страницы
Великих и мелких жизней.
Пылятся в музеях флорины,
Разрушены древние замки,
И тысячи бледных женщин, похожих на Беатриче,
Родились и ушли безвозвратно.
Одна Беатриче бессмертна.
Затем, что в подлунном мире
Нет вещи более вечной:
Безумства влюбленных поэтов.

Ангарск



Г. Леви. Проводник. Гравюра.



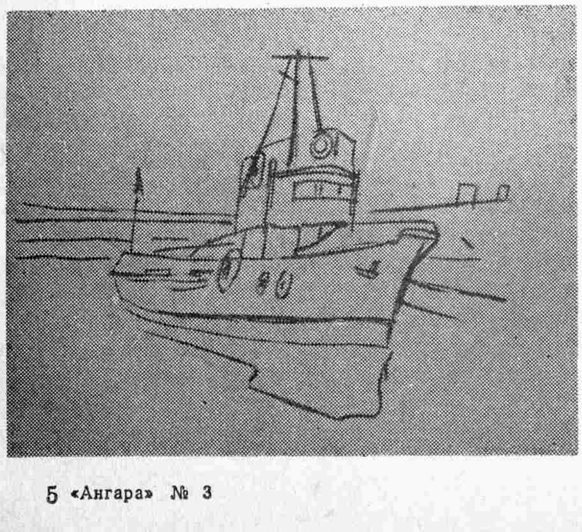




Г. Леви. Маленькая рыбачка. Гравюра.



Г. Леви. Байкальские лодки. Гравюра.



Читатели «Ангары» уже знакомы с произведениями молодых литераторов Ю. Скопа и В. Шугаева, которые, работая в соавторстве, создали несколько книг очерков и повесть «Сколько лет тебе, парень», опубликованную в 1963 г. в «Ангаре». Совместно начали они и новую книгу лирических повестей, но в процессе работы убедились, что каждый написал свою самостоятельную книгу. Повесть Вячеслава Шугаева «Любовь в середине лета» мы предлагаем Вашему вниманию. Повесть Юрия Скопа «Небо всегда над дождем» будет опубликована в одном из ближайших номеров альманаха.

Вячеслав Шугаев

ЛЮБОВЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Повесть в монологах

Монолог повествователя

1

От поезда я отстал незадолго до Абакана. Теплушки, в который раз за дорогу, приткнулись у очередного столба, состав вздрогнул, и я проснулся. Перелез через храпевшего Вовку Горелова и встал у перил, где были все наши ребята, желающие взглянуть на свет божий. Ничего особенного за вагоном не было: далекие, облитые миражами хакасские сопки, желтый одуванчиковый луг да серебристо-коричневые камышовые шишки в крохотном болотце возле насыпи.

Рядом со мной у перил стояла Ленка. Я был в майке, а Ленка в сарафане с умопомрачительным декольте (она хотела даже на целину приехать нарядной), и ее прохладное плечо обожгло меня. Ленка кивнула на камыши:

— Прелесть, правда?

Я тут же выпрыгнул на насыпь:

— Сейчас нарву!

— Чудак! Не нужно!— испуганно и поощрительно крикнула Ленка.

Я скатился по глинистому, в лопухах, обрывчику к противной зелени болотца. Решил наплевать на брюки и полез к камышам. Шишки никак не хотели отрываться, а когда я попробовал откручивать их, как гайки, они опадали ватными комочками.

Сзади насмешливо свистнул паровоз, я, ожесточившись, загреб камыши в охапку и дернул изо всех сил. И ухнул в зеленую, дурно пахнувшую жижу.

А после несуразно засуетился. Бросился вон из болотца, но запнулся о корягу и снова растянулся. Около самой насыпи опять-таки умудрился упасть. Вагоны проходили мимо, истошно орали ребята, а я все не мог взобраться на насыпь, скатывался по горячей, пыльной гальке вниз.

Я выполз на пропитанный маслом и угольной сажей прирельсовый песок, но было поздно.

Я вытряс сандали и, убедился, что курить нечего, и побрел вслед за поездом. Между прочим, ни страха, ни тоски не испытывал. Знал наверняка, что рано или поздно доберусь до места, что ночевать в степи не придется: через каждые двадцать километров стоят будки путевых обходчиков.

Майка и штаны начали подсыхать, но болотом от меня по-прежнему разило невыносимо. Тина была едучая и хотелось чесаться.

По шпалам идти очень неудобно. Если наступать на каждую шпалину, то шаги получаются мелкие, семенящие, будто идет не здоровый длинный парень, а гейша по улицам Токио. А если переступать через шпалу, то выходит очень широко и неудобно. Все мысли сосредоточены на этих просмоленных поперечинах и быстро устаешь. Кто-то когда-то явно врал, говоря, что по шпалам идти легко.

Я пошел рядом с полотном. Несколько камышин все-таки нес с собой. Собирался обя-

зательно вручить их Ленке. Думать об этом было приятно, и я рисовал картину: вот вручаю ей камыши и говорю:

— Возьми. Тебе же нравятся...

Ленка скажет:

— Валера, ты такой милый... Такой...

И мы пойдем в степь. Слушать, как пищат суслики и вскрикивают ястребы в небе. Ленка поцелует меня и скажет, что это здорово, что я рядом.

А наши ребята, от которых мы уйдем, будут немного завидовать нам и будут говорить: Валерка — молодец. Отстал от поезда из-за Ленки. В одной маечке сколько прошлепал. А камыши все-таки принес.

Потом я споткнулся, и радуга-буколика начисто выскочила из головы. И я понял, что лгу сам себе. Никто не скажет мне «молодец», Ленка не поцелует меня. Произошла самая заурядная нелепость, виноват в которой только я.

Люди лгут сами себе гораздо чаще, чем другим. Однажды на катке какой-то блатяга пнул меня коньком и заставил уйти со скамейки. И почему-то его наглость не возмутила меня, а испугала. Я ушел с катка и долго мучился потом и краснел, вспоминая, как виновато забормотал: «Счас, счас»,— в ответ на бесцеремонный пинок. Но самое трусливое в этой истории то, что я утешил себя.

Или я тысячу раз просыпался по утрам с твердым, непоколебимейшим желанием начать новую, мужественную, принципиальную жизнь. Хотел быть сдержанным, немногословным, через год нарастить феноменальные бицепсы. Но проходил день, и я потихоньку начинал жалеть себя. То одна уступочка, то другая. Про себя отмечал —«это в последний раз». А, изолгавшись, жил по-старому: опаздывал на лекции, раздражался на мамины замечания, первый звал Ленку в кино, хотя и собирался выдержать характер.

Должен еще сказать, что друг другу мы тоже врем предостаточно. И врем-то очень неинтересно, без всякой фантазии. Мне, например, не нравятся десятки моих знакомых. Один любит безответственно потрепаться, другой — зазнайка, третий норовит перед всеми быть хорошим. И я вместо того, чтобы разругаться с каждым из них в пух и прах, здороваюсь с ними за руку; с дурацкой улыбочкой слушаю трепача, своим молчанием поощряю зазнайку, прощаю третьему его беспринципность.

И сам себя успокаиваю: без недостатков, мол, людей не бывает. А откуда эти недостатки? Да от молчания от нашего, от того, что потакаем мы им, поплевываем на них.

Другое дело — какое-нибудь собрание. Вот там считается хорошим тоном отметить всякие недостатки, серьезно и публично покритиковать их. А в промежутках между собраниями мы как в рот воды набираем. Не принято, видите ли, один на один неприятные вещи говорить.

Очевидно, что мозги от солнца размягчаются и вырабатывают жидковатые мысли. Человеку в жару жалко одного себя, а остальных людей он эгоистично клеймит.

В самом деле, с какой это стати я обрушился на людей? Будто врут много? А сам и пальцем о палец не ударил для человечества. Чтобы честнее оно стало. Ведь сам часто вру.

В поезде, от которого я отстал, едет Леха Забурин, мой товарищ. У Лехи добрые оттопыренные уши и румяные благополучные щеки. И глаза в такой грустновато-ленивой, зеленой дымке. Леха — самый здоровый и мускулистый среди нас. Улыбается широченно, открыто — симпатичный, на первый взгляд, парень.

Боже мой, сколько раз я врал его маме, Анастасии Ивановне. Леха часто влюблялся и обычно по утрам с милым смущением просил:

— Слушай, Валера! Надо прикрыть меня. Позвони домой, скажи, что я ночевал у тебя.

Отказывать было неудобно, и я шел звонить.

Когда декан вызывал его из-за пропусков, заведомо неуважительных, Леха искренно возмущался:

— Ну что он ко мне пристает?! Горе какое. Обязательно нервы потрепать нужно. Без меня не проживет никак?

При всем при этом Леха не упускал случая, чтобы не выступить на курсовом собрании и не сказать:

— Ребята, давайте говорить по большой честности. Там пропускаем мы, опаздываем — все это важно. Но — не это главное. Главное, чтоб все вместе мы жили. Не шушукались по углам, группками. Есть у нас это. И это, извините за выражение, хреново. А надо искренне, открыто жить.

Леха говорил убежденно, его большие губы гневно собирались в жесткую гузку, синели от напряжения. Беспредметно он говорил, но горячо. И это многим нравилось.

Я всегда пытался разобраться: что его заставляет так говорить? Может быть, он на самом деле забывал о моих звонках, о собственных пропусках, о постоянном своем стремлении выкрутиться и на собрании по-настоящему возмущался нашим индивидуализмом? Черт его знает! Но почему-то казалось, что Леха такими пылкими и размашистыми реча-

ми пытается заранее реабилитировать будущие грехи. И платит за них вот этой минутной искренностью.

Мне, например, за Лехино поведение на собраниях всегда стыдно, потому что я знал: завтра или послезавтра Леха попросит:

— Валера, меня надо прикрыть...

Это будет маленькая подлость, а большую честность Леха прибережет до следующего курсового собрания.

Все-таки здорово один знакомый парень написал:

..Разные есть.
Чистые есть.
Грязные.
Грязно-честные,
честно-грязные.
Ну, а я?
Я, конечно, не чистый.
Ну, и мне
наплевать —
Какой я!..

Я, видимо, отношусь к категории «честно-грязных». Но если бы я мог наплевать на это! Должно прийти время, когда я решусь, наконец, говорить то, что думаю. Почувствую, что человек плохой, и сразу вылеплю:

— Знаешь, мил друг. По глазам вижу, что ты гад. И не моешь руки перед обедом и по месяцу не стрижешь ногтей. И, по-моему, ты товарищей обманываешь...

Если человек честный, он мне по роже съездит (по внешнему-то виду и ошибиться можно), а если подлец, то испугается, что я его раскусил, и заюлит.

А вообще неплохо было бы: подумал чего-нибудь и сразу режь правду-матку. Идет, допустим, по улице девушка. Красивая, большеглазая, как Ленка. Я — к ней. И говорю:

— Знаете, девушка, а вы мне очень нравитесь...

Она посмотрит внимательно, спокойно, и ответит:

— А вы мне нет. Но вы не обижайтесь. Может быть, вы и хороший...

Я извинюсь перед девушкой. А если она ответит: «И вы мне»,— тогда я скажу:

— Пойдемте вместе. И всем, кто нам понравится, мы скажем об этом. Они наверняка обрадуются. Людям хорошо, когда они нравятся друг другу.

2

— Эй, Микита, ты чего по путям шляндаешь?

Внизу у самой насыпи задрал голову здоровенный мужик в фиолетовой штапельной косоворотке. Щетина на его щеках отливала янтарем, светлые, как у плюшевого медведя, глаза весело щурились.

— Я не Микита.

— А как тебя по отчиму-то?..

— Нет у меня отчима...

— А-а... Сирота, значит?..

Я решил не замечать издевок.

— Если подождете, я за метриками сбегаю...

— Я те сбегаю!..

— Что это значит «я те»?

— А вот по заднице твоими камышами пройдусь, узнаешь.

— Попробуйте...

Мужик гулко, щедро захохотал и легко, в два шага взобрался на насыпь:

— Ну-ка, давай камыши.

Я испугался и потому неистово заматерился, чтобы прогнать испуг. Мужик, посмеиваясь, пошел на меня. Просмоленные мазутом и сажей галифе его держались на единственной пуговице, и в прореху виднелась выцветшая голубизна майки. Я схватил гальку покрупнее и, часто задышав, замахнулся. Хотелось мне очень изобразить высшую степень нервности, но про себя-то я точно знал: ни за что не кину в мужика. С яростным выдохом я промазал и сию же минуту, облитый махорочно-чесночным перегаром, очутился у мужика под мышкой.

Я был все-таки увесистым парнем, довольно длинным, но просмоленные галифе несли меня свободно одной рукой. Я беспомощно, с остервенением дрыгал ногами.

Спустившись с насыпи, мужик положил меня на траву и с каким-то грустным вздохом неожиданно сказал:

— Пошкодишь когда малость — вроде веселее станет...

Я угрюмо встал.

Мужик достал деревянную коробочку с табаком, аккуратно оторвал мне листочек от замусоленного блокнота, сделанного из газеты, и мы закурили. Чуть кружилась голова от табака и от солнца, и мне расхотелось злиться.

— Ты давай-ка, величай меня Семеном. И пошли в избу чай пить да щи хлебать. Баба костюм твой всполоснет, ан да ладно будет.

— Спасибо. А я — Валерий. От поезда отстал.

— Понял уже. Студент, поди?

— Да...

— Чему вас там учат? Право, как маленькие... От поезда отстал... Э-эх...

— А чего? Интересно. Все-таки — приключение. Веселей вспоминать будет...

— Приключение, приключение... Я в этих местах, считай, скоро пятнадцать лет живу, и все у меня нормально, по-человечески. Без приключениев всяких...

Он приостановился и широким, красным языком стал поглаживать цигарку, хотя она и без того получилась ловкая и тугая. Мне показалось, что делает это Семен нарочно, из озорства: не цигарку языком заклеивает, а меня дразнит. Хотя почему бы и не поозорничать? Черт с ним, но меня поразила цифра, названная Семеном:

— Что-что? Пятнадцать лет вот здесь, в степи? Один? Это ты брось!..

— Зачем один? Баба у меня, ребятишки. Да коровенка еще, да собака, да мерин есть. Не один, брат... Стоп, стоп! Наврал я тебе про приключения-то. Было единожды. Кто-то в поезде стоп-кран рванул года два назад, так около самой моей избушки цельный состав почти час стоял. Все молоко тогда продал, все огурцы подчистую расхватали, чугунок картошки для коровы сварил, так и ту раскупили. Чудаки эти пассажиры! Вот вроде тебя: ах, приключение! Ах, какой у вас домик! Ах, природа! До сих пор голову ломаю — не пойму: над чем ахали...

Семен всхохотнул осуждающе и неожиданно звонко хлопнул меня по спине:

— О! Еще одно приключение вспомнил. Клавдия, когда шестого, Кольку, рожала, фельшер-холера — опоздал. Вот, приключение, слышь-ка, было!.. Я будто тот николог разворачивался. Но ничего. Родился Колька честь по чести...

— Так у вас шесть детей?!— робко изумился я.

— А что? Еще шесть будет. Пусть живут, дьяволята. На старости, слышь-ка, по всему Союзу покатаюсь... А что тут удивительного? Поди, знаешь, что в деревнях керосин берегут? Зато пацанов много. А?..— довольный шуткой Семен опять хохотал. Лукаво щурились желтые Семеновы глаза, и радостно крошилось солнце на его крепких, крупных зубах.

Через час я уже был знаком со всеми его ребятишками и с Клавдей, веселой, приветливой женщиной. Она необидно засмеялась при моем появлении и спросила:

— И куда это вас угораздило?

Клавдия нисколько не застеснялась меня и продолжала кормить толстого глазастого пацана. Тугие яблоки-щеки забрызгались теплыми капельками молока, а кнопочный нос смешно плющился о посмугленную солнцем Клавдину грудь. «Колька»,— догадался я и отвел глаза, потому что все-таки считается неловко смотреть на женщину, которая кормит ребенка.

Я объяснил Клавде, что угораздило меня в болото, и она снова рассмеялась:

— В болото?.. Ха-ха-ха! Кто же это вас туда отправил?— снова и снова всплескивался ее смех.

Мне тоже стало смешно, и я как-то по-дурацки прыснул — не то чихнул, не то кашлянул. Это окончательно развеселило ребятню, и они раскатились колокольчиками, повизгивая от удовольствия.

— Ой, дяденька... В болото!.. Ой!..

Семен вышел на крыльцо и, сообразив, в чем дело, одобрительно прогрохотал, как весенний гром:

— Вот славно как все получается! Ай да дядя!— вытирая глаза, подошел он к нам.— Давай, Клавдя, Валерку теперь кормить будем.

Она внезапно засмущалась, сунула Кольку Семену и убежала в дом. Клавдя, как и Семен, была босиком, и икры ее до того загорели, что чернота отливала серебристым пушистым блеском. «Солнечная соль выступила»,— вспомнилось чье-то объяснение...

Потом хрустящий от чистоты, переодетый в Семенову (почти ненадеванную, как объяснила Клавдя) гимнастерку и широченные штаны, я сидел на крылечке, покуривал и смотрел, как Клавдя отстирывает мою болотную робу. Мелькали ее шоколадные в трещинках-морщинках локти, дробно стучала гофрированная железная доска под сильными руками. Клавдия иногда разгибалась над корытом, ловко сбрасывала с рук мыло и поощрительно улыбалась мне: ты, мол, не робей, чувствуй, как дома. Я тоже улыбался и чувствовал в эти минуты, что могу просидеть на крылечке всю жизнь. Лебеда и полынь у бани были такими сизыми в вечерних тенях и знакомыми, прогретая пыль так пахла дорогами, а громадные, как листья фикуса, сердца подорожников так напоминали детство, что я уютно и потихоньку умилялся.

Потом стал удивляться, как это можно прожить в такой глуши и тишине пятнадцать лет и не бывать ни в кино, ни в театре и даже свежие газеты вряд ли получать. Иметь зарплату в пятьдесят рублей и кормить шестерых детей. Неужели человеку хватает только дома, огорода, работы, дум о куске хлеба для детей? «Чертовщина какая-то получается!— заволновался я.— Ну ладно, есть корова, есть мерин, есть огород. Значит, пятьдесят рублей на хлеб, на сахар да на промтовары? Но ведь восемь человек!»

Я не вытерпел, окликнул Семена, копавшегося у сарая:

— А как же ребятишки у вас в школу ходят?

— Дак в интернат с сентября перебираются.

— А-а...— протянул я.

Да, видимо, здесь заботятся только о детях, а Семен с Клавдей на себя рукой махнули.

Семену надоело возиться у сарая, и он сел рядом со мной:

— Давай посумерничаем. Закуривай... А слышь-ка, Валерка, рассказал бы чего забавное... Историю какую или там роман...

Я согласился и рассказал про Кон-Тики. Семен долго и восхищенно крутил головой.

— Клавдя! Слышь! Один чудак через весь океан на плоту жарил! На бревнах по сути несколько месяцев болтался. А? Слышь, Клавдя?

— Да-а, парень...— Семен снова повернулся ко мне,— смелость-то какую надо иметь... Я вон не то что через океан, в Барнаул к братану все не могу съездить..— неожиданно заключил Семен и замолчал. Только махра в самокрутке сухо потрескивала...

Мне постелили в кухне, но все равно я хорошо слышал шепот Семена и Клавди за дощатой перегородкой. Стало неловко, и я вышел на крыльцо.

Я стал думать о Ленке.

Устало горбились сопки на серебристой полосе горизонта, степь подкатывалась к ним темными холодными волнами, волны разбивались о сопки пронзительными короткими вскриками какой-то ночной птицы.

Вспомнил, что глаза у нее похожи на ягоды терновника, и, когда Ленка начинает изображать из себя светскую даму, умеет томно и надменно щуриться, что на смуглых щеках ее золотится пушок, как у шестнадцатилетнего пацана, вспомнил Ленкины губы, брови, волосы и не нашел ничего такого, чтобы мне не нравилось.

Перед целиной мы не виделись больше месяца, Ленка ездила домой. На вокзале она очень холодно поздоровалась, и мне стало безнадежно, не по себе. Что-то с ней, видимо, случилось за этот месяц.

Но потом, уже в скрипящей и раскачивающейся теплушке, мы долго-долго стояли у раздвинутой двери, смотрели на огоньки и на ночь, мимо которой ехали, и Ленка была доверчивой. Я целовал ее, а она улыбалась както грустно и задумчиво и осторожно перебирала мои пальцы. Я понял это как извинение за холодную встречу на вокзале.

А на другой день под дребезжащий и всхлипывающий на стыках патефон Ленка все время танцевала с Вовкой Гореловым, будто меня вовсе не существовало на этом свете. Вовка цвел и улыбался, тоже не замечая меня.

Я обиделся и, когда на какой-то станции Ленка попросила сбегать меня за мороженым, сделал вид, что не слышу. Ленка прикинулась очень веселой и стала допытываться:

— Валерочка, ты сердишься, да? Валерка, милый, ну я действительно хочу мороженого.

Я растаял и, нарочно обзывая себя тряпкой и мальчиком на побегушках, все же пошел за мороженым.

Мне стало трудно вспоминать Ленку, и я отправился спать.

3

Попутная дрезина притормозила на переезде, и я остался на дощатом настиле знакомиться с облупленным, посеревшим от пыли шлагбаумом. С дрезины еще махал Семен, поехавший в Абакан за мануфактурой, и я долго видел шельмоватый сияющий месяц его улыбки.

Я сел на обочину раскаленного и древнего большака и дал клятву, что обязательно приеду к Семену в гости и привезу трехколесный велосипед Кольке, родившемуся без помощи акушера. Я решил так потому, что перед самым переездом Семен больно тискал мою руку и говорил:

— Ну, Валерка, навряд ли больше свидимся. Но охота будет, черкни какую-нибудь писульку. Ты грамотный и те легко письма писать. А мы с Клавдей когда и прочтем, да и порадуемся за тебя — Валерка-то, мол, с жизнью ничего управляется...

Семен сказал это без подтекста, а так — из гостеприимства, но стало грустно от внезапной и горячей волны сентиментальной искренности, когда про себя решаешь: и навсегда запомнить эту минуту, и человека, заполнившего ее сладкой и грустной теплотой. Тогда восклицаешь внутренне: ах, какой он милый! Сколько хорошего я узнал благодаря ему! Я постараюсь после отблагодарить его...

За свою жизнь я еще ни разу не выполнил подобных клятв, хотя давал их себе тысячу раз. Иногда мне кажется, что напрасно столько людей делали для моей черной и неблагодарной души хорошее. Я привык к нему и воспринимаю как должное. А значит, лгу и лгу. В тысячный раз лгу сам себе.

Нет, я обязательно приеду к Семену и привезу трехколесный велосипед Кольке!

Машину пришлось ждать долго, потому что в абаканском автотресте, видимо, не знали о моем появлении на пыльном и бесконечном большаке. Я покуривал Семенову махру и делался постепенно безразличным и вялым от жары. И, когда совсем уже было задремал, машина появилась.

— В «Красный Курган?»

— Садись!

За баранкой сидел в ослепительной ковбойке симпатичный блондинистый парень. Он прикурил сигарету, внимательно осмотрел меня темными, холодными глазами, и мы поехали. Парень походил и на заграничного киноактера, и на студента-заочника, и на аккордеониста из ресторанного джаза. Он неплохо насвистывал популярную и грустную «Крепче за баранку держись, шофер» и совсем не разговаривал со мной. Я поерзал на сидении, посмотрел на степь в ветровое и два боковых стекла и решил вступить в беседу:

— Давно на целине?

Свист.

— Красиво у вас тут, солнечно...

Свист.

— Мы, наверное, с тобой одногодки?

— Вряд ли...

Я обрадовался столь удачному началу разговора и решил подкупить симпатичного блондина откровенностью.

— А меня, черт, угораздило от поезда отстать. Девчонка понимаешь, мне одна нравится, так я вот из-за этих камышей для нее и отстал. Надеюсь зато на будущие объятья...— громоздил я одну пошлость на другую, рассчитывая, что блондин—известный в здешних местах сердцеед и уж, конечно, одобрит мою влюбленную отчаянность.

Парень молчал, а я откровенничал, потому что кто-то когда-то польстил мне: ты, мол, Валерка, быстро с людьми сходишься. Открытый ты, мол, парень.

Вдруг меня дернуло вперед и от резкого торможения над машиной поднялась туча пыли. Парень снова закуривал и спрашивал у меня спокойненько:

— Хочешь, высажу?

Я не хотел.

— Хочешь, по шее дам?

Я опять не согласился.

— Тогда сиди и молчи. Мне нравится, когда люди молчат.

Я молчал, вспотев от мучительного стыда и бессилия.

— Болтунов понавезут в степь, а у них потом одни слезы.

Я сказал дрожащим голосом:

— Жаль. что мне срочно нужно в «Красный Курган», а то плевал бы я на твое молчание.

Парень тоскливо посмотрел на меня:

— А откуда ты знаешь, что я еду в «Курган»?

— Я же спрашивал...

— А я не ответил...

Самокрутка из Семеновой махры никак не получалась, и он протянул сигарету:

— Кури и молчи.

Мне показалось, что говорит парень это с улыбкой, но не хотелось глаз поднимать на него...

Да-а... Целина встречала очень приветливо. Сначала Семен... «А может, этот парень тоже окажется хорошим»,— обрадовался я и покосился на симпатичного блондина и увидел окаменевший подбородок и нервную жилку на виске.

За сопкой, сплюснутой к вершине, начиналось поле, бесконечное, как небо ночью. И посредине его белел барак. одинокий и манящий своим одиночеством. Шофер прибавил скорость, и мы пошли на этот барак, тараня тяжелый от пшеничного настоя воздух. Машина с лихостью затормозила у самой стенки барака.

Я мгновенно увидел испуганно завизжавших девчонок; далекое парение ястреба над полем, Вовку Горелова, брившего свой цыплячий пух у столба с умывальником, синее пятно патефона на траве, спящего около него Леху Забурина.

Я не увидел сначала Ленки, потому что среди разбежавшихся девчонок ее не было. Она спокойно стояла в дверях и смотрела через ветровое стекло на шофера. Потом улыбнулась мне.

Парень ловко соскочил и, обойдя кабину, открыл мою дверцу:

— Принимайте еще одного романтика.

Потный, незагорелый и влюбленный, я вступил на целинную землю, крепко сжимая злополучные и заветные камыши.

Ленка еще раз улыбнулась:

— Здравствуй, Валерочка,— и через мое плечо кивнул шоферу: — Здравствуйте, Костя.

Я протянул ей камыши и хрипло сказал:

— Это тебе...

Но Ленка все еще холодно и с любопытством смотрела на шофера. Он засмеялся ее взгляду и пошел к патефону. Я спросил:

— Что это за тип? Ницше, Жан Маре или Иван Бровкин?

— Это шофер, прикрепленный к нашей бригаде. Будет с нами всю уборку. Вчера он сказал, что любит меня...

— А я... я... я так думал о тебе, Ленка. Ты нисколько мне не рада?

— Что ты, Валерочка! Ты такой самоотверженный, такой... Здравствуй, Валерочка!

Она облучила меня смертельной дозой восторженности и непосредственности, но мне не стало легче.

— А что ты ответила?

— Не стоит говорить. Все это глупости. Ты умывайся, у тебя глаз из-под пыли не видно...

К нам подошел Валька Капустин, наш бригадир, бывший колхозный тракторист и незапятнанная совесть курса. Он был босиком и в синей майке. Из-под нее выглядывало крыло выколотого на груди орла. Валька втиснулся между нами:

— Ну, как доехал, Валера?

— Хорошо,— устало ответил я.

— Чудесно. Тогда пойдем сколачивать нары. Эй, Вовка, закрывай парикмахерскую и буди Забурина. Давайте все навалимся на нары!— крикнул он Вовке Горелову.

Я не стал больше смотреть на Ленкино красивое лицо, а пошел за Валькой и стал забивать гвозди в нары. Старался не промазать, старался забыть о белокуром шофере Косте. Он, видимо, молчаливый пахал и не любит тренировать интеллект.

Зато он любит Ленку,— ахнул я, ударив молотком по пальцу.— «Но с какой стати он ее любит? Ведь это же моя девушка!»— вспомнились мне слова из какого-то французского фильма.

— Валера, дорогой мой! Как я тебе рад!— сзади широко и сонно улыбался Леха Забурин. Он заглянул мне в лицо и снова разулыбался: — Жив, бродяга! Ну слава богу.

Я обрадовался Лехе, и мы вышли покурить.

— Грустно мне что-то, Леха. Не знаешь, почему?

— Брось, Валера!— бодро сказал Леха.— Плохое проходит, приходит хорошее. Диалектика, дорогой. Так чего мучиться? Живи и жди хорошего. И помни: эстафету оно принимает от плохого. А?

Сегодня мне очень нравился Лехин голос, сочный и давно знакомый. Вовка Горелов около нас неумело отпиливал доску, покраснев от старания. Доска все время выбивалась из-под его колена, и это не понравилось Вальке Капустину:

— Пусти, кулема. Смотри: колено — рука — пила. Раз — и готово!

Валька быстро разделался с доской, заколотил мой участок нар, натаскал сена и даже не запыхался. Нас с Лехой он не тревожил, и поэтому стало неловко.

Я засуетился, бросился помогать, за мной потянулся Леха, а Валька, попыхивая папиросой, пошел на половину к девчонкам, которые бесцельно слонялись вокруг барака.

Поздно вечером снова приехал Костя, посветил фарами в девчоночью половину, но никто не вышел. Костя уселся у патефона и пять раз подряд прослушал пластинку «В парке Чаир».

Мне надоел патефон, и я вызвал Ленку. Мы пошли с ней от барака в поле, и Костя снова включил фары, и две серебристые тени побежали впереди нас. Ленка куталась в мой пиджак, а я сказал, что люблю ее и что мне наплевать на признания этого идиота Кости. Что я буду за нее драться и, если надо, умру.

Тогда Ленка сказала:

— Не в этом дело, Валера. Не надо драться, не надо умирать, не надо говорить о любви. Надо, чтобы я поверила, что ты мне нужен. Делай какое-нибудь дело. Паши землю, стань охотником, капитаном дальнего плавания или министром. Но все это ради меня...

— Ленка, но мы же учимся?..

— Все равно,— упрямо повторила Ленка,— делай какое-нибудь дело...

— Ладно. Я буду Героем Социалистического Труда. Скошу вот эту пшеницу. Руками. Тебе хватит?..

— Посмотрим,— серьезно ответила Ленка.

От пшеницы шло тепло как от нагретого за день озера. Я начал мучиться из-за Ленкиных слов и спросил:

— А что будешь делать ты для любви?..

— Буду верить в тебя.

— Есть, Ленка, такой фильм — «Верю в тебя».

— Не смейся, Валера...

4

Мы просыпались в семь утра. Волглая зябкость ждала нас на земляном полу барака, и всеми силами мы оттягивали встречу с ней. Натянув одеяла, завистливо наблюдали за Валькой Капустиным, как он в неизменной синей маечке сидел у зеркальца и брился, перекатывая от щеки к щеке потухшую папироску. Брился Валька каждое утро, тщательно и со вкусом, по нескольку раз намыливая скулы, твердые и гладкие, как слоновая кость.

Валька сидел за зеркальцем и время от времени покрикивал, как кричали вахтенные на парусных кораблях:

— Эй, на нарах! Как слышите-е? Эй, студентики-и!

Первым на зов откликался Вовка Горелов. Разыскав под подушкой очки, со сверхъестественной бодростью он спрыгивал на землю, судорожно размахивал худыми руками — имитировал физзарядку — и трусцой отправлялся в сторону горизонта, к громадным обломкам гранита, которые мы прозвали «Могилой хакасского князя». Вовка надолго исчезал за этой здешней примечательностью, и тогда начинали пробуждаться мы.

При пробуждении я всегда размышлял о Вовке Горелове. Со временем он станет крупным ученым, это без сомнения, потому что Вовка имел силу воли и был дисциплинированным. Он безропотно просыпался по первому Валькиному зову без охоты, но с высокой сознательностью делал зарядку, неумело, но с желанием запрягал лошадь, колол дрова, чинил патефон. Вовка любил приговаривать:

— Так... Так... А это так... Понятно. Теперь пойдем дальше...

В свободное время он читал японских философов и играл с Валькой Капустиным в шахматы. Валька ругался, грубил Вовке, но всегда проигрывал, и Вовка успокаивал его. Так случалось каждый день.

По утрам я преклонялся перед Вовкой Гореловым и пророчил ему великое будущее, замерзая от росистого свежака и серого тумана над пшеницей.

Леха Забурин предпочитал по утрам не умываться и выходить прямо к столу.

Потом мы ели разные каши, которые варили Ленка и третьекурсница с биофака Фира. Фира знала мое отношение к Ленке и поэтому по блату подливала в кашу больше масла, чем другим. Это сходило незаметно, если не считать пронзительного взгляда Вальки Капустина.

Я смотрел на Ленку, на ее интеллигентно подвязанный платок, на руки с самодельным маникюром и изнывал от неутолимого желания быть замеченным ею. С непонятным упорством хотел, чтобы она дотронулась до меня, улыбнулась, пошутила. Но Ленка говорила только с Валькой Капустиным, потому что он был старший и отвечал за продукты и за нас.

Костя ел совсем немного и сразу же мыл за собой чашку и ложку. Он постоянно привозил на кухню лавровый лист, зеленый лук и несколько раз порывался поколоть дрова, но это делал я, не единожды отшибив ноги, потому что колоть приходилось ночью. Костя не спорил со мной и уезжал на машине в степь.

Сегодняшнее утро началось тоже строго по расписанию, если не считать, что Костя часов в шесть отвез на центральную усадьбу Леху Забурина за посылкой от его мамы Анастасии Ивановны.

Костя вернулся к завтраку и, заметив наше удивление, объяснил:

— Леха скоро будет. Там есть попутка, и я не стал ждать...

Мы поели, покурили, Валька с Вовкой сыграли в шахматы, а Лехи все не было. Валька нервничал и шипел:

— Размазня. Дам ему сегодня выговор...

Я вызвался сходить за сопку и посмотреть, не идет ли Леха пешком, потому что на Костино предложение съездить Валька ответил:

— Пусть добирается, как хочет. Хоть цугом, хоть пешком.

Когда я шел, пшеница уже отряхивалась от тяжелой росы и прохладно пахло клевером. Запах этот опять обещал дневную жару. Выглянула из норы юркая морда суслика и мгновение изучала меня. Я подмигнул суслику, и он спрятался.

За сопкой, в придорожном приямке, сидел Леха Зарубин и ел вафли «Снежинка». Около валялись уже две пустые пачки, и Леха дожевывал третью. Увидев меня, он начал работать челюстями еще быстрее.

— Садись, Валерка, пожрем немного...

— Леха — ты варан, ты гад. Мы же тебя ждем.

— Не психуй, Валерка...

— Боишься, что угощать надо, да? Эх...— Я даже не знал, что говорить, до того гнусен был жрущий вафли Леха.

— Запомни, Леха. Я тебя не знал и ты меня тоже. Я тебе никогда больше руки не подам.

Леха деловито отряхнул крошки и спокойно сказал:

— Дурак. Интеллигентный дурак.

Я шел за Лехой. Он помахивал мешочком, в котором Анастасия Ивановна прислала вкусные вещи.

У барака Леха виновато заулыбался и смущенно развел руками:

— Ребята... Не сердитесь. Ей богу, шофер не довез километра три. Пока шел, не утерпел, распечатал мешок. Попробую-ка, мол, немного. А остальное — вам! — и Леха улыбчиво вытряхнул мешок на стол. Барбарисы, зефиры, печенье, прочие кондитерские штукови-

ны вызвали восторженный вой девчонок. Валька Капустин мрачно поглядел на эту сцену и махнул рукой. Он решил не объявлять выговора Лехе.

А я тосковал, потому что никогда не подозревал за Лехиной безответственностью такого наглого и баснословного коварства.

Мы поехали чистить кошары, и в машине Леха придвинулся ко мне:

— Ну, чего ты психовал? Я же честно все сказал.

Я молчал.

Леха пошарил за пазухой и протянул плитку шоколада:

— Угости Ленку. Наверняка обрадуется. И не дуйся. Ну что особенного произошло?

Представив радостные Ленкины глаза и ее зубы, ломающие шоколад, я было подумал, что ничего особенного действительно не произошло.

Леха смотрел на меня жалобно и преданно. Я взял шоколад и выбросил за борт, хотя до последней секунды не думал этого делать. Леха тихонько ахнул и отодвинулся от меня. Золотистая плитка «Мокко» осталась в пыли.

Кошары стояли под высокой горой, скатанные из темных старых бревен. Овцы в них сейчас не жили, а гуляли где-то по хакасским степям, оставив в кошарах за зиму массу всяких отходов. Эти отходы убирали мы лопатами и кирками, потом грузили на Костину машину, и он увозил отходы в поле.

В первый же день, наглотавшись едкой пыли, забастовал Степа Лохтенко:

— Ассенизатором я и в городе мог бы стать, с незаконченным высшим образованием. А сюда я приехал неслыханные урожаи пшеницы собирать. И будьте добры, подайте мне пшеничку.

Степа был квадратный и неторопливый парень, добросовестно записывавший лекции и посещавший все семинары. Он гордился своей обстоятельностью, но тем не менее был вспыльчив. Степа бушевал перед экзаменами:

— Никому не дам лекций! Вы там по кино ходите, а я за вас пиши! Даже не просите! Должен торжествовать принцип материальной заинтересованности...

Вот и сейчас он вспылил, справедливо заметив, что копаться в овечьем дерьме неприятно. Я устал и в душе поддерживал бунт Степы. Валька Капустин молчал, по-крестьянски неторопко работая кайлой. Рядом пыхтел Вовка Горелов, постоянно поправляя сползавшие с носа очки. Презрительная спина Лехи Зарубина маячила передо мной — он завоевывал Валькин авторитет. Я тоже стал бездумно ковыряться лопатой, но Степа не сдавался:

— Валька, ты брось в героя играть.

— Ладно,— буркнул Валька.

— Тогда отвечай: справедливо в дерьме рыться или нет?

Вдруг к Степе подошел Костя и взял его кирку. Он играючи стал пластать широкие ошметки серой кизячной массы. Я попробовал не отставать от него, но, запыхавшись и обессилев, с грустью понял, что это невозможно.

Костя работал десять, двадцать минут, полчаса. Мы стояли и смотрели, потому что у него здорово получалось. Потом Костя вложил упрямому Степе кирку в руки и приказал:

— Давай. Не маленький!

Больше мы не устраивали перекуров, пока не очистили кошару до черты, проведенной Валькой утром.

Мы долго отходили на траве и ждали обед. Ленка и Фира что-то долго его не везли. Все стали ругаться из-за этого, кроме меня, потому что поваром была Ленка.

А Вальку Капустина заело, что не он, а Костя показал, как надо работать. И, подождав еще, Валька распорядился:

— Пошли. Когда привезут, тогда привезут. А пока будем работать.

Мы заворчали, но пошли, стараясь казаться сильными, неутомимыми мужчинами.

Валька работал за двоих, а мы двигались, как дистрофики. Леха Забурин корчился-корчился, потом взмолился.

— Валя! Не могу, живот скрутило. Я исчезну.

— Валяй...

Видимо, Леха пошел дожирать свой шоколад. Но если даже у него действительно заболел живот, он не имел на это никакого права!

Квелые и немытые, мы сидели под горой и все ждали лошадь с обедом. Лошадь звали Волгой, и мы тяжело шутили об этом. Костя сидел в сторонке, покуривал и посматривал на нас.

Начали дремать, но вдруг вздрогнули от резкого деревянного грохота. С горы неслась наша Волга, и отчаянно цеплялись за бидон с супом Ленка с Фирой. Мы вскочили и заметались. Валька побежал в гору, размахивая руками и матерясь на лошадь. А я решил, что брошусь на нее, спасу Ленку, и она узнает, что я по-настоящему люблю.

Валька умудрился запрыгнуть в телегу, и в ту самую минуту, когда он схватил вожжи, я заорал от страха и восторга и кинулся к

Волге. Глаза я закрыл, и мне было легко от самоотрешенности. Почему-то я все еще был жив. Открыл глаза и увидел мирную Волгу, которую остановил Валька, Ленку, плачущую над опрокинутым бидоном, и Леху Зарубина, беззвучно хохотавшего в полыни.

Это было очень смешно. Я подошел к Ленке и сказал громко:

— Ты не расстраивайся. Мы не очень-то и проголодались.

Ленка даже не взглянула на меня...

5

— Рыба!— с ехидной торжественностью провозглашает Вовка Горелов.— Теперь подсчитывайте бабки и под дождь, нагишом под дождь!

Мы со Степой Лохтенко мрачно перебираем костяшки: все правильно — остались сухими безутешными «козлами». Валька Капустин с радостной улыбкой рассматривает нас и показывает глазами: снимайте, мол, штаны. Степа с хохлацкой истовостью начинает анализировать проигрыш. Он возмутительно точно вспоминает каждый ход, становится подозрительным.

— Подожди, дорогой Вова! Теперь я знаю, что ты умолчал о пустышечном дупле и дал Вальке под рыбу! А?

Вовка яростно протирает очки:

— Ты пойдешь под дождь? Нагишом?

— Нет, ты скажи, стырил ты дупль или нет.

У Вовки трясутся губы:

— Нахал! Наглый нахал! Хохлацкое упрямство.

— Это еще что за шовинизм?— вскрикивает на полном серьезе Степа.

— Я просто не терплю нахалов и шулеров,— тоже серьезно бледнеет Вовка.

Во всем виноват дождь, его глухая, нудная ворожба ссорит сейчас Степу и Вовку. Мы с Валькой начинаем успокаивать их и через минуту на кухне, где мы играли, отстаивается неловкое, стыдливое молчание.

Ленка у окна чистит картошку и бодрым голосом спрашивает:

— А под дождь-то кто-нибудь побежит?

— Точно, Степа, валяй-ка на свежий воздух, попой там «дождик, дождик, пуще». И полегчает,— примирительно произносит Валька.

— Ну да,— криво усмехается Степа.

Тогда я снимаю рубашку и воодушевленно говорю:

— Есть два святых долга: карточный проигрыш и неоплаченные векселя...

Затем поворачиваюсь к Ленке, галантно кланяюсь:

— Сейчас я буду нагишом, и вы вряд ли получите эстетическое удовольствие.

Ленка, уходя, смеется:

— Короли не бывают голыми. Так что зрительниц будет хоть отбавляй.

Я раздеваюсь под целомудренным и осуждающим взглядом Степы Лохтенко, вытягиваюсь перед Валькой, как перед райвоенкомом на медицинской комиссии, и выскакиваю за дверь.

Выглядело это так: от холодного дождя я кривлялся и хохотал, как шакал, один-одинешенек на всю хакасскую степь, голый идиот, приехавший покорять целину.

Из окошка с удовольствием улыбался Валька Капустин, а из подъехавшего Костиного газика с великим изумлением наблюдал меня незнакомый бровастый мужчина. Он, наверное, думал: ничего себе шуточки!

Но я продолжал взвизгивать положенные три минуты.

Степу Лохтенко развеселил мой танец, и он даже помогал мне вытираться, хитро шмыгая носом: видимо, радовался, что вышел сухим из воды.

От нечего делать мы принялись рассматривать в окошко незнакомого мужчину, которого привез Костя. В целлофановом розовом плаще, широколицый, он ходил вокруг барака в сопровождении Кости и, как герой немого фильма, неестественно резко тыкал рукой в разные стороны.

Мужчина зашел и к нам. С поразительно узкого для такого лунообразного лица подбородка стекала вода. Он промакнул его ладошкой и, не замечая нас, сказал Косте:

— А ребят надо разместить в этой комнате. Нары уже есть и печка...

Вовка Горелов холодно уронил в пространство:

— А в лучших домах Филадельфии гости всегда здороваются с хозяевами...

Мужчина посмотрел на Вовку, как на марсианина:

— А ты почему одет?

— Тебя,— сказал Вовка,— дожидался.

Гнев скопился в узком подбородке:

— А ну-ка, встань, ю-но-ша! Развалился, молокосос!

Демонический Вовкин смех.

Валька Капустин подошел к мужчине:

— Простите, но я бригадир и хотел бы знать, кто вы такой?

Ответил Костя:

— Это начальник нашей автоколонны Максим Петрович Ярый.

Спокойный Костин голос несколько принизил высокие страсти. Максим Петрович не замечал больше Вовку и, заинтересованно изучая орла на Валькиной груди, спросил:

— Где колол?

— В морфлоте.

— О, да мы с тобой сослуживцы, — и он показал кисть, на которой вставало солнце над синим морем.

Валька дипломатично заметил:

— Так давайте поздороваемся по этому поводу, Максим Петрович.

— Ладно, ладно. Понимаю. Сейчас уж не наверстаешь, а вот «до свидания» я вам говорю. Причем до скорого. Мои ребята понаедут, вашим девушкам веселее будет, — пошутил Максим Петрович и ушел в своем розовом плаще.

Вовка Горелов сразу же сказал:

— Мещанин и хам. Терпеть не могу.

Степа Лохтенко не согласился:

— Хам — это да. А мещанин? Загнул, друг мой. Мещане же тихонькие, как клопы в щелях.

Тогда Вовкой была сказана длинная речь:

— Мещанство приобрело современную архитектуру, оно стало изворотливым, мечтательным и образованным. Это вам уже не герань в горшочках, не окуровщина. Согласитесь, что теперешнее мещанство не прочь посидеть в модерновой мебели, поддакнуть о неслышанном концерте Стравинского, строго осудить стиляг за их верхоглядское восхищение Западом и покупать иностранные газеты для пущей важности, ни бельмеса, однако, в них не понимая. Вот что такое мещанство.

Степа спросил:

— Значит, если я честно работаю и хочу иметь хорошую мебель, хочу читать модные книжки и если мне интересно смотреть непонятные газеты, значит я мещанин?

— Нет.

— А чего же ты клеймишь?

Я был за Вовку:

— По-моему, в том и опасность теперешнего мещанина, что он ничем внешне не отличается от тебя, хорошего человека. Внешне он даже по духу близок тебе. Но пойми, что ему не интересно, как живет стрелочник и что думает лифтерша, ему наплевать, что твоя жена беременна или что твой ребенок заболел коклюшем, хотя все это наплевательство мещанин скроет за любезной улыбкой и тактичным вздохом. Он настолько хитер, что умеет сочувствовать. А на самом деле ты для него — нуль. Мещанство — это воинствующее равнодушие к миру, к людям, к войне, кроме самого себя.

Я слишком горячился, и поэтому ребятам расхотелось спорить. К тому же я все время смотрел на Леху Забурина, и во взгляде этом, наверное, угадывалась новая вспышка.

Но все равно я был доволен разговором настолько, что решил надеть чистую рубашку и вымыть сапоги. Я уже давно заметил: в пасмурную погоду и после хороших разговоров люди любят переодеваться в чистое.

6

Валька велел помочь Ленке съездить на ферму за молоком. Я тихо обрадовался, потому что она в последние дни совсем не замечала меня и рассеянно здоровалась по утрам.

Волга мирно шагала по вечернему полю, все норовя забрести в сизую пшеницу. Телега поскрипывала легонько и жалобно, как сто лет назад. Сиреневые шишечки подорожника задевали спицы. Ленка лежала на телеге, закрыв глаза. Я не решался говорить. Знал и чувствовал, что надо что-то сказать, но не решался. Потом хотел сказать о моей любви, но она могла обидеться за тысячное повторение одних и тех же слов.

Так и молчали до фермы. Погрузили бидон с молоком и возвращались по темной ночной дороге, пахнувшей остывающей пылью. Я не оборачивался к Ленке и смотрел на звезды, на поле, хотя ничего там не видел. Распряглась Волга. Я долго не мог приспособить попрочнее дугу к оглоблям, она никак не проходила в уши гужей. Кое-как мне это удалось, но через несколько минут Волга встала, стряхивая упавшую дугу. Так повторилось раз десять. Я вспотел и представлял беспросветные, оставшиеся до барака километры.

Вдруг Ленка позвала меня. Я подошел, она обняла меня и поцеловала в мокрый лоб.

— Валерка, ты любишь меня?

— Да.

— Ну, сделай, чтобы я навсегда поверила...

Я поцеловал ее теплые, пахнущие полем губы.

— Валера, а хочешь, я поверю в твою любовь? Совсем, совсем поверю? Вот сейчас?

У нее была горячая шея и щеки жаркие от прилившей крови. Я вдруг испугался и растерянно пробормотал: «Н-но... Ленка»...

Она замолчала, а потом спрятала лицо в сено. Я стоял понуро, как Волга.

Ленка поднялась, отряхнулась и спрыгнула на дорогу. И пошла к бараку одна. Я до-

гнал ее и сказал, что люблю до самоубийства. Она шепотом, чтобы скрыть слезы, дохнула в лицо:

— Ты ничего... Ты... Даже лошадь запрячь не умеешь! — вдруг крикнула она и побежала по дороге.

А я остался и не стал запрягать Волгу и не повез ребятам молоко. Я лег в сено, где недавно была Ленка и долго, противно плакал.

Где-то было написано, что большинство людей очень поверхностно живут. Не запоминают станции, мимо которых проезжают, людей, встречавшихся на проселках и в городах, собственных чувств, вызванных грозой, или приютившейся в лесу пчелиной поляны.

В написанном еще утверждалось, что происходит это от чрезвычайной самонадеянности людей: они рассчитывают снова попасть на ушедшие станции, на пчелиные поляны, забывая о единственной данной им жизни.

А ведь если бы мы всегда об этом помнили, то не ссорились бы с женами, с товарищами, не подличали бы и не лгали, очищая себя мыслью о кратковременности прекрасной жизни.

И я вдруг с необычайным восторгом и волнением догадался, что когда-нибудь буду вспоминать об этих днях, как о самых счастливых, а о Ленке буду думать светло, с болью, яростно жалея, что она не повторится.

Мне стало легко жить после таких мыслей, мне стало вольно, как птице, летавшей надо мной. И от возникшей радости я долго сидел, не желая очнуться. Потом встал и взялся за вилы и не заметил их тяжести.

Я был один у силосной ямы, хрустко входили вилы в зеленую и сочную плоть кукурузы. Железные пальцы не успевали стряхивать зеленую кровь — так билась во мне жадность к работе.

Пришли деревенские девки на помощь и встали рядом со мной. Их жаркие груди под белыми и красными майками тоже наполнила тугая и неукротимая сила, заставляющая нас так ласково и повседневно переделывать землю.

Мы работали, и взволнованная кровь подсвечивала изнутри щеки, руки твердели от ее благодатной тяжести. Спины наши сверкали от солнечных брызг пота, и его соленая крепость благоухала над нами.

Тракторист Сеня на своей черной машине пружинил на высокой зеленой горе, поднятой нашими руками, а мы в это время отдыхали. Губы у девок припеклись от солнца и от будущей счастливой уверенности в любви. Они смотрели на меня, и густая пристальность их глаз смутно и сладко тревожила меня.

Я думал о наших ребятах, пожелавших работать на целине. О Вальке Капустине, о Степе Лохтенко, о Вовке Горелове. И прежняя воодушевившая меня догадка зябкими мурашками радости прокатилась по спине. Я представил, что мы еще не раз будем вспоминать о зеленом дожде кукурузы и его летнем влажном запахе. Будем рассказывать о целине серьезно и разве чуть приукрашивая. С излишним восхищением будем говорить о железном характере Вальки Капустина, будем в лицах показывать, как он до матерщины доводил тракториста, не отпуская его на обед; с неумеренным юмором вспомним о третьекурснице с биофака Фире, маленькой, тоненькой девчонке, заваленной по горло в кузове газика водопадом кукурузы, как она плакала от испуга, а мы безжалостно хохотали, выдергивая Фиру, как редиску.

Мы тысячу раз будем вспоминать об этом и каждый раз будем пьянеть от нежности друг к другу, от запаха работы, сделанной вместе.

Я думал также о Лехе Забурине, который работал на другом поле. Он казался мне не очень плохим человеком, потому что солнце вытапливало пот и из его спины...

7

Возвращаясь с поля, я встретил пьяненького дядю Мишу, приставленного к нашей бригаде учетчиком. Дядя Миша был сед и сутул и ходил в древней телогрейке, пристукивая деревянным метром-циркулем. Пьяненький учетчик запричитал, увидев меня:

— Сморился-то ты как, миленький. Дай я тебя поцелую, работничек ты мой. Я же расчмокаю тебя с удовольствием. Бредешь вот ты, мечтаешь, а мне и радость на тебя взглянуть.

Дядя Миша умильно покачивался передо мной. Он показался мне добрым и мягоньким от старости и приятным из-за моего хорошего настроения. Дядя Миша захихикал и потянулся на цыпочках к уху:

— А ты, чай, землячок мой, а? Поди, из Чебоксар, а? Миленький! Да, конешно, я тебя видел там. Ну, признавай старика...

Мне не хотелось обидеть его, и я согласился родиться в Чебоксарах.

— Хе-хе. Так я ж для земляков-то все сделаю. Все-всешеньки. Ну-ка, давай ухо

ближе... Ты, миленький, на ямы переходи, где волокушами с машин травку-то сдергивают... Хе-хе... А машинешек я тебе и прибавлю. Свалишь три, напишем четыре... Студентик ты миленький. Заработать тебе надо, понимаю же. А мне, старику, шкалик, да и ладно будет...

Дядя Миша тяжело дышал в ухо и больно толкался циркулем. Я молчал, не обижаясь на пьяные, сумбурные слова.

— Да ты не качай головушкой-то, не бойся ничегошеньки! Голубчик Лешенька не побрезговал стариком-то, уважил...

Старик тупо и невинно смотрел на меня. А я уже понял, что пьяненькая, умильная откровенность его — чистейшая правда...

Я бежал по степи к бараку, и свинцовые шарики колотились в висках. Я не знал, что буду делать, но хотел скорее попасть к ребятам. Я не психовал и не ярился, узнав о новой Лехиной подлости, а почувствовал себя пусто и холодно, как при прыжке с трамплина. Тоскливо было и от мысли, что Леха так пошло и заурядно решил сподличать. Но все же это было похоже на него: легко работается, легко деньги достанутся. Все для собственного удовольствия.

Запаленный, во взмокшей рубашке, я постоял у барака, отдышался.

Когда я вошел, Валька Капустин сочинял «Молнию» о баснословном перевыполнении нормы студентом Лехой Забуриным. Тот, смиренный и благостный, лежал на нарах. Он отвечал на расспросы ребят тихим, слабым голосом уставшего победителя. Он даже наверняка был искренне доволен сейчас. Леха и не думал, что мне может встретиться пьяненький учетчик дядя Миша.

Я позвал Леху из барака, он быстро и с охотой соскочил с нар, потому что хотел помириться.

— Леха, договоримся не корчить изумленных рож. Я только что встретил дядю Мишу и... — у Лехи на скулах выступили красные пятна, и он печально посмотрел на меня, — и дядя Миша соизволил все рассказать.

— Черт с ним, с дядей Мишей! — злобно и негромко заговорил Леха. — Черт с ним! Но если бы у совхоза было больше машин, я бы и без его приписок сделал много, и тогда бы вы, особенно ты, не орали: ах, этот хитрец Забурин! Ах, этот прощелыга!..

— Леха, не ври. Не выкручивайся хоть сейчас. Об этом я молчать не буду...

Леха в лоб спросил:

— Почему ты так сделаешь?..

— Потому что не хочу больше лгать.

— Не хочешь или не можешь?

— А какая разница...

— А если все-таки я скажу, что дядя Миша врет?

— Брось. Валька докопается.

— Тогда что мне делать?

— Откуда я знаю...

И я отвернулся от Лехи. Потом он попросил:

— Ну, Валерка, вот честное слово — это последний раз. Веришь?

Мне стало жалко Леху:

— Все равно я расскажу, Леха...

8

Мы судили Леху на другой день. Он немного побледнел, держался вяло и спокойно. Я был главным свидетелем, а поэтому выступал первым. Рассказал, как встретил дядю Мишу и что узнал от него.

Леха согласился, что да, рекорд вчера он установил дутый. Почему он это сделал, отвечать не будет.

Всем передалось вялое спокойствие Лехи, и никого не задели слова, что он будет молчать. Вовка Горелов, например, сказал:

— Мы можем вести протокол и четыре часа говорить о наплевательском отношении Лехи к коллективу. Мы можем долго стыдить его, и я вижу, тебе, Валька, не терпится это сделать. Но подожди.

Мы можем его стыдить и даже потом написать в нашу многотиражку следующую цитату: «Забурин тяжело переживал осуждение товарищей. Ему было нелегко, но он исправился».

Но ведь за совершенную подлость как-то надо рассчитываться. Суд всегда наказывает. А стыд перед товарищами — это еще не наказание. Это только нравственная прелюдия к расплате, которая должна быть так же материальна, как и подлость. Надо, чтобы Леха уехал с целины, а в вузе доразберемся...

Валька Капустин был прокурором, и он сказал:

— Ты, Вовка, говорил неверно. Мы коллектив, и мы отвечаем за Леху. Мы должны разобраться. Леха, ты действительно не будешь объяснять, почему поступил подло? Не будешь? Ясно. А что это подлость, ты согласен? Согласен. А с предложением Горелова тоже согласен? Тоже?! Тогда я ничего не понимаю, — рассердился Валька и сел.

Девчонок смутило и разжалобило Лехино нежелание говорить. Фира сказала:

— Подождите, ребята. А почему он отказывается отвечать? Может быть, у него есть серьезные причины для этого? Леша, а об этом-то ты можешь сказать?

Леха ответил:

— Мне просто не хочется, Фира. А причин особых нет. И мне все равно, что вы решите. Вовка правильно говорил, что меня надо отправить...

— Это не выход!..

— Почему? Чего еще может быть хуже?

— Факультетское собрание!

— Исключат...

— Но он же все-таки с нами учится!

— Ты слышишь, Леха? — спросил его Валька Капустин.

— Слышу.

— Они говорят правильно.

— Правильно.

— Ну так что же ты молчишь?! — закричал Валька.

Леха пожал плечами. Суд остановился в тесном тупичке. Никто не знал, что делать. И тогда снова сказал Вовка Горелов, очень умный парень с нашего курса.

— Учтите, что простить гораздо легче, чем наказать. Вот личные свои обиды мы почти никогда не прощаем. А Леха же лично обидел каждого из нас. Понимаете? Нет, нет, не молчанием. А тем, что легко согласился на подлость...

Так Леху Забурина выгнали с целины. Я пошел провожать его до попутки по великолепной и чистой степи. Леха не возражал, и мы молча думали друг о друге.

— Леха, почему ты все-таки молчал?

— Я уже говорил тебе, что ты дурак. Все очень просто. Если бы не Вовка, я бы остался на целине. Вы бы погалдели, а я бы помолчал. И все бы успокоились. Но Вовка разгадал меня...

— Леха, неужели ты так думал?

Он не ответил, и снова стало слышно, как махрово скользит о сапоги репейник и где-то, невидимый, летит самолет.

Мы остановились у сопки, и я спросил:

— А что ты думаешь обо мне?

— Ничего хорошего, — ответил Леха, поправляя рюкзак и, не протянув руки, пошел к проселку.

Я окликнул:

— До свидания, Леха! — но он не обернулся.

Какая грустная и пыльная полынь под ногами. Я понял хорошо последние Лехины слова. Он хотел сказать, что я ничуть не лучше его. И это было справедливо. Я, видимо, не имел права продавать Леху Забурина. Ведь я мог с самого начала, когда Леха только начинал врать, поступить, как сегодня, и тогда он не сказал бы таких прощальных слов. Ведь я врал его маме, Анастасии Ивановне, знал, что он врет, и молчал. И если разобраться, лгал на сегодняшнем суде, где меня должны были бы судить вместе с Лехой. Конечно же, лгал! Не сказал о посылке и о прежних сомнениях. И вот Леха уехал, а я остался.

Если бы я верил в бога, я бы помолился. Если бы хватило духу, что-нибудь сделал бы с собой. Но я спокойно стоял на сопке и видел, как далеко уже шагал Леха Забурин.

Пусть у человека всегда имеется возможность, забрезговав скверно прожитыми годами, начать с любой секунды жить по-другому. Пусть. Но меня это не утешало...

9

После многих-многих дней, в которые Ленка не говорила даже «здравствуй», я решил увидеть ее по-настоящему: один на один. Я отпросился у деревенских девчонок, работавших вместе со мной у ямы, ровно на полтора часа, по личному делу.

Я думал сказать Ленке, что глупо и совсем никому не нужно наше молчание, что я ведь действительно ее люблю и пусть она выходит за меня замуж. Я буду работать грузчиком на вокзале и буду выписывать из Крыма цветы, я буду всегда, везде любить только ее.

Ленка должна мне поверить, и тогда я стану лучше думать о себе.

У барака Ленки не было, и я пошел прямо на кухню. Там Ленка улыбалась белокурому Косте.

Я закричал истерично и безнадежно:

— Ты шлюха, проститутка! И ты сволочь, Костя! Я вас ненавижу! Я вас убью!

И упал у порога кухни, крича еще что-то и размазывая кровь с разбитого лба.

Меня поднял Костя, дал воды и тихо сказал:

— Но я ее тоже очень люблю...

Я кивнул головой и пошел обратно, на работу. Этот день никогда не кончится. Я никогда не пройду эту дорогу. Я никогда больше не узнаю, чему смеется и о чем думает Ленка...

Монолог девушки

1

Терпеть не могу проезжие эстрады. Соберут столичных халтурщиков и — давай «удивлять провинцию». После их концертов я чувствую себя обманутой и злой. Как после глупой шутки на дне рождения: принесут громадный сверток, разворачиваешь, разворачиваешь и доберешься, наконец, до маленькой карамельки. Зло берет страшное, а прикидываешься веселой — на шутки, видите ли, не обижаются.

А Валерка любит эстраду. И чуть ли не силой тащит меня на каждый концерт. Последний раз, кажется, в мае, у меня было скверное настроение и я ругала себя, что все-таки согласилась пойти в филармонию. Я капризничала, а Валерка виновато и неудобно сидел рядом. Иногда он забывал о моем хмуром виде и смеялся шуткам лысого конферансье. Потом спохватывался и усиленно морщил лоб. Мне стало смешно. К тому же у этой эстрады была хорошая певица. Она была не очень знаменитая (на афишах не было даже имени), но мне понравилась. Она пела грустные песни просто, будто сидела у окошка или на скамейке в саду и уютно грустила о непришедшем любимом, об увядших цветах и еще о чем-то незапомнившемся.

Мы тоже загрустили, и мне захотелось заплакать, но было неловко это сделать среди незнакомых. И я сдержалась.

А по дороге домой, в темном переулке, где вместо асфальта лежали старые каменные плиты, я заплакала. Валерка расстроился, потому что хотел в этом переулке целовать меня и объясняться в любви. Он стал гладить мою руку и говорить, как маленькой девочке: «Ну, чего ты?.. Чего ты?.. Успокойся, все будет хорошо», — хотя и не знал, из-за чего я плачу.

Меня расстроила красивая проезжая певичка. Я плакала, что у меня нет такого золотистого платья, что нет такого задумчивого и приятного голоса и что мне никогда не будут так хлопать люди, загрустившие по первому ее желанию.

Я ничего не могу. Мне двадцать лет, и в это время мой отец уже был машинистом паровоза, а моя мама нянчила Генку. А я учусь и не знаю: получится из меня преподаватель литературы или нет. Наверное, даже сто человек на земном шаре не знают о моем существовании.

Вот и выходит жизнь странной и плохой: у меня нет никаких талантов — ни землю пахать, ни выступать с эстрады. И я еще не знаю, какой буду учительницей. А хочется, ужасно хочется сделать что-то непременно, сейчас же. Может быть, уехать в деревню и выйти замуж за тракториста? Нарожать здоровых крепких мальчишек, они бы качались у меня в плетеных зыбках и росли вольно, как трава. А я бы по утрам ходила по лебеде доить коров, руки бы у меня потрескались от земли и труда, носила бы косынку в синий горошек и любила бы своего тракториста.

А может, вот-вот придет любовь — только не хочу так называемой юношеской, с бесконечными хождениями по кино, объятиями в темных переулочках, чтением чужой лирики и вечным выяснением: кто кого и как сильно любит. Это ерунда! Не хочу такой. Хочу с болью, с молчаливым мужеством, с длинными разлуками и короткими, чистыми, как морозное утро, встречами.

Правда, говорить об этом никому нельзя, потому что я студентка и должна учиться, а не думать, какая из меня получится женщина. А вдруг мой главный талант — быть женщиной? Хотеть много-много ребятишек от сильного, молчаливого и застенчивого человека? Растить их, и бороться с разлуками, и радоваться встречам?

Я все чаще так думаю. Особенно по утрам, когда груди смешно вздрагивают от холодной воды и я застываю над умывальником от предчувствия непонятного счастья.

Но об этом не принято говорить, и я болтаю с девчонками о разной чепухе и кажусь им легкомысленной, хотя убеждена, что девчонки думают про себя так же смутно и требовательно, потому что хотят стать женщинами.

2

Совсем недавно я снова плакала. Мы ехали на целину, и Валерка отстал от поезда, побежав нарвать мне камышей.

Мне нисколько его не жалко, потому что настоящий парень никогда бы так глупо и бессовестно не отстал. У настоящего парня все бы получилось хорошо и ловко.

Считается, что мы с Валеркой дружим, или, говоря словами Вальки Капустина, «керосиним друг с другом». Валька всегда грубит с нами, но я, например, знаю, что он каждую неделю пишет письма в колхоз, где учительствует его жена Даша. Словечко «керосинить» — очередная Валькина грубость, но мне оно кажется очень точным: что-то дымное, душное и неприятное.

А вообще — Валерка неплохой человек. Он добрый, симпатичный, и у него черные брови. Но этого еще так мало! И уж если говорить, чего все-таки доброго я сделала в жизни, так отучила его глубокомысленно философствовать, еще не выйдя из зала после новой картины, и правильно держать локти во время еды. И вообще он стал заметно сдержаннее...

Но так глупо отстать!.. Совершенно непростительно... И все потому, что Валерка тоже ничего не научился делать в жизни. Умеет только говорить. Хотя... Разве он один? Весь наш курс смертельно болен этой болезнью. Говорят о жизни, о литературе, о том, что они сделают, чего создадут, как поступят — и ни миллиметра дальше!

Слава богу, хоть на целину поехали. Все-таки серьезное, настоящее дело...

Я устала думать и думать и поэтому потихоньку заплакала, забившись в самый угол вагонных нар. Меня заметила Клара, наша девчонка, с толстыми деревенскими косами, с печальными влажными глазами. Заметила и пересела ко мне. Я уткнулась в ее плечо, доброе и мягкое, и легко выплакалась.

3

Ветреный и зыбкий степной рассвет встретил нас в Абакане. Из совхозов пришли машины, и со всех грузовиков мощные, как на подбор, дядьки в брезентовых плащах и телогрейках стали выкликать:

— Медицинский!

— Политехнический!

— Педагогический!

— Университет!

Это — мы. Наши ребята беспорядочно заторопились к грузовику. Я чего-то задумалась на своем чемодане. Ко мне подошел рослый парень в синем свитере, в гимнастических, на штрипках, брюках и в удивительно измазанных мазутом кедах.

— Раз уж опоздали, садитесь в кабину.— И парень взял чемодан.

Шофер, этот парень в синем свитере, оказался очень вежливым человеком. Он попросил разрешения закурить, убрал с моей стороны нелепо дрыгавшегося Буратино и поспешно закрывал хлопавшую на ухабах крышечку маленького ящика, в котором я увидела граненый стакан, какую-то книжку, обернутую в газету, и несколько пачек «Примы».

Я попробовала задремать, но ничего не вышло, потому что очень трясло. Потом повернула к себе продолговатое зеркальце и поправила волосы, внезапно подумав, что тысячи женщин до меня, в кино и в жизни, вот так же поправляли волосы в различных автомобильных ситуациях. Безотчетная традиционность жеста приобщила меня к этим тысячам женщин и немного развеселила.

Парень заметил мою улыбку:

— У вас чудесная улыбка...

Я пожала плечами.

— Не сердитесь. Я серьезно говорю. Вы действительно вся чудесная... — сказал парень грустно и не глядя на меня.

— Подождите. Вы ничего не говорите. Всего несколько минут. Даю честное слово, что я давно думаю о вас, вы уже давно в этой кабине. Знаете Кызыльский тракт? Это шестьсот километров за баранкой, как канатоходец в цирке. Пропасти и повороты. Там много памятников нашим ребятам. Руль над могилой, как пропеллер над погибшими летчиками. Но это к слову.

Просто я стал думать о вас на Кызыльском тракте. Вы всегда молчали, а я говорил.

Сначала я думал, что встречу вас в Кызыле, а когда возвращался в Абакан, думал, что найду вас там.

Это все смешно, но это так. Я отказался от всех других рейсов, я ходил только в Кызыл. Чтобы пропасти и повороты напоминали о вас. А ледяную дорогу на Джагайском перевале я совсем перестал бояться.

И сегодня, наконец, вы в моей кабине. Честное слово, это вы! Не спорьте, я знаю Я докажу, что это вы...

Я смотрела на парня, на его светлые, как желуди, глаза, на чуб, блестевший, как елочная канитель, на упрямый подбородок с резкой впадиной посредине и понимала, что он говорит правду. Ту самую, которую я так ждала и с которой так неожиданно встретилась.

Я не знала, что говорить и думать из-за этого удивительного события. Мне было не по себе, и я опустила стекло и услышала, как наши ребята отчаянно веселятся на ветру:

> Приехал Федя на шарабане,
> Он ищет счастья в чужом кармане...

Я подняла стекло и спросила:

— Как вас зовут?

— Костя.

— А меня Лена...

4

Валька Капустин назначил меня поварихой. Я долго не соглашалась, но он сказал:

— Разносолов никто требовать не будет. Щи всякие вари, каши. Если работать как следует будут, все съедят.

Видя, что глаза у меня покраснели, Валька сердито засопел, зачесал затылок и утешил:

— Я тебе наряды хорошо буду закрывать. Заработаешь не меньше других. Думаешь — целина — так это сплошное зерно и подвиги? Щи нам тоже нужны. А ты девчонка быстрая, значит, справляться будешь...

В помощницы прикрепили Фиру Медведеву, тихонькую, хрупкую девочку с биофака. Она носит школьные еще косички и смешные полудетские, полувзрослые сарафаны. У Фиры никогда не было лифчика, потому что груди ее, маленькие твердые яблочки, не нуждались в нем.

Фиру бесполезно было посылать за дровами, к бочке с водой. Она ходила, действительно, как за смертью. Когда я не выдерживала и кричала из кухни:

— Фира! Где дрова?! Что ты с ними делаешь?!

Она объясняла ровненько и спокойно:

— Они, понимаешь, в грязи все. Вот я счищаю.

А когда я требовала воду, она успокаивала:

— Лена, да ты не волнуйся. Тут в бочку сор всякий нападал. Сейчас вот уберу.

Не волноваться я не могла и поэтому как можно скорее хотела хоть в чем-нибудь обнаружить у Фиры талант. Но если она солила суп, то ребята после него выпивали всю бочку, если резала лук, то без крови дело не обходилось, если варила кашу, то ее не то что ложкой, ковшом экскаватора невозможно было разбить.

Я отчаялась и покорно слушала Фирины объяснения. И вдруг талант объявился. Она феноменально быстро чистила картошку. Фира могла в это время смеяться, петь, рыдать и делать еще тысячу всяких вещей, но из-под ножа все равно вилась серая бесконечная стружка.

Я изумилась, но Фира тихонько и скромно сказала:

— У нас, знаешь, какая семья? Картошки за зиму десять кулей съедаем. Вот и научилась...

Больше я Фиру не беспокоила и всячески расхваливала ее Вальке Капустину. Он не верил, но говорил:

— Смотри сама. Тебе с ней возиться...

А Фира часами сидела на чурбачке у большого чугуна, и часами мелькали ее руки. Она походила в эти минуты на мою бабушку, которая изумительно быстро вязала носки и варежки. Только бабушка всегда мурлыкала какие-то старинные песни, а Фира молчала, и я замечала в ее глазах, невинно прозрачных и добрых, то испуг, то улыбку, то спокойное и важное раздумье.

Меня страшно интересовал этот взгляд, и я спрашивала:

— Фира, ты о чем сейчас думаешь?

Щеки ее розовели:

— А так. Обо всем сразу. Ничего определенного.

Тогда уж я ставила вопрос ребром:

— Наверное, о Степе Лохтенко?

— Что ты?! — пугалась Фира и снова надолго замолкала...

Я люблю смотреть, как едят наши ребята. Они приезжают в два часа, черные, охрипшие от долгого молчания. Моются и сразу же — за стол. Я не вижу, как они работают, но, судя по разговорам, неплохо. Разговоры однообразны: сколько сделано до обеда? Сколько вычищено в кошаре, сколько погружено и уложено силоса? Мне это однообразие нравится: наконец-то разговоры о деле, которое уже сделано. И я смотрю на ребят. Валька Капустин ест равнодушно, добросовестно, съедая все, что ему принесут. Видимо, опять раздумывает о нормах, о нарядах, об авансе, о том, что нужно вызвать «автолавку» и съездить за молоком. А может, о чем-нибудь еще...

Вовка Горелов интеллигентно крошит хлеб на мелкие кусочки и смотрит на тарелку с супом, как на шахматную доску. Анализирует картошины, капусту, мясо. В общем, едок-аналитик. Степа Лохтенко ест по-крестьянски аккуратно, ложку несет, поддерживая хлебом. Крошки за собой убирает и относит лошади.

На Валерку я смотрю с гордостью: моя выучка. Он не торопится, локти на месте, взгляд в одну точку не уставлен. На него, ей богу, приятно глядеть. Он устает, бедный, в последние дни, но я его не жалею, не разговариваю с ним. Пусть закаляется. А Валерка часто спрашивает глазами: в чем дело? Но мне пока не хочется ни отвечать, ни разговаривать.

По-прежнему предупредителен Костя, но меня эта предупредительность начала раздражать. Молчит, как полено, постоянно следит за мной: куда пошла, что делаю. И чуть чего — поможет. Воду принесет, дров, соберет тарелки со стола. По-моему, есть что-то мелковатое в таком внимании, вернее, в ухаживании. Слово мерзкое — у-ха-жи-ва-ние. Бр-р! Вот когда ухаживают, тогда и лебезят по

мелочам. А настоящее чувство — громадно и страшно, как гроза.

Я думаю о молчаливом Косте: полно, уж он ли говорил мне прекрасные слова, когда мы ехали из Абакана? Так далеки они от сегодняшнего будничного шофера, у которого почему-то стал воспаленным и усталым взгляд...

Рассказывали, что Костя утер нос нашим ребятам в кошаре, показав, как надо работать. Что ж, естественно. Здоровый парень, привык работать. Ничего удивительного. Просто работящий молчун...

Обеды портит Светка Крыленко. Она за что-то не любит меня и всегда морщит свое исключительно румяное лицо, корчит великого дегустатора:

— Суп-то у тебя, Лена, не уварился. И ты чересчур перца много кладешь.

Валька Капустин вообще-то пресекает подобные речи, но все равно меня они злят. Я не люблю Светку Крыленко. Она беленькая, курносенькая и вечно строит из себя этакую простушку-хохотушку. Играет в сорванца-мальчишку. Чуть что — хохочет. Не смешно, все равно хохочет. Ей говорят не делай — она делает. И опять со своим бодрым смехом. Ох, как она мне надоела, эта Светка!

А в дождь я не люблю не только Светку, но и всех наших ребят. В них оживают из-за сырости говоруны, и они до изнеможения спорят друг с другом, капризничают и без конца толкутся на кухне. Советуют: что да как сварить, да чего хотелось бы. Сколько могу, я держусь, а потом кричу и плачу из-за этих дурацких советов. Ребята обижаются: слова, мол, не скажи. Но с кухни не уходят.

Дождь действует на наших ребят еще как красный плащ на быка. Из-за любой мелочи — они в ярость. Неделю назад приезжал к нам начальник автоколонны Максим Петрович. Добрый такой, полный дядька. Меня спросил: не надо ли еще дров подвезти, пошутил, что кухня сейчас — единственно сухое место на земле, и зашел к ребятам вместе с молчащим Костей. Слышу вдруг, шум там поднимается. Оказывается, Вовка Горелов набросился на Максима Петровича за то, что тот «здравствуйте» не сказал.

Парни сидят, ругаются друг с другом и даже не постыдились на незнакомого человека наброситься. Он под дождем намок, по грязи намотался, тут же не до «здравствуйте». Не люблю я за это ребят, как и Светку Крыленко.

5

За ближней сопкой начинался вечер, неясный, грустный и влажный. А у нас еще было светло — только-только побежали рассеянные тени — и можно было разглядеть божью коровку, выбирающуюся из колеи. В светлом небе слабо белели звезды — я хорошо их видела, покачиваясь на старенькой дребезжащей телеге. Из-за толчков звезды все время дрожали, как радужные светлячки во сне. В бидоне лениво и широко плескалось молоко и где-то за сопкой, в вечере, непонятно звенела темнота.

Валерка сидел рядом с бидоном, свесив ноги на одну сторону телеги. Он курил папиросу за папиросой, и по его напряженному затылку, по неловко сгорбленной спине было видно, что он ждет не дождется, когда я заговорю. Сам Валерка начать не решался. А я лежала на сене, смотрела на звезды и улыбалась. Я вспоминала, как мы ходили с Валеркой в кино, как перекидывались на лекциях записочками, как он страдал и слонялся по залу на танцах, потому что я запрещала ему приглашать себя... Еще я вспомнила о темных проулочках, о цветах, которые дарил мне Валерка, о разных хороших словах, которые он говорил.

И я подумала, что Валерка преданный и милый, чернобровый. И не надо мучиться, слушать шоферов, воображать всякие страсти — надо просто и спокойно верить в Валерку. Попытаться сделать его сильным, достойным любви человеком.

Вечер перебрался и на эту сторону сопки, спрятал сначала пшеницу и далекие поля, а потом и нас, заставил ярче и грустнее биться звезды. Несколько раз распрягалась Волга, и Валерка терпеливо мучился с ней в темноте. Его силуэт смутно проявлялся в случайном свете звезд, напоминая о чем-то хорошем, давнем и неуловимом. Я позвала его:

— Поцелуй меня, Валера...

Я знала, что вечер, степь, звезды, запах сена — это Валерка и его любовь ко мне. Поэтому я сказала:

— Хочешь, я тебе совсем-совсем докажу, что верю в тебя?

Я увидела, как у него расширились глаза и дрогнули губы. Он чуть слышно сказал:

— Н-но... Ленка...

Глухое, темное безразличие окружило меня, тягучее бессилие потушило свет далеких звезд, погасило звуки вечера, который я так хотела запомнить из-за Валерки и моей преданности ему.

Я не прощу этого Валерке. Я оставила его в степи и пошла домой. Теперь самое главное — не заплакать...

И все-таки я плакала. Опять плакала. Долго сидела на том самом чурбачке, на котором Фира чистит картошку. Я плакала, и пришел рассвет... Я смотрела невидящими глазами в окно и думала о том, как Валерка обидел меня.

Окно закрыла чья-то тень, а потом на кухню вошел Костя. Он не рассчитывал застать меня здесь и виновато, растерянно затоптался у порога:

— Я... тут... попить зашел...

Он увидел на моих щеках слезы и постарался стать спокойным. Негромко сказал:

— Чего же плакать-то? Еще суп пересолите... Вы подождите, я сейчас вернусь.

Я услышала, как хлопнула дверца кабины, как звякнуло кольцо на крышке бочки. Костя нес воду:

— Я не знаю. Но, говорят, помогает, когда слезы...

— Спасибо. Не хочу.

— Да вы попробуйте. Это же живая вода, — Костя чуть улыбнулся, — из кубка Зевса...

Только сейчас я разглядела, что вода налита в темно-лиловый кубок-лилию. На кубке были вырезаны какие-то древние люди, не то танцующие, не то убегающие от погони.

Костя спокойно смотрел на меня:

— Выпейте...

— Откуда это?

— Из кургана.

— Да нет. Откуда вы взяли?

— Из кургана...

Я взяла кубок и отпила глоток. Вода пахла утром и родником. Кубок был холодным, гладким, а быстроногие древние люди убегали от погони, шкуры на спинах мужчин походили на крылья, а тугие животы женщин глянцевели от ветра.

Мне не хотелось оставаться одной, не хотелось идти в комнату девчонок и там снова вспоминать неприятное:

— Костя, расскажите о кургане.

— На нем полынь, лебеда и гнездо маленькой птички. Он совсем недалеко и, если хотите, поедем посмотрим.

Я почувствовала, что Костя очень хочет, чтобы я согласилась.

Мы поехали. Да, курганом была та сопка, за которой начинался вчерашний вечер. Сейчас она дымилась от рассвета, и мне показалось, что за ночь у нее выросли на вершине седые волосы.

С другой стороны в сопку врезались две небольшие террасы, аккуратно застеленные бумажными мешками.

— Вот. Здесь я и нашел, — Костя смотрел на курган. — Если еще покопать, еще что-нибудь найдется.

— Так это вы копали?!

— Я. Только грамотно копать не умею. Несколько случайных книг по археологии прочел да про остров Пасху. В Хакассии много роют. И я попробовал...

Я все поняла:

— Костя, вы копали по ночам? Вы не высыпались и у вас воспалены глаза? И вы устали.

— Да нет. Не очень. Обыкновенно.

Костя посмотрел на свои ладони:

— Я забыл тогда сказать... в машине. Что говорить-то не особенно могу. А те слова я просто выучил наизусть, потому что часто повторял. Но я еще и Атлантиду откопаю... Для вас...

— Поедемте, Костя...

Сопка уже блестела от росы, и было невыносимо грустно, что куда-то бегут быстроногие древние люди на кубке, что так несоизмеримы радость и печаль и что они неизменно должны идти рядом.

6

Фира Медведева сегодня забастовала. Она сказала:

— Лена, ты не сердись, пожалуйста, но я не хочу больше чистить картошку.

— А что ты будешь делать?

— Я пойду на силос...

Мне смешно на нее смотреть, на ее косички, на худенькие руки с большим родимым пятном на левом плече. И я смеюсь.

— Ты же пионерочка, Фира. Ведь здесь кукурузный лист и тот больше тебя. С тобой что-нибудь случится обязательно или под машину попадешь, или в кукурузе потеряешься.

Фира сжала кулачки, голосок у нее зазвенел:

— Ты не смейся, Лена. Мне очень надо работать на силосе. Вот я не скажу, зачем, а надо. Понимаешь, Лена?

Я не понимала и посоветовала Фире поговорить с Валькой Капустиным.

Фира поджала губы и застыла на своем чурбачке. Она иногда что-то шептала, но я не могла разобрать.

После ужина Фира остановила Вальку:

— Валя, назначь меня на силос. Очень прошу...

Он откровенно захохотал:

— Там же, Фирочка, машины, а не детский сад. Нянек там нет.

Фира, как днем, упрямо и звонко выговорила:

— Как не стыдно, Валя. Я же очень прошу. Я же знаю, что там тяжело будет. Значит, мне действительно надо. Если, Валя, не поставишь на силос, я сегодня же ночью уйду на станцию.

Валька растерянно смотрел на меня, а я только пожала плечами.

— Ну ладно, — сказал Валька, — как хочешь. Ну-ка, ну-ка, не вздумай реветь. Завтра пойдешь на силос.

— Я и не плачу, — счастливо прошептала Фира, сморгнув две громадных слезины. — Это у меня братишка всегда говорит, что у него слезки на колесиках. А я совсем-совсем не плачу, — непривычно громко говорила Фира.

Она легонько напевала остаток вечера, не замечая меня. На удивление быстро вымыла посуду, подмела пол и, наконец, великодушно, с щедростью счастливцев, посочувствовала мне:

— Ой, Лена. Как же тебе трудно будет одной. Но ты не расстраивайся. Девочки помогут. Да и я после работы приду, поделаю чего-нибудь. Мне тебя очень жалко, Лена.

— Спасибо, — серьезно ответила я, хотя и так, в общем-то, справлялась одна. Но Фира забыла об этом, она искренне радовалась завтрашнему нелегкому дню. Поэтому нельзя было сердиться и огорчать ее.

В первый же день у Фиры случилась неудача. Она разравнивала в кузове грузовика сыплющуюся из раструба комбайна кукурузу. Вернее, кукуруза не сыпалась, а хлестала тяжелой зеленой струей. Фира бешено сначала тыкала в нее вилами, но быстро устала. Минутку отдыха — и Фира уже по колено увязла в мокром пахучем крошеве. Она с отчаяния принялась разравнивать его руками, но поток опять опережал Фиру. За какой-то круг комбайн, как средневековый инквизитор, закопал Фиру по шею в симпатичную, прохладную зелень. Она отчаянно крутила головой и верещала, пока тракторист не услышал и не полез отгребать Фиру. Она очень просила не рассказывать об этом позоре ребятам, но тот не удержался: уж больно ему смешно было, как «студенточку завалило». Ребята оказались безжалостными и, мало того, что вволю посмеялись днем, продолжали травить Фиру вечером. Они сочинили, что выдергивали ее чуть ли не за косички, а она в это время будто кричала:

— Ой, ой! Сапоги там остаются...

Фира слушала насмешки с каменным лицом, у нее побледнел и заострился веснушчатый носик. Я удивлялась, почему Фира не плачет, и осторожно спросила, когда ложились спать:

— Завтра, может, на кухне останешься?

— Ни за что! Пусть, пусть им смешно. Я и к этому готовилась. Вытерплю.

И Фира уходила по утрам с ребятами в поле. Правда, Валька Капустин переставил ее на ямы и больше Фиру не засыпало. Я уже перестала удивляться Фириной фантастической прихоти — работать на силосе и ее странному упрямству, как Лешка Забурин сделал подлость. Он договорился с учетчиком, и тот приписывал ему лишние, будто бы выгруженные, машины.

Восторжествовала суровость, и мы выгнали Забурина. Это было неприятно, потому что мы вместе с ним учились, и он всем нравился. Но выгнать надо было — с этим тоже все согласились.

Не согласилась только одна Фира. После суда на нашей девчоночьей половине Фира сжалась на нарах в остроплечий комочек и недобро, исподлобья рассматривала нас.

— Ложись-ка ты, спи, — сказала ей добрая ласковая Клара, — хватит бычиться-то...

— Не буду, не буду, не буду! — резко замотала головой Фира. — Как же так? Леша ведь советский человек, такой же, как мы. Ошибся, чего-то перепутал, а ему сразу кричат: подлец, подлец! А он не может быть им, понимаете? Не может. При капитализме не жил, отец и мать — рабочие. Вместе с нами учился. Все вместе с нами делал. И чуть ошибся, мы сразу — в хорошие, а он — подлец. Неправильно это, нисколько неправильно.

— А если воры и при советской власти воруют, так их, что ли, и в тюрьму не садить? — спросила желчная Светка Крыленко.

— Он же не вор, он наш товарищ, — укоризненно поглядела на Светку Фира.

— Твой товарищ человека убьет, а ты все жалеть будешь, да? — начала раздражаться Светка.

— Леша не убьет. Он добрый. Он просто не подумал, что делает плохо.

— Ага. Не подумал и — раз! — в результате подлость. Здорово выходит. Тоже мне, тихоня, разговорилась.

— Ты зачем грубишь, Светка? — строго оборвала ее Клара. — Ты шпаргалила на античке, я уж промолчала. Лето не хотела портить. А если разобраться, это, по-твоему, верх благородства? — Клара совсем рассердилась,

так что ее большие, всегда влажные навыкате глаза стали горячими и сухими.

— Ну-у... Шпаргалила...—протянула Светка и замолчала.

А Фира все думала о чем-то своем, и острые ее плечики все больше и больше съеживались. Она спрятала лицо в колени, замерла, и я подумала, что Фира плачет.

— Ты чего? — погладила я мягкие хвостики-косички.

— Ты знаешь, Лена, — Фира подняла сухое и бледное лицо, — когда я в кукурузе-то застряла, Леша один не смеялся. Он добрый.

Маленькое Фирино сердце молчаливо и безутешно несло тяжесть любви, сжималось от ее космических перегрузок, отстукивало лучшие минуты и сейчас полно печальной веры в них.

Это мне так понятно. Мне так стыдно, что до сих пор я только себе отпускала право на глубину и чистоту сердечных токов, не подозревая, что в каждом соседнем сердце прячется гулкая боль и гулкое счастье.

Ты извини меня, Фира, за эту слепоту.

...Эх, Фира, Фира! И все-таки я не могу простить последнюю мерзкую и истеричную сцену, хуже которой не выдумаешь, сильнее которой Валерка ничем не мог меня оскорбить.

Но это так, к слову, чтобы тебе было не очень обидно и одиноко...

7

Пшеница уже совсем пожелтела, и ребята говорят, что на дальних полях начали работать лафетные жатки. Я хочу как-нибудь съездить туда и посмотреть, потому что никогда в жизни не видела их. Слово «лафет» звучит красиво, с ним у меня связаны представления о гражданской войне и похоронах старых генералов, за долгую жизнь ставших очень заслуженными. В нашем доме жил один такой генерал. Он был на пенсии, и я часто встречала его в магазине, в очереди за молоком и кефиром. Генерал еще поливал анютины глазки на своем балконе и водил гулять внука Петьку. Петька во дворе бегал по лужам, кидался песком и дрался с другими мальчишками.

Дед генерал сидел в это время на скамейке, читал газеты и искоса наблюдал за Петькой. Он не мешал ему вывозиться в грязи, топать по лужам, бесконечно драться, если только драка не заходила слишком далеко, до тех пор, пока Петька не начинал реветь. Тогда генерал вставал со скамейки:

— Петька, пошли домой. Хочешь драться, так не реви, а хочешь реветь, так не дерись.— И Петька покорно шел за дедом.

Мне все не верилось, что такой простой дед был действительно генералом. Но однажды он заболел и умер. В наш дом пришло много военных. Мертвого генерала перевезли в филармонию, и там каждый день до похорон стоял почетный караул из седых расстроенных генералов и седых штатских.

Мы ходили в филармонию с отцом, и он сказал мне, что штатские — это весь обком партии.

Потом генерала хоронили. И на лафете везли его ордена. Много орденов, каждый на отдельной малиновой подушечке. Печально играл духовой оркестр из ОДО, и шла колонна солдат, подтянутая и строгая.

Мне тогда стало жалко генерала, потому что он, оказывается, был боевым человеком, а я его знала только пенсионером. Оказывается, он воевал у Чапаева и потом еще много воевал и за это заслужил, чтобы ордена его везли на лафете и сзади шла колонна солдат.

Я спросила у Вальки Капустина, что такое лафетные жатки, и он сказал:

— Это пароходное колесо плюс маленький брезентовый конвейер и железное сидение для машиниста. Колесо захватывает пшеницу, бросает ее на конвейер, и пшеница идет с него ровным таким валком на землю. Дозревать.

Почему все-таки жатка называется лафетной, Валька не знал, но согласился, что звучит это по-боевому.

Хочу съездить и посмотреть на них, но если не успею, то все равно жатки скоро придут и на наше поле. Уложат пшеницу в валки (смешно: будто уложить волосы), и тогда-то уж ребята встанут на комбайны. Зерно мы все очень ждем, потому что интересно узнать еще какую-то работу, а потом зерно — наша главная цель в этой степи.

Костя тоже ждет зерно и своих товарищей шоферов, которые вот-вот приедут. Он загнал «газик» в тень барака, достал из кабины серый брезентовый плащ и расстелил под машиной. Выложил на цветастую промасленную тряпку разные ключи, плоскогубцы, молоток и большой комок пакли, чтобы вытирать руки от грязи. Как-то ловко и незаметно нырнул под машину и, щурясь, застучал ключами, молотком, всякими гайками. Я вижу, как он хмурится, насвистывает, деловито и смешно оттопыривает губы, продувая гайки. Иногда Костя выбирается из-под машины и из маленького деревянного ящичка достает какие-то блестящие кружочки, резиновые пластинки. Он смотрит на меня и стеснительно улыбается.

Он снова исчезает под машиной, снова хмурится, насвистывает, смешно оттопыривает губы, продувая гайки. А я завидую Косте, его серьезной привычке с интересом заниматься будничным делом. Ну что, действительно, хорошего валяться в такую жару под пыльной машиной и методично ковыряться в разных железках. А у него это получается так осмысленно, с таким вкусом, что хочется немедленно самой заняться какой-нибудь, пусть мало-мальской, работой. Но делать ее быстро, красиво и, главное, — с интересом. Наверное, со смешной лихорадочностью я начинаю метаться по кухне, чищу кастрюли, мою пол, скребу громадным тупым ножом столы.

Так я думала, завидуя серьезной Костиной привычке все делать осмысленно и со вкусом. Он долго копался в своем «газике», потом принес ведро воды и добросовестно вымыл стекла, кабину, колеса. Наломал из полыни веник и подмел в кузове.

Я спросила, для чего он это сделал.

— Так зерно же скоро возить. Надо, чтоб чисто было.

Он подошел ко мне в своей неизменной ковбоечке, сдержанный, спокойный, с силой оттирая паклей большие, красивые, как у скульптора, руки.

— Вы устали, Лена?

— Что вы...

— Скажите, Костя, почему вы всегда такой серьезный? Расскажите мне что-нибудь веселое. Или о чем вы думаете...

— Я же говорил вам, что из меня рассказчик плохой. Но если уж про веселое, так, по-моему, стоит посмеяться надо мной. Молчу, как телеграфный столб, хотя постоянно тянет к вам... Поговорить...

— Вот и чудесно...

— Да... В общем, как вы ко мне относитесь?

— Хорошо.

— И вы помните обо всем?

Мне захотелось немного пококетничать. Я будто бы смущенно улыбнулась и тихо так начала считать:

— Абакан — раз, про Кызыльский тракт — два, про Курган — три.

— Не надо, — попросил Костя. — Все отлично. Я знаю, что цифра четыре — лучшая цифра. Я сам назову ее. Сегодня на вашем вечере.

Он пошел к своему «газику». «Наверное, он предложит выйти замуж, — подумала я. — Даже обязательно предложит. Потому что он же взрослый человек и всякие романтичные недомолвки ему не нужны».

Я почувствовала тревожную размягчающую усталость. Вот, пожалуйста: тебе предложат в полное распоряжение чужую судьбу, а ты...

Я не знала, что отвечу. И даже не потому, что здесь Валерка, и не пережитые воспоминания о нем, а просто никогда в жизни, ничего не приходилось решать серьезно. Говорят: «Как подскажет сердце». Чушь какая-то! Подсказывает голова. И даже в такой несформулированной вещи, как любовь. Джульетта, определенно, думала про Ромео: красивый, мол, нежный парень. Я, мол, к нему хорошо отношусь, приятно с ним разговаривать, целоваться. Но идиоты родители, его и мои, мешают всему этому. А вот когда уж Ромео и Джульетта начали бороться против всякой кровной вражды, вот тогда родилось самое великое товарищество, товарищество борьбы. Не любовники, а навсегда поверившие друг в друга бойцы. Вот как...

Я обрадовалась этой мысли, как встрече со старым знакомым в чужом городе, как первой лыжне на белом снегу, как вспыхнувшему вдруг откровению, о котором подозреваешь раньше, но не осознаешь его. Конечно же! Только поверившие друг в друга бойцы или проще — два человека идут вместе в атаку, в тайгу, в жизнь...

И я крикнула Косте, возившемуся у «газика».

— Ничего не говорите сегодня вечером, ладно?

Он не ответил. А может... Может, Костя собирался сказать что-нибудь другое. А я, самоуверенная дура, уже успела напридумывать бог знает что и успела восхититься собой?!

От безжалостного, стыдливого жара, когда невыносимо противно жить, я не знала, куда деваться.

Но, к счастью, о худших наших мыслях людям ничего неизвестно, и я потихоньку успокоилась, суетясь на кухне над праздничным обедом.

8

Ох, уж этот праздник! Когда мы с ребятами придумали отметить враз несколько именин, первый рабочий аванс и великое торжество по случаю того, что мы еще не расхныкались и ведем себя, как настоящие люди, — все казалось просто: Костя съездит за вином и редкими лакомствами типа колбасы и арбузов в Абакан, а мне в помощь выделят Светку Крыленко и Вовку Горелова, и втроем мы запросто управимся. Первая половина плана осуществилась блестяще: Костя сел за

руль, пересчитал деньги и привез то, что надо.

Вторая же часть операции происходит так: я одна ношусь по кухне, одна бегаю и за дровами и за водой, а Светка Крыленко лежит в тени под телегой. Она, видите ли, обиделась, а поэтому считает, что можно не работать. У-у-у! И я дрожу от злости, но принципиально не хочу заговаривать первой. Элементарная наглость с ее стороны. Все получилось из-за патефона. Среди вороха эстрадных песенок мы привезли пластинку «Вариации Грига». И сегодня Светка захотела хоть часок побыть меломанкой, тонким ценителем классики. Она раз двадцать ставила Грига, ахая и охая в пространство. Но после началось:

— Ты послушай, Ленка, это место! Удивительно!

— А вот это, наверное, фьорды, сумрак, вечер.

Вовка Горелов, понимающий толк во всем серьезном, терпеливо слушал. По-моему, Светка перед ним и выламывалась. Но мне надоело.

— Ах, Светочка, сейчас бы в концертный зал имени Чайковского! Ах, а там бы живой Рахманинов! — сказала я гнусаво и томно. Светкины щеки обожгло кипятком возмущения, она нервно дернула плечами и в скорбном молчании улеглась под телегу.

Жалобного Вовкиного взгляда я не стала замечать, потому что ненавижу, когда до одурения чем-нибудь восхищаются: природой ли, музыкой. Красота, по-моему, разжижается от неумеренных восторгов, а молчаливое поклонение, наоборот, цементирует ее. Конечно, я не очень-то смыслю в классической музыке и всегда сомневаюсь, когда ее объясняют: вот здесь, мол, композитор изображает рассвет, а здесь — грусть по любимой. Мне в этих местах почему-то вспоминаются треугольники, круги, пирамиды, большие и маленькие. Но не в этом дело. Просто не надо ахать над красотой, как над найденным в книжке рублем перед самой стипендией.

Ладно. Пусть Светка дуется и лежит под телегой. От этой несправедливости мне жалко себя. Жалость помогает взобраться на вершины самоотреченности: лежи, лежи, Светка. А потом придешь на готовенькое, каково тебе будет?

Мне нравится так думать.

И поэтому на Вовку Горелова я не злюсь, хотя от него тоже толку мало. Утром он провернул мясо, а потом сказал:

— Знаешь, Лена. Надо как-то оформить этот вечер. Так сказать, в духе традиционного студенческого юмора. Шуточки на плакатах написать, изречения. А?

Вовка, интеллигентно оттопырив мизинцы, поправил очки и ушел сопеть над ватманскими листами.

Часа через три он показал первую продукцию: плакаты со славянской вязью: «Веселие на Руси есть питие», «Подливайте, товарищ сосед!» и «Филиал ресторана «Степь да степь кругом». Вовка, как ученый после открытия атома, довольно посматривал на меня, но я холодно изрекла:

— Академизм, дорогой Вова. Все равно что «По газонам не ходить» и «У нас не курят». Уж слишком скрупулезно ты шутишь.

Вовка нахмурил свой умный лоб:

— Может быть. Может быть, ты и права, Лена. Надо подумать.

Думал он долго. Наконец принес «Двенадцать застольных параграфов». Я успела прочитать только: «О, кзыл шербет!»; «Ты не прав, пьяница» и «Ох, уж эти студенты...» — как приехал Максим Петрович. Его широкое лицо хмурилось, отчего клин подбородка пропадал в тяжелых, нависших складках щек. Нас с Вовкой он едва заметил и сразу приступил к Косте:

— Ты где вчера был? Почему ко мне не заехал?

— Но я же прикреплен к их бригаде! — Костя показал на нас. — За продуктами вчера ездил...

— Мне наплевать, куда ты ездил. Ты прикреплен не к бригаде, а к колонне, которой руковожу я. Понятно?

— Вы не кричите так громко, — стыдясь меня, попросил Костя.

— Ему еще и девочек стыдно. Начальник целый день без машины сидит, а его шофера любовь крутят, за продуктами ездят. На меня им наплевать. Безобразие!..

Костя побелевшими губами сказал:

— Иди-ка ты, знаешь... — и отвернулся, и не стал слушать Максима Петровича. Тот плюнул, бормотнул что-то и побежал к своей брезентовой каракатице.

Костя не смотрел на нас, я недоумевала, а узкую профессорскую грудь Вовки Горелова распирало негодование. Он рассердился, как Дон Кихот:

— Я ему покажу, как хамить в присутствии девушки.

9

Мы веселились вовсю, потому что выпили вина и поели разных вкусных вещей. Никто не критиковал Вовкины плакаты, и стало

смешным присловьем и правилом ежеминутно повторять: «Ох, уж эти студенты!»

Разольет кто вино — все кричат:

— Ох, уж эти студенты!

Ляпнет что невпопад — опять суматошный, беспричинный смех. Досмеялись до бессильного, щекотного похохатывания.

Да, висели Вовкины плакаты, стояли праздничные столы, и мы сидели во всем нарядном, смешливые, обветренные и немного пьяные. Мы были очень внимательны друг к другу и добры, потому что уже долго работали вместе и скоро начиналась страда, которую мы не боялись, а радовались ей. О нас не напишут в газетах — о всех же не напишешь! — но потом, прочитав или услышав где-нибудь про целину, мы будем безотчетно улыбаться, как пожилые люди улыбаются воспоминаниям о Комсомольске-на-Амуре или Уралмаше. И тревожно загрустим, и куда-нибудь снова надо будет ехать.

Чего-то зашептались ребята, будто играя в детсадовскую игру «телефон». Шепот дошел и до меня:

— Все внимание — Степе!

У Степы Лохтенко вспотели лоб и нос, он не смотрел по сторонам, а, сдвинув к себе пирожки с мясом, конфеты и тарелки с колбасой, жевал и жевал. Глаза остановились на колбасе: мысленно, видимо, он уже доедал ее. Стол притих, наблюдая за Степой. Вот он вздохнул, вытер пот рукавом и снова взялся за пирожок и вздрогнул от нашего хохота. Степа безнадежно покачал головой — вот, мол, напились — и продолжал жевать. Тогда встал Валька Капустин:

— Вы видите пирожки, которыми объедается и скоро объестся студент Степан Лохтенко. У него начнутся колики, и он выпучит глаза. Он умрет, и мы закопаем его в какой-нибудь курган. Мы не остановимся на этом. А возьмем и притащим громадный камень и станем обливаться потом и слезами. Затем высечем на этом камне громадные, немеркнущие буквы: «Здесь покоится прах обожравшегося товарища Лохтенко. Он не покорил целину, но оставил о себе дорогую и светлую память». Но это еще не все. Мы напишем: «Слава нашему повару Ленке! Это она помогла нам здесь работать!» И подпишемся: «Группа товарищей».

— Нет, серьезно: слава Ленке!

Смешной Валька. Смешные ребята. Они кричали мне «слава». И даже Светка Крыленко. Я стала доброй-доброй, как моя бабушка. Я стала глупо улыбаться и нелепо подмигнула Косте, который грустно смотрел на меня.

Откуда-то из темноты к нашим столам вышел усталый Максим Петрович. Никто не видел, когда он приехал. Мы усиленно начали его угощать, но он отказался, сказав, что ему надо ехать дальше. Мельком покосился на Костю и попросил попить.

Я сказала:

— Да вы не сердитесь, Максим Петрович. Мы же все хорошие.

— Вижу.

— Нет, серьезно...

Вот, оказывается, что задумал Вовка Горелов. Розовый и непримиримый, он тащил из барака еще один плакат: «Ваше здоровье, руководящее хамство!»

Вовка победно, улыбался, как чемпион Европы по боксу. Мы зашикали на него, но плакат уже был протянут Максиму Петровичу. Тот в тишине сказал:

— Мо-ло-ко-сосы! — и уехал.

Мы тоже еще немножко посидели и пошли спать.

10

Прости меня, но я не виновата,
Что я любить и ждать тебя
устала... —

поет Фира тоненьким, хрупким голоском. Она не видит меня и поэтому скорбно морщит беленькие брови, стараясь петь как можно искренне и печальнее. Я тоже знаю эту песню. И в ней есть слова, которые всегда поражали меня своей лживостью:

Гляжу я в полутемные аллеи,
И грустно отчего — сама не знаю,
Но я о прошлом больше не жалею,
И ни о чем я больше не мечтаю.

Все это неправда. Даже если предположить, что человеку невмоготу грустно, то и тогда он хочет как можно скорее отделаться от этой грусти и мучается бесполезным сожалением о прошлом, которое привело его к дурацкой тоске.

А в Фирином исполнении эти слова вообще смешны. Такая она маленькая, неказистенькая в громадной зеленой телогрейке, что песня про южную, томную печаль делает Фиру еще меньше. И мне неловко ее слушать, как шестилетнюю девочку, которую родители на потеху выучили картавить:

Мы с тобой два белега у одной леки...

Фира поет, не замечая меня, и деревянный, пожелтевший от времени и зерна совок челноком ходит в ее руках. От бурта к транс-

портеру, от транспортера к бурту. Фира сейчас у нас героиня, потому что наконец нашлось дело, с которым она справляется легко и умеючи.

Около нашего барака выросла громадная гора зерна, похожая на хакасскую сопку. Я только на минуту представила, что вот не Фире, а мне пришлось бы перекидать эгу гору на транспортер старым деревянным совком. Представила и ужаснулась такому занятию, потому что мне кажется оно нескончаемым. Мне всегда страшно, если я не вижу близкого конца дела, так же как перед экзаменами прочитать все сто пятьдесят книжек, значащихся в обязательном списке.

А Фире не страшно. Она подходит маленькая к громадной горе, берет свой совочек, включает транспортер — и пошло. Зерно сыплется с транспортера пульсирующим, неровным дождичком час, два, три. А Фира поет тоненьким голоском, и мелькают ее руки. И я часто думаю, что в героев превращаются такие вот люди, как Фира. Они не раздумывают, много или мало надо сделать, они просто делают. Терпеливо и с какой-нибудь легонькой песенкой. Поют, поют и смотришь — пирамида готова, завод загудел и, пожалуйста, вы свидетели трудового подвига.

Мне иногда почему-то жалко, что Фира совершенно не задумывается над собственной самоотверженностью и над собственной незаметной силой. А обыкновенно и просто вырастила вторую громадную гору, которая желтей и чище первой.

Но, видимо, Фира все-таки права, потому что если бы люди думали только о том, какие они герои, то никогда бы ничего не сделали.

К нам приехали шоферы, и наши ребята потеснились, уступив им свою половину. Валька Капустин немного похмурился и потом собрал девчонок.

— Как это ни прискорбно, придется спать в одной комнате. Люди мы взрослые и понимаем, что к чему...

Светка Крыленко ехидно перебила:

— Это как так понимать?

— Ну, ты, ладно, — смущенно нахмурился Валька, — понимаем, что выхода нет. Так что давайте без всяких ойканий и монастырских ужимок. Без ложного стыда там всякого... Как туристы или альпинисты...

В этот вечер все долго не ложились спать, много хохотали, чересчур громко и часто без всякого повода. Все нашли себе какое-нибудь занятие: одному непременно захотелось перешить пуговицы у телогрейки, другому — побриться, третьему — просто пошататься по комнате. Один Вовка Горелов тихо и смирно примостился на краешке нар и, сняв очки, дремотно помаргивал на лампочку. Вовка очень уставал на копнителе и вечерами вяло ел, вяло разговаривал. Разомлевший от нестерпимой дремоты Вовка, наконец, предложил:

— Так это... Как мне раздеваться-то? При всех или за дверью? Или вы отвернетесь?

Степа Лохтенко хихикнул тонко-тонко и с какой-то неприятной многозначительностью:

— Валяй так. Валька же говорил, что мы теперь туристы. Хочешь в одежде, хочешь без нее...

Вовке было лень вдумываться в Степины слова, и вообще он хотел спать. Вовка согласно кивнул головой и начал стягивать рубашку.

Пунцовеющим голосом Светка Крыленко зашипела:

— Что же это такое, а? Вот никогда не думала, что Вовка такой нахал! Фу! — И Светка с грохотом понеслась к двери, хотя весь день работала с Вовкой на одном копнителе и Вовка даже на обед не надевал рубашку из-за жаркой погоды и работы. Вовка виновато заморгал и, стянув сапоги, полез на нары так, не раздеваясь. Положение спасла Клара. Она всплеснула руками, отчаянно, весело и просто, как это умеют делать мудрые работящие матери, у которых семья не меньше тринадцати человек.

— Да что вы, ребята! Давайте ложиться спать. Ребята пойдут покурят, а мы в это время устроимся. Чего же какие-то глупости разводить. Даже неудобно. Давайте, шагом марш, мальчики! Завтра чуть свет на работу.

Мы облегченно загалдели, не испытывая больше неловкости. Уже в темноте, когда Валька Капустин докурил на пороге папиросу и приказал: «Теперь всем спать», — решил сострить Валерка, протянув полусонным бесцветным голосом:

— И труд и ложе делим вместе.

Комната тихонько рассмеялась, а Фира повернулась ко мне и прошептала:

— Лена, а почему все смеются? Разве Валера сказал что-нибудь смешное? Я тоже читала где-то эту строку...

Я промолчала, и Фира подумала, что я уже сплю.

Утром ребята уехали с первой машиной, а девчонки задержались. Помогли мне вымыть посуду, убрали со стола. Фира сразу же села за письмо — она писала маме каждый день. По две странички, крупными буквами, выведенными химическим карандашом. Каждый раз Фира чуть-чуть взбрызгивала бумагу, чтобы казалось, будто она пишет чернилами.

Фирино письмо подсыхало на столе, когда в него заглянула Светка Крыленко. Светка фыркнула, побагровела, а потом захохотала. Каждый звук у нее получался отдельно, будто она нарочно выкрикивала: «ха! ха! ха!»

— Девочки, девочки! Фирка-то что пишет матери! «Здравствуй, мамуля! Главная новость: теперь мы спим с мальчиками...» Ха! Ха! Ха! — оглушительно выстрелил Светкин голос.

Фира рассердилась. Она нахохлилась и поджала губы «на замок», как это делают в детской игре «молчанка». Фира взяла письмо и звонко сказала Светке:

— Чего ты смеешься, Света? Что ты нашла смешного в письме? Ведь я написала правду! Мама же еще не знает, что мальчики переехали в нашу комнату. Ты скажи, Света. Это нехорошо смеяться и не говорить, над чем смеешься. Вчера Валера про ложе сказал — вы смеялись, сегодня — над письмом. Почему вы смеетесь?—изумленно и гневно обращалась Фира уже к нам. Мы растерянно переглянулись, но никто не решился объяснить Фире, почему мы смеялись. Я отвернулась, чтобы не смотреть Фире в глаза, потому что вдруг остро поняла, как скверно, темно и гадко то, о чем мы думаем при подобных намеках и двусмысленностях. Откуда в нас это? Почему простое и естественное человеческое чувство мы топим в пошлости, недомолвках и ханжестве. Этого бы я не смогла объяснить Фире.

Фира ушла к своему транспортеру, и потом, уже днем, встречаясь с ней, я только смущенно улыбалась.

Точно так же нам было неудобно после случая с телеграммой Лехи Забурина. Она пришла из Омска, откуда Леха сообщал, что он вторые сутки ничего не ел и ему не хватает денег добраться до Свердловска. Мы развеселились, получив телеграмму, потому что показалось очень забавным: человека выгнали с целины, а он вдобавок еще застрял где-то. Этаким транзитным лоботрясом слонялся по омскому вокзалу. Больше всех смеялся Валька Капустин:

— Ну, дела... Жрать Лехе нечего, и какая-нибудь сердобольная старушка угощает его черствыми пирогами. Участливо спрашивает Леху: «Куда же это ты, сынок, путь держишь?» А Леха вгрызается в пироги и урчит обиженно: «Да с целины, бабка, выгнала...» Ну, дела-а... — посмеивался Валька, и мы поддерживали его. А Фира сказала:

— Валя! Леше же очень больно сейчас. Мы здесь вместе, а он один. Мы работаем и уже зерно стали возить, а Леша даже не увидит, сколько его соберем. Думаешь, Валя, он не понимает? Думаешь, Леше легко без работы и без нас ехать? Не надо смеяться, Валя, — звонко рассуждала маленькая Фира, и Валька перестал посмеиваться. Он помрачнел и стянул с головы свою рыжую, старую-старую кепку, которую ребята звали «аэродромом». Мы собрали в эту кепку тридцать рублей, и Костя отвез их на почту, в центральную усадьбу.

Я подумала, что Фира вступилась за Леху совсем не из-за своей любви к нему, а потому, что она каким-то десятым, двадцатым чувством поняла: тяжело сейчас не Забурину в частности, а вообще человеку, впервые наказанному жизнью. И это делало Фиру мудрее, взрослее нас и естественнее. Она походила на крестьянскую девочку, с детства приученную к здравому смыслу и состраданию. Про зерно Фира тоже говорила не зря. Однажды я видела, как Степан Федорович, совхозный бригадир, долго стоял у бурта, и пересыпал зерно из ладони в ладонь, и чему-то улыбался. Он, видимо, думал об этом зерне, и оно напоминало ему о всяких случаях из жизни. Я после попробовала так же, как Степан Федорович, пересыпать зерно, чтобы понять, о чем думал бригадир и чему он улыбался. Зерно было сухое и теплое, и желтая струйка была беззвучна, как время, отсчитываемое песочными часами. Белый налет от степного ветра пристал к каждому зернышку, и от этого казалось, что мои губы тоже обветрили, и хотелось попить холодной воды.

Больше я ничего не испытывала и так и не поняла, чему улыбался совхозный бригадир Степан Федорович, пересыпая зерно из ладони в ладонь. Наверное, надо выращивать всю жизнь зерно или делать какое-нибудь другое дело так хорошо, чтобы оно стало твоим близким другом, с которым можно и поговорить, и помолчать. У меня, к сожалению, нет еще такого друга, но теперь я понимаю, что его надо выбрать как можно скорее. А Леха Забурин уехал и, может быть, никогда этого не поймет. И Фира мучится из-за Лехи, потому что острее нас чувствует, потому что у нее сосредоточенная работа около зерна.

Фира может петь и думать у своего транспортера о любви и о жизни, а я сейчас думаю о нормальном восьмичасовом сне. Для меня давно уже смешались день и ночь, и иногда кажется, что я круглыми сутками не отхожу от плиты. Так получается потому, что надо кормить и ребят, и шоферов, и комбайнеров. Они приезжают в разное время, но всегда хотят есть. Сначала я каждого встре-

чала, для каждого грела еду заново, но тогда со сном вообще ничего не выходило. Я стала варить громадный котел гречневой каши и громадный котел лапши с бараниной. Лапша, как я заметила, долго не остывает, а гречневую кашу можно есть и холодной. С молоком.

К часу ночи с поля приезжают почти все. Мне помогают вытащить оба котла под навес, на наш длинный, сколоченный из толстых досок стол. Котлы ставим рядом с открытым патефоном и, если помогает Вовка Горелов, он обязательно заводит заигранную «В парке Чаир», и под ее шипение я ухожу спать.

Далеко за нашим бараком на небе появляются две узкие полоски — черная и розовая. Это где-то за лесом начинается утро.

Я хочу быстрее заснуть, но долго ворочаюсь и прислушиваюсь к стуку молоточков в висках. Потом слышу, как приезжает Ваня Чернов с самосвала 45-25. Ваня — добросовестный, тихий человек с невероятно черными усами и добрыми черными глазами. Ваня работает у комбайна Пети Фискова, румяного заполошного неудачника. У Пети все время ломается комбайн, и Ваня с утра до вечера копается в нем, а Петя бегает вокруг и приговаривает:

— Подсунули старье, а ты грыжу здесь наживай. Вот крохоборы, вот гады... — и, распаленный, горластый, бежит искать бригадира, чтобы вволю поругаться. Ваня Чернов успевает за это время починить комбайн, и все улаживается до следующей поломки.

Я представляю, как Ваня печально сутулится над тарелкой с кашей и раза по три заводит свою любимую пластинку с бернесовским голосом:

> Снова будет небо голубое,
> Снова будут в парках карусели,
> Это ничего, что мы с тобою
> Вовремя жениться не успели...

Я представляю, как Ваня меланхолически жует под эту музыку кашу, и мне становится жалко его.

Последним приезжает толстый, добродушный, с вечно седой щетиной на щеках Павел Филимонович Сырков. В его кабине наверняка спит Валерка, сморенный бешеной работой на комбайне хохла Струнько. Этот Струнько (я никогда его не видела, потому что он ест и спит у комбайна), по рассказам, говорит пять слов в год. Шоферам и нашим ребятам он, например, сказал только в начале уборки: «Робить надо с росы до росы», — и с тех пор ни слова.

Павел Филимонович растолкает сейчас Валерку:

— Приехали, паренек.

Тот приплетется в барак и хриплым шепотом скажет:

— Спокойной ночи, Лена.

Такой смелый Валерка из-за темноты. А днем мы не разговариваем.

Павел Филимонович тоже заводит пластинку с песенкой из индийского фильма:

> Муль-мультина-тик,
> Мульмутин, —

неестественно тонко поет певица, и Павел Филимонович добродушно ухмыльнется.

— Ишь, запищала...

Все. Можно спать. До пяти утра можно не волноваться, что кто-то не поел. Стихают молоточки в висках, враз уносится в бледное небо тоненький голосок:

> Муль-мульти-и-и...

11

Павел Филимонович из той же автоколонны, из которой и Костя. Он приехал позже всех шоферов и сразу всем нам понравился. Достал из кабины два большущих арбуза и принес на кухню:

— На-ка, дочка, угостишь своих хлопцев...

Его улыбчивое, щетинистое лицо было так добродушно, так весело блестели капельки пота на залысинах и крупном ноздреватом носу, с таким пантагрюэлевским спокойствием колыхался под синей спецовкой живот, что я засмеялась, как маленькая девчонка, встретившая вдруг на улице циркового клоуна.

Павел Филимонович тоже обрадовался:

— Ишь ты, какая девка славная! Ишь, смех-то за каждым зубом прячется. Давай-ка, записывайся ко мне в дочки, а?

В это время на кухню заглянул Костя и, увидев Павла Филимоновича, хотел уйти, но тот притянул его за рукав:

— Коська, сынок. Ты что старых друзей забываешь! Нехорошо, нехорошо. Я тебе письмо за письмом шлю, а ты как под землю провалился. Болел, что ли?

— Да нет. Некогда даже старым друзьям отвечать было, — ответил Костя.

— А я тебе тут невесту приглядел. Хочешь сосватаю?

Мы покраснели, а он засмеялся еще сильнее:

— А-а! Да вы тут без меня, видно, договорились! Молодец, Коська!

— Брось ты, Павел, — нахмурился Костя и вышел.

— Ладно, ладно. Пошутить нельзя, — сразу, как бездымный порох, с лукавым смире-

нием запричитал Павел Филимонович. Потом он посерьезнел и стал разжигать мне плиту. Он так сильно дул, что шея стала малиновой, а в печке, по-моему, задвигались здоровенные поленья.

— Ух, тяжело стариком быть, — отдувался он, поднимаясь. — Я вам что, Леночка, скажу. Мне Коська, действительно, как родной сын. Мы уж с ним, наверное, больше пуда соли-то вместе съели. И должен отметить, что Коська — парень хороший. Смирный и книги любит. Парень, в общем, без всякого баловства, — добродушно прогудел Павел Филимонович.

Вскоре он был совершенно своим человеком на стане. Покуривал, похохатывал с ребятами, всем улыбался, всем помогал, и мы стали звать его дядей Пашей.

12

Я думаю сейчас о Косте и о Валерке, обо всем, что с нами произошло, со странным спокойствием, как человек, поднявшийся утром на высокую гору и вдруг обнаруживший, что маленькие дома внизу, и легкий туман в яблонях, и его друзья и враги — все это необыкновенно прекрасно и неповторимо. Человеку становится грустно, и он дает себе слово там, на горе, что с сегодняшнего дня не будет больше мелким в ссорах и в радости, а будет мудр и участлив и станет жить, сообразуясь с вечными и высокими законами, открытыми на этой горе.

Костя появился у барака утром, когда наши только что уехали на работу. Он пришел пешком. На нем был черный бумажный свитер и новые синие кеды, которые почему-то не запылились. Я решила пошутить:

— А ну-ка, Костя, подставляйте свою обновку. Давайте-ка, я ее на прочность испытаю, а то носиться не будут, — и я легонько наступила на резиновый, блестящий носок кеды.

— Лена, можете вы уйти отсюда на полчаса? Это очень нужно.

— Опять к какому-нибудь кургану?

— Нет. Я прошу. Вы можете?

— Хорошо.

Мы пошли от барака вправо, по тропинке, проложенной в высокой и сухой полыни. Тропинка огибала маленькую сопочку и терялась в пыльных, с набухшими белыми жилами, подорожниках и стрелках отцветшего клевера, которыми заросла старая заброшенная дорога. Я никогда не видела этой дороги, хотя она была совсем недалеко от барака. Дорога взбиралась на трамплин невысокого, заросшего густой травой бугорчика с одиноким коряжистым кустом боярышника, на котором еще много было желтых листьев и красных перезрелых ягод.

Я увидела Костин «газик», уткнувшийся в самую боярку, и поняла, почему не запылились новые синие кеды. Я спросила:

— А почему вы не у комбайна?

— Успею. Там Павел пока один справится.

Мы подошли к самой боярке.

— Сначала я вам хочу показать одну вещь. — Костя обошел куст и откатил большой белый камень. Под камнем пряталась яма, выложенная свежей соломой.

— Смотрите.

Я неосторожно нагнулась и больно укололась о твердый и острый шип боярки.

— Ой! — вскрикнула я, схватившись за щеку, но тут же еще раз ойкнула, теперь от удивления: на соломе лежали три маленьких лисенка с мокрыми черными носами. Они смешно шевелили ими и тихонько повизгивали.

— Видите, какие маленькие, — сказал Костя, — можете погладить, пока мать не прибежала.

Я не стала гладить лисят, я больше не хотела удивляться им, и было совершенно неинтересно, как Костя разыскал эту нору. Я внезапно почувствовала острое раздражение и враждебность против него, всегда спокойного, ровного и молчаливого, как осенняя скука. Против его неправдоподобной любви, вообще против всего:

— Вы извините меня, Костя, но давайте поговорим спокойно. Я не верю вашему тогдашнему рассказу про Кызыльский тракт, не верю этому кубку из кургана, не верю вот этим лисятам! Зачем вы все это делаете? Вы думаете, я вас полюблю за такие романтические штучки? Ах, мол, какой необыкновенный и чистый парень? Да? Вот, мол, как он меня любит? Атлантиду мне раскопает! Это все неправда, Костя! Надо быть простым и открытым, живым человеком! Зачем эти тайны? Надо обыкновенно смеяться, жить, любить! Прямо байронизм какой-то... Даже не знаю, как сказать... В общем, неестественно все это...

Костя слушал меня, неудобно согнувшись над лисятами и машинально поглаживая их. Я видела только стрелку его брови, краешек желудя-зрачка и припухший от недавнего бритья уголок губ. Рука его, коричневая от загара, с четко проступившими венами, с множеством заусениц на ногтях, в которые

прочно въелся мазут, едва заметно задрожала после моих слов. Костя спрятал ее и сказал:

— Так я думал, что интересно на лисят будет посмотреть.

Солнце, косо падавшее из-за боярки, попало лучиком на Костину макушку и сделало его похожим на мальчишку, застывшего в удивлении где-нибудь в деревне, у собачьей конуры, в которой визжат и барахтаются щенки. Костя не поднимал головы, и я застеснялась своей резкости и раздражительности, потому что будто кто-то другой, а не я, увидел обыкновенного парня, у которого нет времени как следует остричь ногти и сходить в парикмахерскую. Этот парень был одет в черный бумажный свитер, без лишних слов делал свое дело и, в общем-то, ничего плохого от него я не видела.

А я набросилась...

— Я хотел сказать, Лена, что больше не буду приезжать к вам. Я хотел попрощаться с вами...

— Костя, вы не сердитесь. Я просто так ведь...

— Да я не сержусь. Я бы вам все равно это сказал...

— Но почему?

— Так. — Костя опять стал гладить лисят.

— Снова тайна? — начала я возмущаться.

— Просто хотел попрощаться. Никаких тайн, — глухо и упрямо ответил Костя.

— Ну, знаете! До свидания, прощайте, гуд бай, но я не намерена больше так разговаривать. Неужели по-человечески нельзя сказать! — И, боясь наговорить чего-нибудь лишнего, я пошла по старой заросшей дороге к бараку. У сопки я оглянулась: машина попрежнему стояла у куста боярышника, Кости не было видно.

Ну и пусть!

Больше он действительно не приезжал. Меня это злило, и я часто с возмущением думала: опять выдумает какую-нибудь «романтику», чтобы удивить меня.

Я спросила у дяди Паши небрежно:

— А куда это Костя девался?

— А он, доченька, запил. В Балагановке спирт появился, вот и пьет.

— Как запил? Это Костя-то? — как ошпаренная кипятком, закричала я.

— А так. Пять с полтиной за бутылку и — герой, — невозмутимо объяснил дядя Паша.

Я глупо и растерянно спросила:

— Но он же книжки читает. Как же так?

— А вот, может, от книжек и запил. Начитался всяких ужасов и пьет, — как всегда светилась благодушием седая щетина на щеках дяди Паши.

— Вы же его товарищ! Почему же не остановите?! Он же не пил раньше?

— А ты, дочка, успокойся. Говорил я с ним, но слушать ничего твой Костя не хочет. А что раньше он не пил — это точно. Сам диву даюсь: откуда в нем алкоголизм проснулся? Может, меж вами чего случилось? — дядя Паша серьезно и пристально смотрел на меня.

— Нет, нет, — ответила я, а про себя твердила: дура, какая я дура! У человека наверняка горе, а я не выслушав, обливаю его нотациями. Конечно, из-за меня он запил.

Весь день мне было жарко, тревожно и гадко. С обедом я опоздала на час и невпопад оправдывалась. Вечером, угрюмый и похудевший, Валерка зашел на кухню.

— Послушай, Кости целыми днями нет на работе. А приедет, так обязательно пьяный. Убьется где-нибудь. Ты бы с ним поговорила.

Валерка наклонил голову и исподлобья посмотрел на меня:

— Я должен был это сказать, потому что он тебя любит...

Он резко повернулся и тихо добавил:

— Потому что и я тебя люблю...

— Подожди, Валера! Не уходи. Ты увидишь Костю? Скажи, что я обязательно-обязательно хочу его видеть. Ладно?

— Ладно.

Монолог повествователя

1

Манилов был все-таки не дурак. Хоть и говорят, что он — бесплодный мечтатель, прожектер и тому подобное, я его за это не обвиняю. Мне, например, очень понятны сентиментальные раздумья, когда Манилов с трубочкой в зубах днями простаивал у окошка своего имения и вдохновлялся мыслью, как он построит красивый мост через пруд. Как на нем будут пушки стрелять и гулять все губернское начальство.

Мы все часто думаем о несбыточном. Так, по-моему, это неплохо. Когда мой комбайнер

Федор Струнько и штурвальный Венка Тящин по утрам смазывают комбайн, я ухожу к ближайшей копне, чтобы не слышать Венкиного мата, заваливаюсь в хрусткую солому и начинаю мечтать.

Я воображаю, что стал обладателем пятитонного реактивного грузовика. Причем я приехал на нем из Свердловска и никакому местному начальству не подчиняюсь. Я обслуживаю только своих ребят.

Никто не знает, что грузовик — реактивный, что ему не страшны самые жуткие развезенные дороги и что он никогда не требует ремонта. В кабине у меня походный душ, вода для которого поступает из специального радиатора, есть мощный приемник, и он круглыми сутками передает для меня блюзы из Парижа. В кабине есть также реактивная электробритва, на мне элегантный комбинезон, на котором нет ни одного пятнышка мазута, потому что в машине я не копаюсь. Я всегда выбритый, сдержанный, бесшумной тенью проскальзываю мимо уполномоченных ГАИ, и все удивляются моей ловкости, феноменальной быстроте, с которой я выполняю любое поручение. С начала страды я изъявляю желание возить зерно на элеватор. Делаю по тыще рейсов в день, но никто почему-то не обращает внимания на такую космическую быстроту. Я помогаю всем целинным землям досрочно вывезти зерно и становлюсь Героем Социалистического Труда. Ленка после вручения мне ордена и медали подходит и гладит желтую прохладную звездочку Героя. Потом она садится в кабину реактивного грузовика, и грустный блюз, передаваемый из лучшего парижского кафе-шантана. заставляет Ленку расплакаться. Она плачет от того, что неосмотрительно предпочла Костю мне, и раскаяние ее глубоко и искренно. Я молчу, а потом включаю походный буфет и мы пьем шампанское и едим конфеты. Реактивный грузовик мчится по вечерней целине, и нам необыкновенно хорошо.

Я лежу на хрусткой свежеполированной соломе и понимаю, что мечтаю о несусветной чепухе, в которой я никогда никому не признаюсь. Но вот странно: у меня даже щеки начинают гореть, когда воображаю, как меня награждают звездочкой Героя и как ко мне подходит Ленка. Я по-настоящему переживаю этот момент, будто сижу в кинотеатре и смотрю фильм про себя.

Ерунда ерундой, но вот думается же о ней, хотя потом и бывает стыдно. Странно...

Я постоянно думаю о Ленке и о средневековье. Хорошо тогда жилось рыцарям. Угробил с десяток человек, и пожалуйста, езжай под балкон, пой серенаду и — дама твоя. Ты протягиваешь ей любовь на кончике шпаги. Просто и ясно.

Сейчас нет турниров и не принято петь под балконами. Но любовь-то все равно надо доказывать. В лепешку расшибешься, доказывая, а в конце-концов может получиться так: пришел к ней в общежитие или домой, а она говорит: «Нет, знаешь ли, мне больше нравится шофер с ГАЗ-51». И все. Конец. Что еще можно сделать? Было бы гораздо проще, если бы существовала какая-то единая мера доказательства любви. Допустим, я должен был бы вскопать лопаткой полтора гектара целины или стать чемпионом мира по плаванию. Наверняка бы уже была вскопана вся целина на земном шаре, а мировые рекорды в открытых и закрытых бассейнах обновлялись бы каждый день. Прямая польза для человечества.

А сейчас все не четко и не отработано. Иногда невозможно понять, за что человек человека любит и что надо сделать, чтобы тебя полюбили.

Ленка, Ленка. Я всегда буду о тебе думать...

Я закрыл глаза, и мне показалось, что хлебный, вечный запах соломы желтого цвета. Над всем полем, над всем миром плывут его густые солнечные волны. И нет-нет да улыбаются жаркие, как терновник на летних полянах, Ленкины глаза...

Меня поднимает голос Венки Тящина:

— Эй ты, черт моржовый, пошли работать! Грезы-мимозы, прочие морозы! — негромко ругается Венка. Он легкий, тоненький, белобрысый; с синей наглостью в глазах. Веснушки у него удивительно крупные, и от каждой из них веет рыжим нахальством. Я поднимаюсь и иду за Венкой. Сначала я обиженно куксился от его матерщины, но сейчас привык и уже не обижаюсь. Венка не может без мата. Он даже здоровается и то обязательно с присловьем. Примерно это звучит так:

— Здорово! Так твою в корову.

Когда на комбайнах стали работать наши девчонки, Венка сдержаннее не стал. Он попрежнему матерился, но после каждого залпа солидно добавлял:

— Извините, девочки.

Мы бежим с Венкой по полю, потому что Струнько не любит ждать и сейчас, даже не окликнув нас, махнул трактористу и поехал. Венка на бегу начал ругаться и, вскочив одним махом на мостик, размахивает кулаками перед носом Струнько.

Я тоже цепляюсь за подножку и лезу на свой копнитель, где мне знакомы каждая щель в досках мостика и каждая зазубрина на поручнях. Выдергиваю вилы, втиснутые в пространство между стенкой и мостиком и жду, когда побольше навалится соломы.

Венка все еще бушует перед Струнько, а тот и голову не повернет. Его долговязое тело походит сейчас на остроконечный треугольник, и острая вершина его напрочь припаялась к поручням. У Струнько длинная шея с огромным кадыком, на голове замызганная ушанка. Одно ухо у нее повисло крылом и на каждой выбоине презрительно помахивает перед Венкиным конопатым носом. Струнько вытянул кадыкастую шею и одной рукой полегоньку поправляет штурвал.

Струнько всегда молчит и работает добросовестно, как вол. Мне иногда во сне даже видится его треугольная фигура, застывшая на мостике, так она примелькалась. Ест он на скорую руку, остальное время, до глубокой ночи, не оставляет комбайна.

Венка ненавидит Струнько. Об этом я узнал совершенно случайно. Однажды, когда Венка торчал у меня на мостике и курил, Струнько обернулся и махнул мне рукой. Иди-ка, мол, сюда. Я перебрался.

Он молчал, легонько поигрывая штурвалом, и неотрывно смотрел на иглы подборщика. Потом подтолкнул меня:

— Вишь, кочка...

Он повернул штурвал на себя, и хедер прошел над бугорком. Струнько вернул штурвал в прежнее положение.

— Понял? Кочки — на себя, ровно — от себя. Держи...

У меня вспотели руки, и я судорожно впился в штурвал. Через минуту прутики подборщика зацепили землю. Но потом пошло нормально. На повороте Струнько отобрал штурвал. Вспотевший и возбужденный, я сказал громко:

— Интересно!

Струнько ничего не ответил и не стал замечать меня. Я потоптался немного на мостике, надеясь снова ощутить в руках непривычную и приятную тяжесть штурвала. Но бесполезно. Я вернулся к Венке.

— Ты не очень-то с этим гадом якшайся, — зло сказал он.

— Почему?!

— Этот кобель кадыкастый — сосланный бендеровец. Третий год в совхозе я все с ним посчитаться не могу. Но ничего-о!.. Скоро он меня узнает...

У Венки побелели губы и глаза. Он чуть не трясся от ярости.

— Ты чего? — испугался я.

— Ничего. Батьку моего бендеровцы ухлопали. Может, этот гад стрелял. У-у, кобелина! — с ненавистью промычал Венка.

Я ничего не сказал ему, да Венка и не нуждался в моих словах. Он долго и жадно курил, странно притихший и бледный.

Я не успел обдумать Венкину новость, потому что с другого конца загона мне махал шапкой Степа Лохтенко. Мы придумали с ним соревнование, чтобы не было так скучно мотаться по полю. И раз Степа махал шапкой, значит, он считал себя победителем. Значит, я зазевался, потому что Степа выигрывал редко.

В первый день на копнителе Венка объяснил мои обязанности.

— Солома сыпется, ты ее вилами ровняй. Как до трубы доровняешь, жми на педаль к таковской матери. Давай!

Солома хлестала тугая, обильная, с совершенно диким напором. Я ворочал вилами что есть силы, но через какие-то секунды она, как пена из пивной кружки, поперла из копнителя. Соломенный шнек захлебнулся и подозрительно затрещал.

— Жми! — услышал я Венкин крик. Я нажал педаль осторожненько, как будто открывал плевательницу в кинотеатре «Гигант».

Шнек затрещал сильнее. Тогда я топнул со всего размаху, и крюки, сдерживавшие решетку, отскочили. Желтая глыба копны легко осела на землю. Теперь я решил быть хитрее. Я не дожидался, пока опять затрещит шнек, а давил педаль как можно чаще.

Прибежал Венка.

— Ты что, как сорока с проводов, поносишь? Смотри!

Я оглянулся: ветер шевелил по всему полю жиденькие ошметки моих копенок.

— Копны надо по ниточке ставить. Как солдат перед парадом, выстраивать. Кто за тобой будет по всему полю бегать да по охапке собирать? — объяснял Венка. — Волокушами же сгребать будем. За один ряд зацепим и весь его — стог. Понял?

Через два дня у меня стало получаться. Степа когда-то в своей Белоруссии работал на копнителе, поэтому он все это время издевался надо мной.

— Хлебороб ты, Валера, отчаянный. Иван Мичурин и академик Лысенко, — говорил он при встречах.

Я спокойно сказал ему:

— Давай, кто дальше копну протянет?

— Давай, — засмеялся Степа.

Парень я все-таки длинный, и руки у меня длиннее Степиных, поэтому мне легче было

трамбовать солому. Я тянул до предела, до тех пор, пока верхушка копны не коснется шнека. И стукал по педали. А потом злорадно рассматривал Степу, который изо всех сил суетился на мостике, но когда копна перерастала его, Степа покорно вываливал солому. И ряды наших копен походили на полоски шахматной доски: Степа не дотягивал до меня метра два-три.

Он по-серьезному свирепел от неудач и один раз во время обеда чуть не кинулся на меня с вилами, когда я спел:

Детка Степа, ты не плачь,
Не догонишь даже вскачь...

Иногда я жалел Степу и опрастывал копнитель пораньше. Степа обгонял мою копну и ликовал: махал шапкой, корчил рожи, истошно орал, но не было слышно что, из-за ветра и тракторного рева.

К вечеру мы застряли: лафетчики по-идиотски косили здесь, и несколько рядов валков лежали против хода комбайна. Струнько нахохлился, ушел далеко вперед и, вернувшись, пробубнил:

— Давай, студент, потихоньку иди разворачивай валки. Быстро согреешься...

Я в самом деле задрог от остренького вечернего ветерка, и поэтому сначала ворочал валки чересчур быстро, так что запыхался и вспотел. Никогда не думал, что охапка колосьев такая тяжелая! В лицо постоянно тыкались колкие пузатые колоски, а их усики, забравшись в нос, заставляли оглушительно чихать.

Вскоре меня догнал Венка.

— Видел? Старый хрыч-то боится меня. Даже не посмотрел в мою сторону. Тебя послал. А то бы я ему показал сейчас, — с довольной улыбкой говорил Венка.

— А он тебе тоже, что ли, как-то нагадил?

— Пусть бы попробовал. В том-то и дело, что это хитрый хохол. Не пьет, не курит. Работает хорошо. На собрания ходит, а я душой чувствую: недобитый бендеровец. Дай ему волю, он и тебя и меня прихлопнет. Сука такая! Невозможно! — Венкин голос то потухал в колосьях, то снова злился на все поле.

— А я, Венка, не могу на него злиться. Не получается...

— Понятно-о, — тоненько выкрикнул Венка, — не твоего ведь батька-то убили. А моего, моего! Понял?

— У меня тоже с войны отец не пришел...

— Ну и что? — сказал Венка. — У многих не пришли. Да вот кто их убивал — далеко. А у меня этот гад под руками ходит.

Мы замолчали. Совсем стемнело, и сзади помаргивал циклопьим глазом комбайн. В луче света золотой ежик стерни казался легкомысленным и нереальным.

Венка вдруг спросил:

— Валерка, ты темноты боишься?

— Не знаю. Не думал.

— А я боюсь. Мне все время осенью из сенок страшно выходить. Выйдешь да вдруг потеряешься. А?

— Не знаю, Венка.

Я остался ночевать у комбайна. Тракторист Вася заглушил мотор и закрылся в кабине до утра. Я забрался в копнитель, до половины забитый соломой. Сначала было холодно от влажной, невидимой гладкости, но потом я согрелся и задремал.

Венка со Струнько варили на костре похлебку. Комбайнер стоял перед огнем на коленях и, вытянув шею, сдувал пену с котелка. Венка сидел, кутаясь в рыжий, поистертый до крайности тулуп и синим холодом жег Струнько. Очнувшись, я услышал, как Венка негромко пытал:

— Федор, ты моего батьку убил? Ты скажи, скажи. Я ведь все равно узнаю... Слышишь, Федор, из обреза, наверно, стрелял?

Струнько уже не дул на котелок, но все еще стоял на коленях.

— Сынок, не убивал я!.. Верь не верь — не убивал!.. — хрипло и ласково сказал Струнько. Его кадык черным воробьем дернулся на экране костра.

— Я тебе не сынок...

— Ну, режь меня, рви на части — не убивал, — мучился голос Струнько. Получалось, что он на коленях просит Венку. Я не мог спокойно лежать и заворочался. У костра замолчали. Венка еще глубже спрятался в тулуп.

2

Снег выпал неожиданно, ночью. Снег был мягким, рассыпчатым и идиллическим. Он намылил верхушки сопок и чистенькой веселой шкуркой лег на поля. Валки снег закрыл не полностью, они показывали желтые бока, и было похоже, что кто-то поджарил на поле гигантскую глазунью. На горизонте с четырех сторон клубилась сиреневая мгла — это уходили снежные тучи, а над ними уже морозно светило солнце. С утра мне приварили снежком синяк под глазом, и я сидел в бараке, прикладывая мокрые холодные шарики из снега, и надеялся, что в такую погоду работать не будем.

Но приехал дядя Паша.

— Специально за тобой, сынок, послан.

Хохол наш злится, требует тебя срочно, потому как Венка на копнитель не встает.

Я пошел к машине, удивившись безлюдию около барака. Оказывается, все уехали, пока я возился с синяком.

Дядя Паша говорил по дороге:

— Страсть любил в снежки играть! Выскочишь на улицу в одной рубашке и — айда! — лупить направо и налево. Холодок по пузу ползает, а голове — жарко. Вольно так, распрекрасно себя чувствуешь!

Дядя Паша улыбался воспоминаниям и подмигивал в зеркальце моему синяку.

— А скажи-ка, сынок, давно хочу спросить — Коська-то наш по правде, что ли, с вашей Леночкой того... дружат.

Синяк противно ныл.

— А я, дядя Паша, не в свои дела не лезу. Не знаю, что у вашего Кости с нашей Леночкой.

— Ишь ты, ишь ты. Как старика отбреваешь. Ты без сердца, сынок, поспокойнее. Я же не сплетни с тобой развожу, а всерьез интересуюсь...

— Не знаю, дядя Паша... Не знаю!

— Вот и плохо, что не знаешь. А Коська что-то за водку взялся. Водку-то всегда из-за баб пьют. Я ему прямо об этом и сказал. Так он так ощерился, что я задом, задом, да и в кабину. Ты бы с Леночкой-то поговорил бы по-товарищески. А то, не дай бог, пропадет Коська. Долго ли разбиться в пьяном виде...

Я промолчал. Какой-то подлый, синенький человечишка кричал во мне от радости: так ему и надо, так ему и надо. Мне было противно слушать его визгливый голосок, и я решил: обязательно поговорю с Ленкой. Ведь от того, что она любит Костю, ничего не меняется. Я-то все равно люблю ее. Я позавидовал мудрости дяди Паши и его доброй простоте, позволявшей судить о жизни трезво, без всяких интеллигентских ужимок.

Комбайн наш потихоньку работал, орали воробьи над березовым островом посреди поля, проклевывалась латунная стерня из-под белого снега, угрюмый Венка пыжился у штурвала, а Струнько шел впереди и вилами отряхивал валки. Он не обратил на меня внимания, и я, щуря отмеченный синяком глаз, принялся за работу.

Так прошло часа два. Солнце, войдя в силу, превратило снег в миллионы капель. Струнько махнул Венке рукой, и тот дернул проволоку ведущую к сигналу в кабине Васи.

Мы встали, потому что надо было подождать, пока земля обсохнет. С дядей Пашей приехал Вовка Горелов и привез «Молнию», которую укрепил на решетку копнителя. В «Молнии» горячо приветствовался агрегат комбайнера тов. Струнько, который, «несмотря на капризы природы, продолжал бороться за урожаи». Под словами «Слава передовикам» значилась и моя фамилия.

Я засмеялся:

— Вовка, ну скажи, что Валька Капустин тебе продиктовал. Точно ведь?

— Точно. Это могучая Валькина рука. Он сказал мне: Вовка, надо поддержать дух у ребят. А то закоченеют.

Я видел Вальку, говорившего эти слова: кепка на затылке, телогрейка висит на мостике, в ковшичке промасленных ладоней горит спичка, от которой Валька прикуривает очередную, десятую с утра, папиросу. Он окутается дымом, деловито и крепко, чуть не отрывая нос, высморкается и скажет простуженно: «Надо дух поддержать».

Валька единственный из нас штурвалил, и здешние механизаторы с ним единственным разговаривали с мужицкой серьезностью, без той шутливой снисходительности, которая ежедневно перепадала на нашу долю.

Вовка работал на Валькином комбайне, и я спросил:

— Как вы с Валькой-то, ничего?

— Валька — двужильный. Я, например, к вечеру уже начинаю гоны считать. Еще бы два выдержать — и хорошо. Еще один — и ладно. Только об этом и думаю. А Валька покуривает, поплевывает, анекдотами с комбайнером делятся. С Максимом Петровичем успевает лаяться почти каждый день. Тот орет, Валька орет, мне уж кажется вот-вот подерутся. А они — раз! — договорятся. Заметил, что ни одной машины из-под комбайнов не сняли? А знаешь, в других отделениях что творится? Комбайны стоят, а машины все на элеватор шуруют. Нет, Валька — молодец,— с грустью рассказывал Вовка, и я вспомнил, как несколько дней назад он жаловался, что ночью долго не может заснуть: все время затекают руки, и ощущение, будто их валунами гранитными придавило. Но мне все равно смешно смотреть на Вовку, на его чудовищные варежки, сшитые им самим из старых носков, на стильный шелковый шарф с пальмами и яхтами, почерневший от грязи, на его кроткое лицо пай-мальчика, который с печалью смотрит на мир, потому что впервые получил двойку за поведение и теперь страшно боится маминого гнева.

Но Вовка взрослеет, и в его лексиконе появилось энергичное слово «шуруют». От этого мне тоже смешно и приятно смотреть на Вовку.

Он пробыл у нас с полчаса, пока все не прочитали «Молнию». Одобрительно покрутил головой около нее тракторист Вася. Торопливо, не глядя друг на друга, прочли Струнько и Венка и молча разошлись.

Дольше всех около «Молнии» простоял дядя Паша. Он водил толстенным выпуклым ногтем по крупным, синим строчкам и со вкусом комментировал:

— Так... капризы природы... Верно, верно, что-то расхворалось небушко-то... Ага... Комсомольский привет Федору Струнько... Молодец, Федя! На совесть работает... Ага! И меня, старика, заметили. Спасибо на добром слове... Смотри-ка! И Коська попал. Парнишке бы порадоваться сейчас, а он страдает. Вот беда-а... — долго сокрушался и радовался дядя Паша.

Потом он отвез Вовку на другое поле.

3

Я зашел к Ленке на кухню и сказал:

— Ты знаешь, что Костя запил? Ты бы поговорила с ним. Ведь он тебя любит.

У Ленки тревожно посмуглели щеки, и что-то дрогнуло в ее удивительных глазах. Она была красивой, она взволновалась, и грустный комочек холодка оборвался у меня где-то около сердца. Я сказал:

— Я тебя тоже люблю...

— Валера, ты увидишь Костю? Скажи, что мне обязательно-обязательно надо с ним поговорить. Ладно?

— Ладно, — ответил я и пошел на поле пешком, чтобы вволю помучиться грустью.

Я не обратил внимания, что комбайн стоит, и сразу же спросил у дяди Паши, который сидел на подножке:

— Дядя Паша, а где бы мне Костю найти?

— Сами, сынок, ждем. Утром вроде трезвый был. Может, подъедет сейчас.

Я увидел, что Струнько непривычно скрестил на груди руки и сидит на бункере с зерном, неестественно выпрямившись, тракторист Вася ковырял сапогом землю, а Венка покуривал с безразличным видом.

— Венка, в чем дело?

— Да хохол к учетчику ездил, за десятидневку центнеры проверял. Двух бункеров не досчитался. Он же каждое зернышко помнит, черт моржовый. Приехал злой, как сволочь. Это, говорит, хлопец, Павлов товарищ украл. Я, говорит, знаю. И вот сидит, как свечка, ждет. За зерно горло перегрызет.

Венка закурил новую папироску:

— Я бы этого кобеля хоть сейчас в трибунал отправил, но зерно тоже не дело красть. Нехорошо...

Костя приехал. Его лицо посерело от пьянок, а глаза, похожие на сосновую кору после дождя, были глубокими и чистыми.

— Что встали? — спросил Костя.

Струнько пошевелился под небом:

— Хлопец, один вопрос к тебе, — хрипло заговорил он, — куда ты свалил те два бункера, что я вот с этими хлопцами добыл?

Костя вздрогнул и, будто ждал этих слов, набросился на Струнько:

— Ты слезь, слезь, шкура бендеровская! Я тебе вот этим ключом покажу, кто вор! Я тебя, суку продажную, научу... А-а! Все равно, — внезапно успокоился Костя и, махнув рукой, пошел к машине.

Мы молчали, только тракторист Вася нечаянно звякнул дверкой ДТ. Я увидел, как покорно ссутулился Струнько на бункере. Он задумчиво и печально сказал:

— От холера. Знает хлопчик, чем прореху закрыть. Кто, мол, бендеровцу поверит. Нежели ж на роже у меня написано, что я гад и можно со мной, как с поганой собакой, разговаривать. От холера, — глубоко вздохнул Струнько, и мне стало больно смотреть на него. — Давайте робить, хлопцы, — но сам не сдвинулся с места, а, сощурившись, глядел на дальний лес.

— От холера. Тетка Орина пишет, что оправдают скоро. А толку-то, хлопчики, от этого мало. Столько натерпелся, ничему не рад, — тихо, не нам пожаловался Струнько. — Ладно, давайте робить, — спрыгнул он с бункера.

Я подошел к Косте. Безразличный, как камень, он застыл над рулем.

— Костя!

— А-а, соперник, — сказал он.

Я поморщился и передал Ленкину просьбу.

Костя устало покачал головой:

— Нет, Валера, не поеду. А ты пойди и скажи, что я вор и самый последний гад...

— Зачем ты так, Костя? Я же тоже ее люблю...

— Тогда будь здоров.

Он уехал. Дядя Паша говорил Струнько:

— Ты, Федя, этого так не оставляй. Он не он, а разобраться надо.

Струнько ничего не ответил и дернул проволоку, подавая Васе короткий, тоненький сигнал, похожий на вскрик. Вася включил первую скорость.

Монолог подлеца

Непонятно, почему приезжий парторг сильно мной интересуется? Знать он, конечно, ни о чем не знает и даже не догадывается. Но пару раз повопрошал меня:

— Слышь-ка, Павел. Я человек новый, ваших дел тут многих не улавливаю. А ты мужик пожилой, щетина вон у тебя со стажем. В людях должен толк понимать. Чего это Хлынов-то пьет, не скажешь?

Я ему в ответ голубого тумана напустил:

— Сам, товарищ парторг, из-за Коськи мучаюсь. Говорить с ним пробовал, да уговорам-то не поддается. Гоношливый, я тебе скажу, не в меру...

Почесал лысину товарищ парторг, губы свои трубочкой пожевал, да и отстал от меня.

А на днях снова спрашивает:

— Что ж ты, Павел. Про деваху-то про эту, про студенточку, не мог не знать, а промолчал? А? Говорят, ты старый товарищ Хлынова-то? И не хочешь помочь мне, — а зенки у него такие буровистые, цепкие, как у кошки.

— Так дело это душевное, товарищ парторг. Знать-то я про него знал. И Коську не единожды предостерегал. А лишний раз что языком болтать, сам понимаешь. А с Коськой мы товарищи — это верно. Так он плевать сейчас хотел на друзей-товарищей...

Нет, приезжий парторг никаких догадок насчет меня строить не может. И думать про это нечего. Человек я веселый да приветливый, для всех приятель сердечный. Зла на меня никто не таит. А без зла разве кто решится на человека наговаривать? Товарищ парторг просто так, для профилактики, у всех любопытствует.

А меня тревожить не за что. В жизни никто от меня плохого не видел. Я давненько понял, еще только-только усы начали пробиваться, как ты к людям, так они к тебе, их не задевай, и тебя толкать не будут. Главное ведь по-хорошему к человечку подойти, и он тебя всегда добром отблагодарит. Меня с этого принципа никто не столкнет. При нем ведь жизнь-то одно удовольствие! Живи, шути и улыбайся да для общества себя не жалей. И никогда ты, батюшка, за доброту-то не раскаешься.

Вон на Гране на своей я женился. Работала черт те знает где, в каком-то архиве статистику все подсчитывала. Худющая моя Гланя была — прямо как кошка беспризорная. И все-то бы ей злиться. То начальство в стенгазете продергивает, то с подружкой из-за какого-нибудь пустяка поссорится, то меня жирным буржуем обзовет.

А ведь, прости на грешном слове, в постель ложится, я все за перину боюсь, как бы костями не порвала. Истинно слово, палка вострая. Я потихоньку внушать стал моей Глане: будет тебе, дуреха, злостью-то себя изводить. На всех зла не хватит. Ты посмотри, Гланюша, в какое время-то живем. Все радостные да веселые ходят, а ты яд в сердце-то носишь, худоба ты моя. Ты подобрей, подобрей, Гланюша, к людям-то. Вот и счастлива будешь. Натерпелся я со своей Гланей, нервов сколько поистратил, но повернул ее к доброте.

Перевел ее на торговую работу, чтобы к человеку-то простому поближе быть. Доброта-то и не замедлила откликнуться. Оставит для кого что, а тот для Гланюшки прибережет. Она к человечкам по-хорошему, и человечки к ней так же. Силушкой налилась моя Гланя от доброты. До сих пор, а женщина она уже в возрасте, приятно посмотреть, как моя Гланя идет: титькам места под кофтой не хватает и остальное все тоже на месте. И дома стало ласково и обильно.

Иногда оглянешься на прошлую жизнь, вперед ли заглянешь и, честное слово, хочется мне радостно заявить: правильно живешь, Павел Филимонович! Ей-богу, правильно. Врагов ты себе не нажил, друзей — не перечтешь, ну что еще, право, человеку надо? И теснит доброта мое сердце.

С Коськой как получилось? Смотрю, появился в гараже парнишечка, прямо чудесный паренек. Лицо светлое да умное, волосы русые — заглядишься на него. И характер у него ровный, спокойный, слова лишнего не скажет.

И спиртное с братвой отказался пить. Твердо так и решительно сказал:

— Я ее пить не умею...

Братва обычно посмеется и, если человечек слабосердечный оказывается, уступает братве. А в Коськиных словах почуяли они крепкое убеждение и приставать не стали.

Совсем понравился мне парнишка. Не пьет, книжки каждую свободную секундочку читает. Эх, думаю, сынок! Нравишься ты мне. Душевный человек из тебя получится. И стал я ему как бы наставником и другом первым и почти что родным отцом, потому как Коська жил у единственной своей древней бабки, а родители его уже давно не жили на этом свете.

Приболеет Коська, я к нему заеду, дровишек поколю, воды принесу, хлеба завезу, чего-нибудь веселенькое расскажу. Учись, мол, сынок, на особицу жизнь прожить. Бабка Коськина на меня нарадоваться не могла. Все шамкала, как приеду:

— Павел Филимонович, земное те спасибо за заботу. Сироте-то, ой, как тяжко жить, если бы не люди добрые. — И давай старушка сморкаться да платком глаза сушить. Коська парень тоже чувствительный, к доброте большую отзывчивость имеет.

Расчувствовался однажды и говорит:

— Дядя Паша, я тебе всегда благодарен буду. Все для тебя сделаю. Веришь?

Я верю, конечно, потому как честный он парень. А мне, по правде, ничего от него и не надо, мне и так хорошо, что человеку помог людскую доброту почувствовать.

В рейсы мы тоже с ним вместе ходили. Сколько раз я его и баллонами выручал, и из кюветов вытягивал. В общем, дружили по настоящему.

Но доброте учиться, ох, трудненько. Тут одной отзывчивости мало. Тут, если потребуется, и простить сумей. Сердце очень отходчивое надо иметь.

Однажды дровишки мне понадобились, к зиме дело шло. А в Абакане дров достать — как глоток воды в жгучей пустыне. Я присмотрел в одном лесу деляночку. Как раз то, что надо — швырок метровый. Приглядел и прошу Коську помочь мне. Он, конечно, с радостью согласился. Поехали мы под вечер, разыскали ту деляночку. Я прибауточки всякие вспоминаю, весело так грузим.

И надо же! — этому лешему-леснику появиться. Бородищей трясет и меня за грудки. Ты, мол, гад, больничные дрова воруешь. Калек грабишь. Я его полегоньку стукнул и быстрее за баранку. Коське кричу:

— Садись скорей!

Поехали мы, сзади бух, бух! — лесник очнулся, из бердана своего палит. Я газу добавляю. Коська мой бледный, как смерть. Я думаю: парнишка этого лешего-лесника испугался да бердана его. Успокаиваю:

— Не пропадем, Коська. Номерок я грязью замазал, ищи нас теперь по Абакану-то. Не бойсь, сынок...

Долго он бледный сидел. А потом говорит:

— Дядя Паша, я никогда не воровал. Как же быть, дядя Паша? — а у самого слезы на глазах. Я же говорил — чувствительный Коська очень.

— Да какое же это воровство, сынок? Только чтоб в холоде не сидеть. Воруют вон на миллионы, вот те воры. А мы же так, для поддержания жизни дровишки-то взяли. Напрасно ты, сынок, меня обижаешь... — ласково я ему все объясняю.

Он головой дергает, молчит и слезы на глазах.

Да-а, — думаю. Сердце-то у парнишки доброту не прочувствовало как следует. Но не сразу и Москва строилась. Стал Коська тише обычного, а в мою сторону и не смотрит. Соображаю, как бы парень глупостей не наделал. Каяться начнет. Я ему и говорю:

— Коська, сынок. Ты не серчай на старика-то. Простить сумей. Пустяк ведь, хреновина все это. Не терзай ты сердце-то. Жизнь большая, всяко бывает. Прости старика, Коська, не со зла я.

Отмяк он немного. А как иначе? Доброта-то кого хошь убедит. А потом он по молодости непримиримость-то в принцип возводит. Жизни не знает, вот и с психикой ненормально.

А тут страда на носу, и забылась наша с Коськой ссора. Да и ссориться-то не из-за чего было. Эх, губошлепы зеленые.

Воровство? А что это такое и с чем его едят? Вот хлебушко сейчас возим. А сколько его пропадет зазря. Разве с такой громадиной справишься? Все равно снежком заметет. Я тут недавно машинешку зерна на мучицу у одного крестьянина обменял. Моя Гланя любит пироги из свежей-то мучицы. От Коськи я, конечно, не таился. Свернул машину да и все тут. Коська, по молодости, опять распсиховался:

— Дядя Паша, я молчать не буду. Хватит. Я и лесника того разыщу. Ты брось эти шутки. А еще прощенья просил. Дядя Паша, не смей! Уважаю я тебя. Ну, прошу, не делай этого!

Эх, сынок, сынок! Чего хорохоришься? Наблюдательным надо быть в жизни да раздумывать над ней почаще. Все понимать тогда научишься. Я по-хорошему Коське стал объяснять:

— Коська, чудо-юдо! Ты как маленький. Федя-хохол — человек вдумчивый. Зачем ему, переселенцу, лишние разговоры заводить? Зерна-то ведь вон какая прорва! А? Лесника, сынок, не надо искать. Дело разве в этом? Вот ты в девицу в эту, в Леночку, крепко, видать, вдарился. Одобряю, сынок, действуй. И понимаю я, что душа у тебя чистоты требует. Правильно это. Но добрым ведь надо быть, когда любишь. Щедрость всем раздавать. А, Коська? Губошлеп ты зеленый! Неужели сердишься на старика? А я Леночке тебя расхваливал. Не зря ведь, наверное, а? Ты уж не грози старику, ладно? Добро к

добру, и хороший человек получается. Я же тебе добра, Коська, хочу. Верь мне...

Уехал мой Коська. Ничего не сказал. А вот водку употреблять стал ни к чему. Дурачок. А может, к лучшему? Сердце помучит, глянь, оно и добрее станет. А это я верно сделал, что Леночку предупредил да паренька нашего, Валерку-то. Пусть присмотрят за Коськой. Мало ли до каких глупостей пьяный человек может додуматься.

Ага... Вон и Коська, сынок, на дороге меня дожидается. Видно, понял, что зря корил старика. Дак, а как иначе? Доброта, она всегда добром отзовется. Как ни крути...

Монолог повествователя

1

Вот как это случилось: черные прутья берез змейками врезались в бледное ветреное небо, под деревьями тускнели гильзы листьев, будто осень только что ушла со стрельбища, и маленький ежик перебегал поляну в красном берете из листа. Я хорошо видел ежика, потому что комбайн подошел к самому березовому острову посреди поля. Я оглянулся, провожая ежа, и удивился — сзади осталась только соломенная проволока стерни, ершисто упирающаяся в остров. Ни справа, ни слева — нигде не было валков. Я перегнулся через поручни, заглядывая вперед. Мы убирали последний желтый поясок, которым был подпоясан березовый остров. Все. Последняя загонка!

Я завертелся на мостике от нетерпения, от жгучего желания скорее посмотреть — как это кончается страда. Равнодушно ворчал трактор, Венка невозмутимо пыхтел папиросой, зерновой шнек, как всегда, с пренебрежением выплевывал пшеницу. «Словно девка семечки на завалинке грызет!», — подумал я.

Все. Комбайн встал. Я спрыгнул прямо через поручни, как прыгают с машины, и с сияющей рожей бросился к мостику комбайнера. Естественно, я походил на восторженного идиота, и Струнько с хмурым удивлением посмотрел на меня. Никто из них не прыгал и не визжал от радости.

Струнько вытер тряпицей руки и сошел с мостика спокойно, будто собирался пообедать или подтянуть болты. Тракторист Вася дожидался Струнько и солидно, со значением произнес, подавая руку:

— С благополучным тебя, Федор Петрович.

— Угу, — буркнул Струнько,—отробились, слава богу.

Он сел прямо на стерню и, как в музеях смотрят интересные картины, рассматривал свой комбайн. Вася задумчиво сидел рядом и, сцепив на коленях руки, жевал соломинку.

Я насквозь пропитался лирической сдержанностью момента и издевался над своей идиотской улыбкой, которая лишний раз доказывала, что я еще щенок, скулящий от боли и визжащий от радости.

Венка складывал свой тулуп и говорил мне:

— Хочешь, приезжай сегодня в баню. Я мамке с утра наказал топить. Попаримся, самогону дернем. Хочешь? Я тебе на гармошке поиграю...

Я проглотил комок и сдавленно сказал:

— Спасибо, Венка...

Он с удивлением посмотрел на меня и, видимо, заметил мои покрасневшие глаза. Ухмыльнулся и засопел, стягивая тулуп веревкой.

Потом Венка сказал мне:

— Рад, черт моржовый, что отмаялись? То-то. Это тебе не в соломе мечтать, грезы, мимозы,— но материться Венка не стал.— Ладно, Валерка. Давай я тебе проводы устрою.

Он взял лопатку с мостика и стал обкапывать ближнюю копну. Потом присел на корточки и чиркнул спичку. Копна запылала вольно и жарко.

— Ишь, как порох, — удовлетворенно приговаривал Венка, и я заметил в его синих бесстыжих глазах острое любопытство и детский восторг, словно от интересной игрушки.

Копна скоро догорела, и пепел зазмеился белыми и красными червячками.

— Вот так-то, черт моржовый, — сказал мне на прощание Венка.

Я не стал ждать машины и пошел напрямик через поле. Сухо трещала стерня и сухими ручейками осыпалась земля. Я ни о чем не думал и распахнул телогрейку, потому что идти стало жарко.

Еще издалека я увидел машину дяди Паши, идущую по большаку. На повороте она встала, и дядя Паша вышел из кабины. «Что-то случилось», — подумал я и увидел, как в немом кино, другого человека, с размаху ударившего дядю Пашу в лицо. Дядя Паша замахал руками, видимо, испуганно запричитав: «Что ты, что ты, сынок?»

Человек еще раз ударил, и я узнал Костю.

Я побежал, хотел закричать, но не хватило воздуху и глухо заломило в ушах. Дядя Паша пятился к кабине, резко метнулся к открытой дверце, и на бледном небе четко выделился уступ заводной рукоятки. Костя упал лицом в кювет, а дядя Паша быстро запрыгнул в кабину и сразу рванул газ.

Последние метры я уже не мог бежать и почти падал, волоча ватные ноги по стерне.

Костя лежал, будто собирался попить из кювета. С козырька слипшихся волос капала кровь. Я перевернул его и несколько раз позвал. Он не откликался. Я попробовал поднять его, но чуть не уронил и понял, что это бессмысленно. Тогда я взял его под мышки и, пятясь, потащил по большаку. Костины сапоги оставляли два глубоких желоба в серой и мягкой пыли.

Я тащил его очень долго. Кровь теперь капала и засыхала крупными ягодами боярки на черном бумажном свитере. Потом нас догнала машина, и Ваня Чернов помог затащить Костю в кузов.

На центральной усадьбе усатый фельдшер обмыл Косте голову и дал понюхать ему нашатырного спирта. Костя поморщился и открыл глаза. Мы сидели в медпункте с новым парторгом Прохором Игнатьевичем, который сразу же пришел, как привезли Костю. Мы молча ждали, что Костя скажет. Он узнал меня:

— Ничего... Не говори... Ленке...

Потом Костя снова закрыл глаза, может быть, потеряв сознание, а может быть, нет. Фельдшер повез его в Абакан, так как на центральной усадьбе не оказалось доноров.

Мы вышли с Прохором Игнатьевичем на крыльцо. Постояли, думали о разном. И он сказал мне:

— А Елене-то ты все скажи. Девке надо знать. Переживает же...

3

Мы стояли с ней за бараком, на тропиночке, проложенной в высокой и сухой полыни. Ленка обрывала седые дробинки с полыни и бросала их под ноги. Я не знал, что еще говорить, и стоял, тупо считая, сколько дробинок подкатится ко мне. Одна—две—три—десять, — отмечал я, и во рту было сухо, а полынь пахла аптекой. Мы все молчали.

Ленка стояла, закусив губу, и я понял, что она сейчас расплачется. В глазах у нее дрожала прозрачная пленка.

Слезы набегали на Ленкины губы, а она говорила тихо, с трудом проглатывая обиду.

— Отстаньте вы все... со своей любовью... Какие... все... впечатлительные... Остро переживающие... Надоело... Оставьте в покое... Только бы мучили... своими переживаниями... Ах, я плохой... Но люблю... Ах, я хороший... ты еще пожалеешь... Надоело... Слышать не хочу-у-у... — заревела Ленка громко, не сдерживаясь. Получалось, что она кричит на кого-то...

Мне тоже хотелось зареветь. Громко. И кусать мокрую от слез кепку, сжатую в кулаке...

4

Приезжал директор совхоза. На грузовике с открытыми бортами, застеленная красной материей, стояла тумбочка и знамя. Было похоже, что приехали за каким-то почетным покойником и сейчас его будут выносить.

Директор стоял возле тумбочки и знамени, в пыльных сапогах. У него было усталое лицо. Он сказал речь:

— Товарищи студенты! Хлеборобское вам спасибо и поклон. Мы очень довольны вами. Теперь езжайте и учитесь спокойно. И не забывайте Хакассию. Она вас тоже не забудет.

Мы гаркнули «ура!», и директор, вздрогнув, смущенно улыбнулся. Потом он называл наши фамилии и вручал кому значок «За освоение целинных и залежных земель», кому — грамоты обкома, горкома, райкома ВЛКСМ. Поздравлял «от имени и по поручению ЦК ВЛКСМ». Он жал всем нам руки, неловко наклоняясь с грузовика. От частых наклонов лицо у него стало красным и сердитым.

Вальку Капустина представили к медали «За освоение целины».

Пришли знакомые нам машины, но с красными плакатами и толстыми скамейками. В кузове на полу, в щелях между досок, застряло много зерен. Тех самых, которых мы перевозили горы.

В Абакане, на вокзале, я подошел к Ленке. Она ела арбуз, и от сока у нее почернел пушок на верхней губе. Весь наш эшелон сейчас ел арбузы. Ленка предложила:

— Ешь...

— Спасибо...

— Ленка, как ты хочешь, но надо проститься с Костей. Уезжаем ведь...

Она смотрела на меня сухими глазами:

— Нет. Если бы надо было, если бы он обо мне думал, он нашел бы меня.

— А я пойду, позвоню...

— Как хочешь...

Я пошел, Ленка окликнула:

— Не вздумай и от меня приветы передавать. Не смей. Я — сама по себе...

Я не знал, в какой больнице лежит Костя. Я позвонил во все, даже в железнодорожную. Девушка в справочном пожалела в трубку:

— Опять вы... А кого вы ищете?

Я объяснил.

— Позвоните в скорую. Может, там знают.

Да, Костя лежал в травматологическом отделении при скорой. Но сегодня выписался. Черт, где его найдешь? — бросил я трубку.

Потом догадался. Позвонил в ГАИ и сказал, что в Абакане проездом, что ищу старого друга, начальника какой-то автобазы Максима Петровича Ярого. Так и узнал я номер гаража.

Вахтершу я напугал тем, что звонит областной прокурор. Она побежала искать «Костика, которого нынче вроде видала».

Я долго ждал и услышал Костин голос.

— Да?

— Это Валерка...

— Ты откуда?! — крикнул Костя в трубку.

— С вокзала...

— Как с вокзала! Вы все уезжаете?! И...

— Да, все, — перебил я его.

— Как же... А черт!.. — бросил трубку Костя.

Я знал, что он обязательно приедет. Когда дали первый звонок, я разыскал Ленку. Она стояла у окна и все время смотрела на вокзальные двери. Мне было пусто и грустно: Ленке никогда не будет до меня дела.

Я тоже стал смотреть в соседнее окно. Дали третий звонок, а Кости не было. Ленка сейчас, наверное, крепко сжала стальную перекладинку со шторкой.

Поезд пошел. Костя все равно где-нибудь, на каком-нибудь переезде нас догонит. Ему нельзя было не догнать.

Мы проехали переезд, где давно я прощался с Семеном. Кости не было. Мы проехали и домик, где жил Семен. Он сколачивал что-то во дворе и даже не поднял кудлатой головы на поезд. Я понял, что с этой минуты целина стала воспоминанием. Кости все не было. Значит, не успел. Наши девчонки пели в вагоне:

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром зажглась прощальная
звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда...

Да. Грустно...

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Анатолий Аквилев

В грозу

Сиреневой веткой по тучам,
как молнией,
ветер пробьет —
и гром, как любовь, неминучий
по тонким ромашкам пройдет.

И ливень —
Чистейшие слезы.
Любви не бывает без слез.

Прижалась девчонка к березе,
а сердце промокло
насквозь...

Но радуга вспыхнет в награду
предсвадебной лентой тугой —
и семь колокольчиков кряду
тебе прозвенят
под дугой!

Ленинград

Майя Борисова

Колыбельная сказочка

Везли на казнь разбойника Афоню,
Проселками глухими колеся.
И день и ночь гремели под Афоней
Четыре спотыкливых колеса.
Молил Афоня стражу:
— Погоди, мол...
Измаялся! Поспать бы хоть часок.
А те ему в ответ:
— Окстись родимый!
И так боимся: не поспеем в срок.
А в городе народ на площадь ладит,
Все по местам, как повелось давно:
В партере — шубы,
на галерке — лапти,
И царь — на царском стуле приставном.
Часы идут.
Пора...
Куда уж позже?
Толпа ярится, вольности крича.
Сам царь порою взвизгивал:
«Сапожник!»,
Так выражаясь в адрес палача.
А что палач?
Он рядовой работник.
Над ним, над безответным, разве суд?
Он-то давно готов,
а где разбойник?
А вон разбойник — вон его везут!
Толпа кричит:
— Теперь давай по плану,
Теперь порядок!
Вовремя поспел.
Мостит Афоня голову на плаху,
А плаха для Афони — что постель...
И уж на что палач — мужчина храбрый,
И тот воскликнул:
— Господи прости!
Когда Афоня
богатырским храпом
О сне своем народ оповестил.
Толпа в смятенье.
(А царям знакомо:
Смятение толпы — едва не бунт...)
Ворчат:
— По христианскому закону
Лежачего и сонного не бьют...
Мол, грех на душу примем, это точно...
Пошлет нам бог холеру иль чуму...
И царь, махнув батистовым платочком,
Сказал:
— Свободу жалую ему.
Ушел Афоня
во-о-он он, ручкой машет...
В дремучие леса Афонин путь.
Усни, мой мальчик,
Ты ведь понял, мальчик,
Как это важно — вовремя уснуть.

Ленинград

Евгений Евтушенко

Русская игрушка

Сказка

Шла по выжженным
селам
татарва на рысях,
приторочивши к седлам
русокосый ясак.
Как под темной водою
молодая ветла,
Русь была под Ордою.
Русь почти не была.
Но однажды, как будто
все колчаны без стрел,
удалившийся в юрту,
хан Батый захмурел.
От бараньего сала,
от лоснящихся жен
что-то в нем угасало —
это чувствовал он.

И со взглядом потухшим
хан сидел, одинок,
на сафьянных подушках,
сжавшись, будто хорек.
Хан сопел, иступленной
скукотою томясь,
и бродягу с торбейкой
ввел угодник-толмач.

В горсть набравши
урюка,
чуть качнув животом:
«Кто такой?» — хан
угрюмо
ткнул в продажку
перстом.
Тот вздохнул: (Божья
матерь, —
то Батый, то князья...)
«Дел игрушечных
мастер —
Ванька Сидоров — я».
Из холстин дыроватых
в той торбенке своей
стал вынать деревянных
медведей и курей.
И в руках баловался
потешатель сердец —
с шебутной балалайкой
скоморох-дергунец.
Но, в игрушки вникая,
умудренный как змий,
на матрешек вниманье
обратил хан Батый.

И с тоской первобытной
хан подумал в тот миг:
скольких здесь
перебил он,
а постичь — не постиг.
В мужичках,
скоморошьи —
простоватых на вид,
как матрешка
в матрешке,
тайна в тайне сидит.
Озираясь трусливо,
буркнул хан толмачу:
«Все игрушки тоскливы,
посмешнее хочу.
Пусть он, рваная нечисть,
этой ночью не спит
и особое нечто
для меня сочинит».
Хан добавил, икнувши:
«Перстень дам и коня,
но чтоб эта игрушка
просветлила меня...»
Думал Ванька про волю,
про судьбу про свою
и тряхнул головою:
«Сочиню... Просветлю...»
Шмыгал носом он
грустно,
но явился в свой срок:
«Сочинил я игрушку.
Ванькой-Встанькой
нарек».
На кошме некичливо
встал простецкий,
незлой,
но дразняще качливый
мужичок удалой.
Хан прижал его пальцем
и ладонью помог.
Ванька-Встанька
попался,
Ванька-Встанька прилег.
Хан свой палец отдернул,
но силен, хоть и мал,
Ванька-Встанька задорно
снова на ноги встал.
Хан игрушку с размаха
вмял в кошму сапогом
и, знобея от страха,
заклинал шепотком.
Хан сапог отодвинул,
но, держась за бока,
Ванька-Встанька
вдруг вынырнул
прямо из-под носка!
Хан попятился грузно,
Русь и русских кляня:
«Да, уж эта игрушка
просветлила меня...»
Хана страхом шатало,
и велел он скорей
от Руси от шайтана
повернуть всех коней.
Словно в россыпях
гривен,
Заиграла трава.
Прижимаючись к гривам,
шла домой татарва.
И, теперь уж отмаясь,
положенный вповал,
Ванька Сидоров-мастер
у дороги лежал.
Он лежал, отсыпался —
руки белые врозь.
Василек между пальцев
натрудившихся рос.

А в пылище прогорклой
так же мал, но удал
с головенкою гордой
Ванька-Встанька стоял.
Из-под стольких кибиток,
из-под стольких копыт
он вставал, неубитый,
только временно сбит.
Опустились туманы
на лугах заливных,
и прошли басурманы,
словно не было их.
Ну, а Ванька остался,
как остался народ,
и душа Ваньки-Встаньки
в каждом русском живет.
Мы — народ Ванек-
Встанек.
Нас не бог уберег.
Нас давили, пластали
столько разных сапог.
Но, надеясь на небо,
нам не знали цены
ни французы, ни немцы,
ни князья, ни цари.
Они знали: мы — Ваньки.
Нас хотелось покласть.
Но о том, что мы —
Встаньки,
забывали, платясь.
Мы — народ Ванек-
Встанек.
Мы встаем — так
всерьез.
Мы от бед не устанем,
Не поляжем от слез.
И все так же отважно
Ванька-Встанька все тот
посмеется над каждым,
кто на Русь посягнет,
посмеется, невмятый,
не затоптанный в грязь,
мужичок хитроватый,
чуть покачиваясь...

Москва

Василий Казанцев

Меня пространство поманило...

Меня пространство поманило,
И, не успев сказать «Куда?»,
Завороженный страшной силой,
Я прошептал пространству «Да».

И обняла меня свобода,
Какая снилась только в снах.
Высокий пик сигнал мне подал,
Далекий остров подал знак.

А неразумная квартира,
Как неразумная жена,
На плечи висла и твердила,
Как же она, как же она?

Меня пространство поманило
Путем созвездий и планет.
Меня свобода полонила,
Я не смогу ответить «Нет».

Томск

Владимир Кафаров

Над Баку

Я хочу
каждый день
подниматься сюда
И смотреть на дома,
на сады,
на суда,
Здесь Мироныч[1] стоит,
упираясь в зенит.
Тронув вечную медь,
вещий ветер звенит.
Слушать их голоса
я часами готов:
Это — прошлого клич
и грядущего зов.
Мне тогда не сдержать
непреклонную мысль.
Слишком медленно мы
поднимаемся ввысь.
И дома, что внизу
высоки и светлы,
Сверху, кажется мне,
и низки, и малы.
Даже сад, чьи пруды
наши взоры влекут,
Непригляден на вид,
как зеленый лоскут.
А суда на воде!
Как скорлупки, они,
Привяжи их гуськом
и бечевкой тяни.
И тогда я хочу
строить шире, щедрей,
Чтобы стены домов
и борта кораблей
Стали выше стократ
и намного прочней,
Чтоб достать до луны
прямизною аллей.

Баку

---

[1] Так старожилы Баку до сих пор называют Сергея Мироновича Кирова.

Станислав Куняев

В столовой на дне котлована...

В столовой на дне котлована,
в мирке гуляшей и котлет,
мне было обидно и странно
на эти картины смотреть.
Художник, принявший заказы,
был, видимо, дошлый маляр...
На стенах пылали закаты,
привычные в южных морях,
В богатых багетах синели,
как вызов ангарской зиме,
букеты душистой сирени,
не виданной в этой земле.
...За окнами полосы мари.
Вдохнешь — словно спирта глоток,
болтается в сизом тумане
морозного солнца желток.

И в окна врывается грохот
падунской шальной шиверы,
ребята в брезентовых робах
крушат берега Ангары.
Закончив кавказские виды,
хитро разукрасив панель,
художник, ну как ты не видел
вот этих скуластых парней?
И пусть натюрморты неплохи,
но люди — живее цветов,
и рядом дыханье эпохи.
Эпоха зовет мастеров
содеять такое искусство
без фальши и без суеты,
чтоб ахнули люди: «Неужто
мы — люди такой красоты!»

Москва

Владимир Корнилов

Три месяца мы с пробами...

Три месяца мы с пробами
Ломились сквозь кедрач
И всё
Делили поровну —
И труд,
И чай,
И харч.

В сушняк кидали спальники,
Девчонок —
Клали в центр,
Жевали сны,
Как пряники,
Без судорог и сцен.

Все бредни были начисто
Отвергнуты тогда.
В том не было монашества —
Велела так тайга.

И чтоб не уподобиться
Сычу или сове,
Резон был
Беспокоиться
Поменьше о себе.

Москва

Александр Кухно

Корвет

В районном сквере, на скамье чугунной,
я слушаю дыханье сентября —
корвет усталый, в золото лагуны
навеки опустивший якоря.

Я стар и слаб. Я незаметно дожил
до пенсионных невеселых лет.
Меня теперь томит одно и то же:
«Куда ты плыл, какой оставил след?»

О да, я плыл! Когда я был нестарым,
я бороздил глубокие моря.
И капитан любил меня недаром,
и вся команда холила не зря.

Меня отвага юности питала,
мечта вела дорогою морской.
Куда я плыл? — Спросите капитана.
Какой я след оставил? —
Никакой...

Следы любые гаснут в океане.
Чем выше вал — тем незаметней след.
Кто морем жил — печалиться не станет.
о том, что в море
памятников нет.
Я — памятник
героям безымянным!
Горжусь, что с ними на одной волне
я штормовал под парусом багряным, —
и даль морская подчинилась мне.

Горжусь, что был послушен рулевому.
Горжусь, что был матросами любим.

Ко мне, ко мне, — как никому
другому, —
приходит эхо из морских глубин.

То кораблей отвоевавших голос,
моих орудий неумерший гул.
О если б даже море раскололось —
я все равно бы в нем не затонул!

Нет, не уходим — сходим постепенно,
становимся частицами морей...
Пусть говорят, что все на свете тленно —
а я не верю тленности моей.

Другие корабли идут по свету,
родные оставляя берега.
И не к лицу мне, старому корвету,
на молодость глядеть, как на врага.

Новосибирск

Александр Межиров

Просыпаюсь и курю...

Просыпаюсь и курю.
Засыпаю и в тревожном
сне
о подлинном и ложном
с командиром говорю.

Подлинное — это дот,
За березами, вон тот!
Дот как дот, одна из точек.
В нем заляжет на всю ночь
Одиночка-пулеметчик,
Чтобы нам ползти помочь.

Подлинное — непреложно:
Дот огнем поддержит нас.
Ну а ложное — приказ,
Потому что все в нем ложно,
Потому что невозможно
По нейтральной проползти.
Впрочем... если бы... саперы...
Но приказ — приказ, и споры
Не положено вести.
Жизнью шутит он моею, —
И, у жизни на краю.
Обсуждать приказ не смею...
Просыпаюсь и курю.

Москва

Александр Морковкин

Мостки

Эту землю железом
щупали,
Перебрасывали мостки.
В сапогах наши ноги
хлюпали
От времянок и до реки.
Даже площадь у нас
деревянная,
И по праздникам,
в перепляс

Незамужние,
окаянные,
Зазывают женатых нас.
Обступили леса
сосновые,
Корабельные, строевые.
Не с таких ли мостков
тесовых
Начинался асфальт
России?

Москва

Сулейман Рустам,
народный поэт Азербайджана

Моя судьба

Я не искал ни почестей,
ни славы,
Я шел с народом, не плутал
во мгле.
Любил не изощренные
приправы —
Ломоть простого хлеба на столе.
Судьба моя пряма и неподкупна.

Немало разорвал я лживых пут,
Все отразил,
И все покажет крупно,
Как зеркало заветное, мой труд.
Кто я — давно всему известно
свету,
Я — путник неизведанных дорог,
Открыл я путь на дальние
планеты,

Переступив через земной порог.
В сражениях, израненный
жестоко,
Я был к врагам по-вражески
жесток.
Я светлый мир покинул бы
до срока,
Когда б ничем Отчизне
не помог.

Что в колыбелях?
Будущее наше.
Смотрю на них и верую опять,
Что сердцу моему в могиле
даже
Неутолимо биться и стучать.

Баку

Имран Сеидов

Стремительная, легкая, как птица...

Стремительная, легкая, как
птица,
Проносится дорожкою прямой...
За ней следят восторженные
лица
С крутых трибун,
гудящих, как прибой...
Она,
прекрасная и молодая,
Вся золотая в солнечных лучах,
Летит к победе,
всех опережая,
С неистребимой волею в очах...

И стоя аплодируют трибуны
Ей,
рвущей ленту где-то впереди...
А у нее,
ликующей и юной,
Три «С» и «Р» пылают
на груди...
Не так ли ты,
страна моя родная,
Сметая все преграды на пути,
Летишь вперед,
других опережая,
И тот же символ на твоей
груди!

Баку

Марк Соболь

Поэту

Были вдохновенье и отвага,
был сверкнувший молодости взлет...
Где-то между сердцем и бумагой
молнию поймал громоотвод.

И пошло — какая там стихия!
Просто бесполезнее трухи
скучные, холодные, сухие,
гладко бессердечные стихи.

Но ведь был же вспышкою запала
брошен ты за стол в ночной тиши?
Кончено. Прошло. Пиши пропало.
Нет! Когда пропало — не пиши.

Не пиши! Убей стихотворенье.
Если между сердцем и пером
встал проклятый камень преткновенья—
дело не окончится добром.

Жизнь свою начав с другой страницы,
ринься в битву яростным огнем —
с ленью и с боязнью ошибиться,
с тупостью, с чиновным дураком.

Но не смей дешевой позолотцей
красить худосочные слова.
Быть стихам! А камню — расколоться.
Камень — мертв. Поэзия — жива.

Москва

Роман Солнцев

Осень

Каким из золотых ключей
распахнуто подполье,
не знаю...
но в лесу светлей,
светлей, чем в чистом поле!
Как будто тлеет все кругом.

Но прислонись ты к веткам —
не может быть в лесу таком
плохого с человеком.
В одежде смутной тьмы и звезд
березы, точно домны!

А где-то в полусотне верст
гремят ракетодромы.
Я часто вижу:
белый свист
уходит в стратосферу.
— Безбожник! Парень! Не свались...
А я — за эту веру!

Я,
как Джордано Бруно,
страх
восторженно отбросив,
сгораю
на твоих кострах,
рябиновая осень!..

Илья Фоняков

О душе

1

Не знавал я попов на свете,
Никогда не зубрил молитв.
Но души если нет — ответьте,
Что ж тогда у меня болит?
Вот сжимается,
холодея,
Вот бунтует,
не зная мер...
Разве может болеть идея
Или выдумка,
например?
Неспроста, вероятно, все же,
Всесоюзно дела верша,
Сам ЦК иногда не может
Обойтись
без слова «душа».
Что ж за хитрая это штука,
Где жилище во мне нашла?
Или нынешняя наука
Впрямь чего-то недоучла?
В сотнях справочников проверьте,
Опровергните сорок раз,
Я физически —
вот поверьте! —
Ощущаю ее сейчас...

2

Лепту в храмах с мирян взимают
Благочинные торгаши.
— Позаботьтесь, —
они взывают, —
О бессмертье своей души!..
Ишь, как действуют словесами —
И рассчитано, и умно!
Ну, а мы —
за бессмертье сами,
С той поправочкой,
что оно
Обретается не в моленьях,
Не в глазении на киот,
Не в стоянии на коленях
День за днем
и за годом год.
Что-то в мире оставить надо,
Чтобы люди,
к делам спеша,
Даже с первого, мельком, взгляда
Признавали:
— Здесь есть душа!
...Тихо в мире.
Светло и звездно.
Вызревает рассвет в тиши.
Позаботьтесь, друзья, серьезно
О бессмертье своей души!

Новосибирск

Олег Шестинский

Мне подарили город...

Мне подарили город, целый город,
Не знаю я — на радость иль беду...
Мне жарко, я распахиваю ворот
И с женщиной по городу иду.

Весь город подарили мне — со снегом,
С деревьями, с мостками на ручьях...
Я был обыкновенным человеком.
А нынче город у меня в руках.

И страшно мне до головокруженья,
Что женщина, что девочка почти,
Как утреннего солнца отраженье,
Вновь возникает на моем пути.

Все путано, светло и неизбежно,
Мой каждый день сгорает, как звезда,
Я всяко жил, и бедно, и безбедно,
Но так еще не жил я никогда.

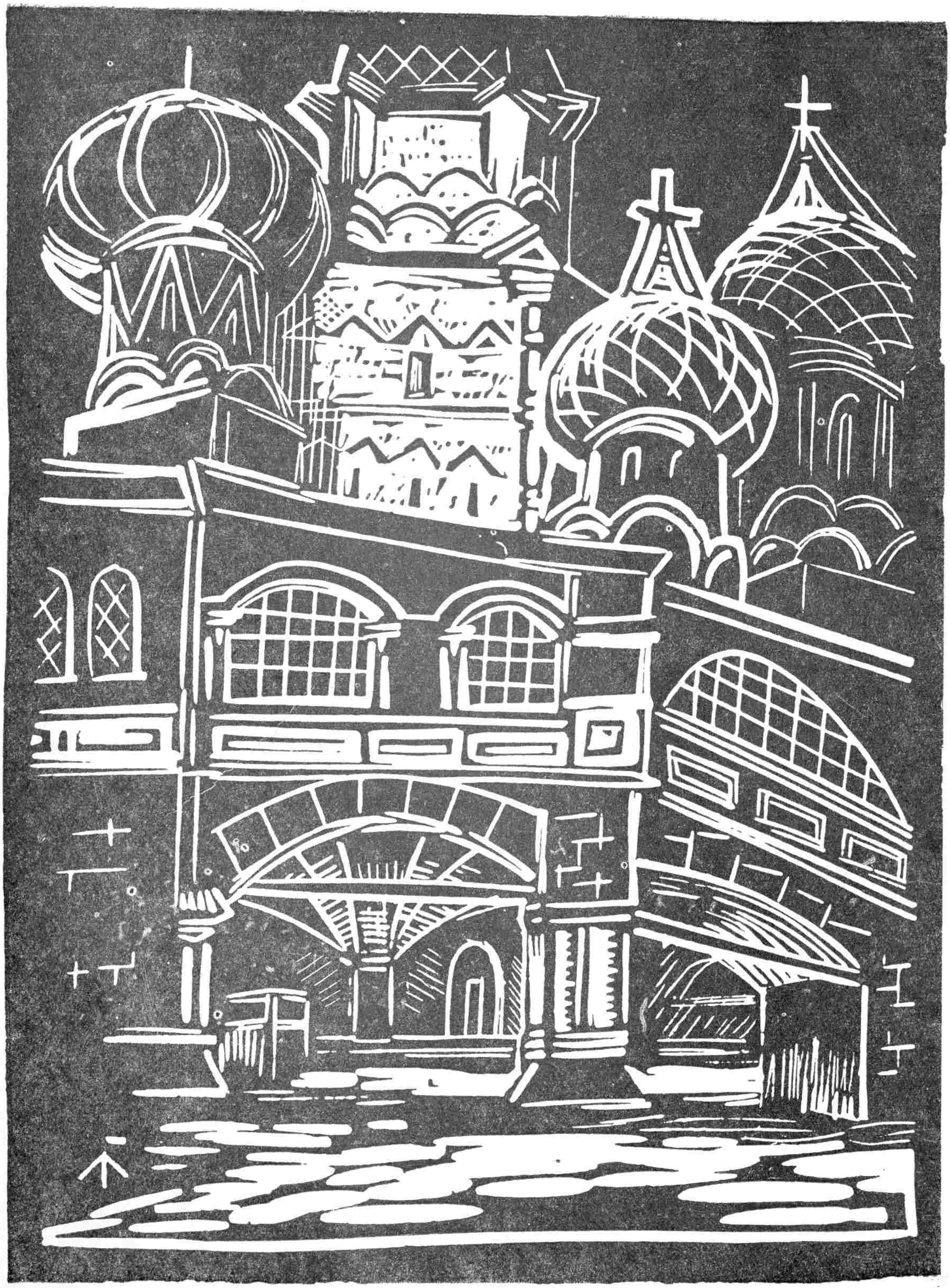
Опять пахнуло колдовством в России,
Когда, тряхнув бедовой головой,
Пленительный, певучий, синий-синий
Она мне город подарила свой.

И стало мне и радостно, и грустно,
И сам себя я не пойму никак...
Великое всегда так безыскусно,
А я всю жизнь искусничал, чудак.

Ленинград



Г. Леви. Загорск. «Троица». Гравюра.



Г. Леви. «Василий Блаженный». Гравюра.



Л. Могилев

КОЛЛОИД ДОКТОРА КРОГА

Фантастическая повесть

Доктор Крог получил отставку.

— Видите ли, уважаемый коллега, — заявил ему директор института мистер Дейлор, — ваши лекции... э-э... несколько не устраивают студентов. Вы... как бы вам сказать, слишком абстрагированы в своих рассуждениях.

Высокая нескладная фигура доктора являла разительный контраст маленькой плотной фигуре директора.

Смущенно пробормотав что-то себе под нос, Крог направился к двери.

— Впрочем, уважаемый коллега, — раздалось ему вослед, — не поймите наше решение как желание избавиться от вас. Нет, нет! Упаси боже! Мы лишь считаем, что вам нужно временно отдохнуть от служебных забот.

Директор мелко захихикал, сложив пухлые веснушчатые ручки на круглом животе.

Дома доктора ожидало неприятное объяснение с супругой. Выслушав его сбивчивую речь, она смерила его уничтожающим взглядом.

— Растяпа! Не сумел постоять за себя!

Это была высокая дородная женщина средних лет. Ее мужеподобный характер не раз избавлял доктора от житейских невзгод.

— Нет, вы только подумайте, — продолжала она, энергично одернув передник. — он забыл, что у него взрослая дочь! Он забыл, что эта дочь, как и всякая приличная девушка, должна получить хорошее образование!

По опыту долгой семейной жизни доктор знал, что приступ гнева будет непродолжительным, и покорно сносил попреки.

На семейном совете было решено до лучших времен выехать в загородный дом: скромные сбережения семьи не позволяли содержать городскую квартиру.

Дочь Крога Эмма училась в колледже, но отъезд совпадал с летними каникулами и не мог в ближайшее время отразиться на ее занятиях.

Отставка не была неожиданностью для доктора, но горький осадок происшедшего остался в его душе.

Крог немало потрудился в области физиологии и биохимии. Несколько оригинальных работ по физиологии клетки сделали известным его имя в кругу специалистов. Но при всем этом он не мог, как говорится, завоевать себе почет и уважение. Застенчивая манера держаться, туманный способ выражать свои мысли, глядя мимо собеседника, создали ему репутацию чудака. Некоторые считали его недалеким и снисходительно улыбались, слыша о его научной работе.

В последние месяцы в институте, в кругу его мнимых «доброжелателей», все чаще и чаще раздавались за его спиной злорадные смешки.

Вечером зашел Леви — институтский коллега и старый школьный товарищ Крога.

Трудно было сыскать человека, более противоположного Крогу по облику и характеру. Этот крупный мужчина дышал здоровьем и энергией. Он выглядел молодо для своих лет. Несколько саркастический склад ума и в то же время уравновешенность придавали ему какую-то особую жизненную силу.

← Г. Леви. Болгарский танец. «Проводы масленицы». Гравюра.

— Здравствуй, старина! — прогремел он, появляясь в дверях.

— А, Ден, проходи.

— Пройду, не беспокойся.

Размашисто отерев платком потное лицо, Леви плотно уселся на скрипнувший стул.

— Слышал обо всем. Можешь не рассказывать.

С минуту он смотрел на Крога. В светлых глазах искрилась добродушная усмешка. Крог всегда немного терялся под взглядом товарища, словно чувствуя себя в чем-то виноватым.

— И ты не послал их на прощанье к черту, не нашелся, что сказать этому бурдюку, набитому прописными истинами! Эх, брат...

— Но постой, что я мог ответить? Может быть, в известной степени они и правы... Может быть, я...

— Оставь. Сейчас не время разводить сантименты. Нужно подумать о будущем.

— Научите вы его уму-разуму, мистер Ден, — сказала жена, входя в комнату.

— Вот что, месяца через два освободится место в лаборатории профессора Старлинга. Лично знаком. Могу рекомендовать тебя.

— Не знаю, как и благодарить тебя, Ден!

— Успеешь.

Через минуту по лицу Крога пробежала тень сомнения.

— А ведь, возможно, профессору... — начал он, но Леви не дал ему договорить.

Ужин прошел оживленно. Эмма смеялась от остроумных шуток Леви. Семья поделилась с ним своими планами относительно переезда.

— А ведь верно, старина, ты должен отдохнуть. Ну ее... эту науку! Солнце, воздух, вода — вот что тебе нужно!

Уходя, Леви вдруг широко улыбнулся своим мыслям.

— А знаешь, что сочинили студенты про нашего директора? Нет? Ну, так слушай.

> Нельзя ошибиться, сказав о нем так:
> Веселый тупица и скучный остряк.

Загородный дом доктора Крога был километрах в двадцати от города.

Почтенный возраст дома сказывался во всем. Скрипели давно не крашенные половицы, заметно покривились дверные косяки, обои потемнели и отстали во многих местах. Пыльный дух нежилого витал по комнатам.

В бытность свою в институте доктор со своей семьей редко посещал его. Дом пустовал. И вот теперь ему предстояло принять под черепичную крышу своих исконных хозяев.

В скрипе половиц и дверей словно слышался его упрек:

«Ага-ааа... Теперь-то вы вспомнили обо мне!»

Так в трудную минуту вспоминают ненароком забытого друга.

Застекленной верандой дом выходил в сад, который незаметно переходил в кустарник, обрамляющий илистое русло ручья. Выбравшись из кустов, ручей весело пробивал себе дорогу через травянистый луг к озеру, светлой полосой видневшемуся вдали.

Доктор задумчиво бродил по комнатам, но супруге его было не до лирических воспоминаний.

— Ну что ты вечно попадаешься на дороге! — прикрикнула она на мужа, — иди, иди, побудь на вольном воздухе... благо, погода хорошая!

Миссис Крог с присущей ей энергией взялась за благоустройство древнего обиталища.

Молоденькая прислуга Ани, как птица, летала повсюду. Ее ловкие руки мгновенно уничтожили пыль, паутину и плесень, обращая в позорное бегство мокриц, многоножек и пауков.

— Ани! Ани! — то и дело слышался требовательный голос миссис Крог, и Ани появлялась и исчезала с новыми и новыми поручениями.

Постепенно все принимало приятный для глаза вид: заблестела мебель, на широко распахнутых окнах под легким сквозняком заколыхались гардины, пол стал ослепительно чистым, беспощадно изгнанная пыль открыла красивый узор старых обоев.

Из чемоданов, ящиков и узлов извлекались коврики, салфетки, полочки и многомного разных мелких атрибутов домашнего уюта.

Доктор сидел на скамейке у дома и с наслаждением вдыхал свежий загородный воздух.

— Чарльз, — послышался властный оклик жены, — иди сюда!

Доктор послушно пошел в комнату.

— Вот что, — продолжала раскрасневшаяся от суеты миссис Крог, — под свою лабораторию можешь приспособить веранду. Мы с Ани там уже навели кое-какой порядок.

Мысль была удачная: веранда просторная и светлая. Началось размещение лабораторного имущества, которого оказалось довольно много. Здесь были различные химические приборы, бережно упакованные для перевозки, большой бинокулярный микроскоп, вакуум-насос, гидравлический пресс, термометры разных образцов, электроизмерительные приборы, химическая посуда.

Особенно много было круглых стеклянных банок вместимостью от одного до нескольких литров. Доктор знал, что жена втайне претендует на несколько этих банок, намереваясь использовать в будущем под варенье и грибы. Но в этом отношении он строго выдерживал роль хозяина дома и был готов отстаивать свое имущество.

Наконец все размещено. Приборы нашли место на столах и полках, бумаги сложены в ящики, книги — в шкаф. Остальное свободное пространство заняли банки.

— Ну вот, — сказала жена, окинув веранду самодовольным взглядом, — вступай во владение.

Эмма должна была приехать на день позже: она сдавала последний экзамен. Ее комнату миссис Крог убрала с особым старанием.

Прошло две недели со времени переезда Крогов. Лето в разгаре. Волны теплого воздуха, насыщенные ароматом цветов и трав, врывались в широко открытые окна.

Эмма то качалась в гамаке с книгою в руках, то, схватив мохнатое полотенце, убегала купаться на озеро. Миссис Крог деловито распоряжалась по хозяйству. Мелькало белое платьице Ани, и раздавался ее звонкий голос.

Но вся эта шумная жизнь проходила мимо доктора Крога. Он надолго уединялся в своей лаборатории. Миссис Крог, которая безраздельно властвовала во всем доме, увы, теряла эту власть в научных апартаментах мужа. Ее шумный напор встречал там молчаливое, но упорное сопротивление.

Лаборатория была затенена шторами, чтобы жгучее дневное солнце не нагревало помещение. Как муха, гудел маленький вентилятор. Высокая нескладная полусогнутая фигура Крога качалась над лабораторным столом, который дополнительно освещался электролампой, глубоко скрытой рефлектором. На столе в пузатых колбах выпаривались разноцветные жидкости. Другие колбы с жидкостями охлаждались в больших кристаллизаторах с водой. Булькал водоструйный насос. Пар тонкой пленкой застилал очки доктора, и тот то и дело снимал их и протирал платком. Временами он дергал за шнурок, и тогда раздвинувшиеся шторы впускали в комнату потоки солнечного света.

Крог, подняв на уровень глаз колбу, на дне которой колыхались маленькие студенистые комочки, долго и внимательно рассматривал ее на свет. Затем с адским терпением и осторожностью он вылавливал эти комочки пипеткой и пересаживал их в банки. Усевшись за стол, он быстро исписывал несколько листов бумаги сложнейшими химическими формулами.

— Все не то, все не то! — бормотал доктор, ероша свои жидкие светлые волосы, — еще один полипептид — только и всего!

Шторы сдвигались, и вновь нескладная фигура в белом халате качалась над лабораторным столом.

— Чарльз, — раздавался наконец громкий голос жены, — да что же это такое! Третий раз зову тебя обедать!

— Ммм... ах, да, да... иду, — бормотал Крог.

Был теплый летний вечер. Первые звезды уже проглядывали сквозь сгущающуюся синеву неба.

Миссис Крог позволила себе короткий отдых после многотрудного дня. Усевшись поудобнее в кресле, она вышивала какой-то замысловатый узор. Эмма сидела в отцовской качалке у открытого в сад окна. Она не без удовольствия вспоминала о последних днях, проведенных в городе.

«В сущности, Жорж очень приятный молодой человек, — думала Эмма, — он воспитан, умен, да и внешне...»

Жорж был сыном профессора Блунка, коллеги доктора Крога по институту.

«И почему это папа так его недолюбливает?» — продолжала размышлять девушка. Она вспомнила шуршащий бег автомашины и красивые сильные руки, лежащие на руле.

Мысли были прерваны скрипом двери. На пороге лаборатории стоял доктор Крог.

— Чарльз,— воскликнула жена,— на тебе лица нет!

И действительно, доктор был необычно бледен и взволнован. Вместо ответа он поманил пальцем и скрылся в дверях. Миссис Крог и Эмма поспешили за ним.

— Смотрите, — произнес доктор благоговейным шепотом и указал на большую банку с питательной смесью, красиво освещенную зеленым светом. На дне ее виднелись два маленьких, величиной с горошину, комочка бесцветной слизи.

— Уф, — облегченно вздохнула жена, — ну и напугал же ты меня, право!

— Да смотрите же!

Сначала миссис Крог и Эмма не заметили ничего особенного, но, приглядевшись внимательнее, они увидели, что студенистые комочки увеличиваются на их глазах. В то же время совершают амебоидное движение перемещаясь по краю банки. Вот они увеличились примерно вдвое и вдруг... каждый распался на два комочка. Так повторялось несколько раз. Спустя немного времени в банке было

уже несколько комочков, и все они росли, двигались, размножались.

Молча смотрели все трое на необычную картину.

— Папа, — полушепотом спросила наконец Эмма, — что это такое?

Доктор ответил не сразу. Он, казалось, не мог оторвать взгляда от банки.

— Это... это... — начал он, не находя слов, и вдруг мгновенный подъем энергии вернул ему дар речи. — Дорогие мои, это то, к чему я стремился долгие годы! И вот — оно здесь!

Длинный палец худой жилистой руки, подрагивая, устремился на банку.

Напрасно ворочался доктор Крог с боку на бок, призывая сон. По замкнутому кругу мчалась все одна и та же навязчивая мысль: «Как это получилось?» Он мысленно воскрешал всю сложную подготовку к опыту, сам опыт... Все факты выстроились в длинный стройный ряд... Все на месте, но... какое-то звено, причем самое важное, ускользнуло от его наблюдения. Снова и снова продумывал он опыт. Вот... вот сейчас он поймает нужное... Нет! Опять ускользнуло!

Он нащупал халат и туфли. Осторожно, стараясь никого не разбудить, вышел в коридорчик, ведущий к лаборатории. В темноте едва не ударился о дверной косяк. Невидимая дверь скрипнула, заставив его вздрогнуть.

— Ффу ты, окаянная,—пробормотал он,— нужно обязательно смазать...

Включив свет, он с какой-то опаской направился к столу и заглянул в банку. Так оно и есть! Удивительные комочки размножились необычайно: их были сотни.

С величайшей предосторожностью доктор стал переносить на стол банки, наполненные драгоценной питательной смесью. Когда из них возникла целая батарея, он с поразительной кропотливостью стал рассаживать слизняков при помощи пипетки по несколько штук в каждую банку. Увы, банок не хватило. Тогда он притащил новые...

Занятый этой адской работой, доктор не замечал времени. Сквозь сомкнутые шторы пробивалась рассветная синева.

— Чарльз! — в дверях стояла миссис Крог. — Так нельзя, ты должен отдохнуть!

Доктор поднял на нее воспаленные глаза.

— Я лягу... Не беспокойся, я лягу, посплю немного, — виновато пробормотал он, направляясь к двери и вытирая руки о халат.

Тонкие стрелки солнечных лучей проникли через шторы в полутемную комнату. Они упали на пол яркими пятнами. Быстро одевшись и освежившись холодной водой, доктор прошел в столовую, где в плетеном кресле восседал Леви. Миссис Крог, занятая хозяйскими делами, на ходу переговаривалась с ним.

— Ну и спишь ты, старина, — сказал Леви, приветствуя друга.

Действительно, время было обеденное. Доктор внимательно посмотрел на Леви, стараясь угадать, знает ли тот что-нибудь о вчерашнем, или нет. Конечно, не знает. Крог почувствовал необоримое желание поделиться всем со своим товарищем. Он было потащил Леви к себе в лабораторию, но жена решительно потребовала не трогать гостя до обеда. Скрепя сердце доктор согласился. Но и сам он, усевшись за стол, почувствовал, что голоден. «Как видно, большого количества энергии стоило мне вчерашнее», — мелькнуло в голове.

Ни миссис Крог, ни Эмма ни словом не обмолвились о вчерашнем. Доктор был им признателен: ему, и только ему, первому они предоставили право рассказать обо всем.

Поблагодарив рачительную хозяйку, Леви сказал:

— Ну вот, теперь, старина, и с тобой потолковать можно.

Он закурил сигару, с удовольствием затянувшись дымом.

— Уф... Да куда же ты? Постой...

Но доктор уже скрылся в дверях лаборатории.

Пройдя за ним, Леви увидел, что Крог быстро переходит от одной банки к другой, наклоняясь над каждой из них.

— Эх, Чарли, совсем ты потонул... Э, да что это у тебя такое?

Леви заглянул в одну из банок.

— А ты понаблюдай...

Крог подвинул ему стул.

— Я тут вижу каких-то бесчисленных слизняков... и... смотри-ка! Смотри-ка! Они все время распадаются! Нет, ты скажи мне, что это такое?

— Я, понимаешь ли, и сам не очень-то знаю...

— Но, может быть, это какая-нибудь зараза... или, как там по-вашему, инфекция...

Леви опасливо покосился на банки. Он был физиком и не очень-то разбирался в биологии.

— Да нет же! Не в этом дело! Я ведь тебе рассказывал, Ден, о своих последних опытах. Мне удалось синтезировать ряд полипептидов. Я все время придерживался мнения, что загадка живого не столько в самой химической структуре, сколько в каких-то

сложных, нам не ведомых энергетических соотношениях внутри и вне коллоидной системы... И вот все эти полипептиды были очень сложными и абсолютно инертными. Тогда я стал подвергать некоторые из них различным энергетическим воздействиям. Откровенно говоря, много импровизировал... И вот получилось... притом так неожиданно... я, понимаешь, опустил какое-то звено...

— Но что это, живое или мертвое?

— Не знаю... Оно растет и размножается... Значит, ему свойствен обмен веществ.

— А в чем они сидят у тебя, в воде?

— Нет, это различные питательные среды. Постой...

Пересадив в чашку Петри один из комочков, доктор поместил его под бинокулярный микроскоп. Он долго работал макровинтом, казалось, забыв о существовании Леви. Затем уступил ему место у микроскопа.

— Смотри.

— Но я ничего не вижу, — бормотал тот, старательно глядя в окуляры, — вернее, вижу какую-то бесцветную однородную массу.

— Вот в том-то и дело... Картина совершенно незнакомая для биолога. Никаких структурных признаков живой материи!

— Да-а-а...

— И тем не менее оно ведет себя, как живое! Но если это живое, то оно абсолютно свободно от влияния многих миллионов лет органической эволюции. Оно лишено наследственных свойств... А это... это значит, что полученный коллоид обладает неограниченными приспособительными возможностями!

Леви молчал, с удивлением и в то же время с восхищением глядя на своего друга.

— Вот что, Ден, — продолжал доктор с горячностью, — сейчас мы с тобой проверим кое-что...

Пересадив несколько комочков в большую колбу с водой, он стал ее нагревать на спиртовке. Оба внимательно следили за температурой воды. Ртутный столбик медленно полз кверху. Двадцать... тридцать... сорок градусов... Комочки тихо ползли по стенке к поверхности воды. Пятьдесят... шестьдесят... семьдесят градусов...

— Растут, черт возьми! — воскликнул Леви. Он в волнении заходил по комнате.

— Ну и изобрел же ты чертовщину, старина!

— Закипает, — прошептал доктор.

— Ну?!

Леви подошел к колбе. Со дна ее взлетали крошечные пузырьки. Слизняки скопились у поверхности и стали почти прозрачными. Роста и деления больше не наблюдалось, но, приглядевшись внимательнее, можно было заметить их слабые движения.

Экспериментаторы сидели ошеломленные.

— Ну и дела!—проговорил наконец Леви.

— Вот что, — встрепенулся доктор, — давай сделаем другой опыт...

Он выдвинул из-под стола большой укрепленный в ящике сосуд Дьюара с жидким кислородом. Выловив из банки несколько комочков, он посадил их в глубокую стеклянную ложечку с длинной ручкой и опустил ее в сосуд на несколько секунд.

— Видишь, — показал он Леви маленькие полупрозрачные льдинки, — а теперь давай опустим ложечку в воду с комнатной температурой...

Оба внимательно наблюдали.

— Оттаивают, — прошептал Леви.

Действительно, на глазах у наблюдателей льдинки превращались в те же самые студенистые комочки. И вот один из них стал медленно перемещаться к краю ложечки, а затем выполз из нее в банку. Другие, спустя немного времени, повели себя точно так же.

— Ты подумай! Ты только подумай! — Леви даже привстал с места. — Ни жара, ни холод нипочем!

— Да, температурный диапазон около трехсот градусов!

Доктор выкатил на середину комнаты столик, на котором была укреплена гидравлическая камера специального устройства. В ней можно было получить давление до тысячи атмосфер. Наполнив камеру водой, он посадил в нее из банки несколько слизняков.

— Начнем?

— Давай.

Крог стал медленно повышать давление. Стрелка манометра дрогнула и поползла вправо. Сто... полтораста... триста...

— Может, довольно? — спросил Леви.

— Нет еще...

Крог прекратил повышать давление лишь когда стрелка манометра достигла пятисот, а затем понизил давление до нуля. Он вылил в банку воду из камеры. На дне банки тихо двигались студенистые комочки.

— Ну, как тебе это нравится?

— Невероятно!

— Мы с тобой установили, что этот коллоид без видимого нарушения выдерживает давление в пятьсот атмосфер. Такое давление существует в океане на глубине пять километров. Следовательно, если бы эти организмы... или... как их там можно назвать, проникли в океан, они могли бы заселить почти всю толщу вод!

— Ты, брат, такое говоришь, что страшно становится!

За опытами не заметили, как наступил вечер. В дверях стояла миссис Крог.

— Чарльз, хоть бы пожалел своего гостя!

— Что вы, уважаемая, — запротестовал Леви, — я здесь такие вещи увидел! Удивительные... Ваш супруг сделал большое научное открытие.

— А посему, — ловко подхватила миссис Крог, — его нужно отметить хорошим ужином.

— Ты только смотри, дружище, — поучал Леви доктора по пути в столовую, — не проболтайся раньше времени!

День за днем проходил для доктора в напряженной научной работе. Он кропотливо исследовал загадочный коллоид, подвергая его самым различным воздействиям, бесконечно варьируя химический состав и физические свойства среды. Белые листы бумаги полнились столбцами цифр и формул.

Он заметил интересное явление: скорость роста, величина комочков и интенсивность их размножения были не одинаковы в различных условиях. В одном случае слизняки были наиболее подвижны, в другом — наименее; в одном случае они были мутными, в другом — почти прозрачными. Но главная задача все еще не решена. Доктор не мог проникнуть в тайну образования этого нового вещества, столь похожего на живое. Тщательно повторил он опыты по синтезу, но не добился сходных результатов. Доктор Крог не унывал. Он знал твердо: раз налицо сам объект, значит, будет и решение загадки.

Леви очень многим помог ему в работе. Они вместе оборудовали помещение, в котором рассчитывали подвергнуть своих подопытных радиоактивному облучению. Это был глубокий бетонированный колодец, расположенный в сотне метров от дома. Он закрывался сверху несколькими крышками. Над колодцем построили павильон летнего типа. Были тщательно продуманы и осуществлены средства защиты от вредных излучений. Для наблюдений за опытом смонтировали телевизионную установку.

Все это сильно истощило ресурсы друзей, но Крог и Леви не унывали. Вновь приступили они к опытам. Банку с большим количеством коллоидных комочков поместили на самое дно колодца и подвергли радиации. Результаты получились неожиданные: произошло полное распадение коллоида.

— Не выдерживают, — сказал Крог.

— Не выдерживают, — согласился Леви.

Доктор вновь углубился в вычисления.

— Послушай, Чарльз, — заявила как-то утром жена, появившись в лаборатории, — послушай, это невозможно! Ты или сойдешь с ума, или получишь кровоизлияние в мозг!

— Но я занят... Работа не ждет, — досадливо возразил доктор.

— Я ничего не хочу знать! Ты вечно занят, а поэтому должен отдохнуть. Смотри, какое хорошее утро...

— Но ты пойми, пойми же, что работа не допускает никакого отлагательства.

— Да ведь ночью-то ты спишь, ночью не работаешь!

— Фу ты, боже мой! — отпыхивался доктор, не зная, чем возразить.

Миссис Крог твердо решила стоять на своем. Она заявила мужу, что не уйдет из лаборатории до тех пор, пока он не прекратит работу. Как ни упирался доктор, как ни доказывал неотложность своего дела, а все же на этот раз пришлось сдать свои позиции. Едва лишь оказался он во владениях супруги, как сразу почувствовал ее власть.

— Собирайся, живо! И раньше, чем через два часа, не приходи.

Кряхтя отправлялся доктор в вынужденный поход.

— Спровадила-таки, — облегченно вздохнула миссис Крог, когда сутулая спина мужа скрылась за дверью. — Ани!

— Я здесь, миссис.

— Вот что, милая, ступай в кабинет к доктору и, пока он гуляет, наведи там порядок. Да смотри, чтоб к его приходу все было готово!

— Слушаюсь.

— Да не сломай ничего!

Кивнув головой, Ани молниеносно скрылась в дверях лаборатории. Прежде всего она раздвинула шторы. Освещенная солнцем комната являла неприглядный вид. В ней царил, так сказать, первобытный хаос. Доктор, увлеченный работой, не замечал этого.

Всюду — на полках, столах, книгах, посуде — была пыль. На полу лежали обрывки мелко исписанной бумаги. Все загромождающие наполненные почти до краев питательной смесью, покрытые круглыми стеклами банки усиливали впечатление беспорядка.

«А еще ученые! — с неудовольствием подумала Ани, — заросли до самых ушей...»

— Фи, гадость! — воскликнула она, заглянув в одну из банок и брезгливо передернув плечиком. — И что это за работа? Не пойму!

Но будучи по природе девушкой жизнерадостной, она через минуту забыла о своем недовольстве и, весело напевая песенку, за-

нялась уборкой. Ловкие и быстрые руки мелькали повсюду.

— Так-то лучше, — рассуждала она, оглядывая преображающееся помещение.

Ани принялась за банки. Осторожно, стараясь не плеснуть на пол, расставляла она их на столах и полках, предварительно протерев снаружи чистой салфеткой. Банки были тяжелые и неподатливые. Ани приподняла одну из них, вместимостью литров пять, и вдруг... банка выскользнула из рук и с громким звоном разбилась, залив смесью пол и передник.

— Ай! — взвизгнула девушка от неожиданности. После мгновенной растерянности она в два прыжка оказалась у двери и выглянула в коридорчик. Какое счастье: миссис Крог поблизости не было! Она, конечно, ничего не могла слышать.

Схватив мусорное ведро, Ани трясущимися руками собрала разбросанные по полу осколки. Затем быстро подтерла пол и, тщательно собрав противную слизистую массу, в изнеможении прислонилась к стене. Сердце отчаянно колотилось. В коленях была неприятная дрожь. Несмотря на безобидность доктора Крога, Ани испытывала перед ним безотчетный страх.

— Неужели узнает? Неужели узнает? Нет... Он такой рассеянный... Во всяком случае, сразу он ничего не заметит. А там...

Схватив ведро, она птицей вылетела в дверь и через минуту вернулась обратно.

— Ани, — раздался из столовой голос миссис Крог, — ты где?

— Здесь я, здесь! — крикнула девушка, на ходу сбрасывая мокрый передник.

— Ну что, закончила?

— Все в порядке, миссис!

Упругий ветер надул парусом гардины в распахнутых окнах столовой. Солнечные пятна на полу поблекли.

— Никак, погода портится?

Миссис Крог выглянула в окно. Безобидная тучка, едва видневшаяся утром на горизонте, широко расползлась по небу и превратилась в большую темную тучу с просветленными рваными краями. Дохнуло сыростью. На деревьях тревожно затрепетали листья.

— Ну, так и есть, — досадливо молвила миссис Крог, — а я-то его спровадила!

Быстро приближался шум дождя, и вот первые крупные капли упали на траву. Через минуту хлесткий летний ливень косо ударил в землю. Всюду захлюпало, заблестело, заструилось.

— Уф...

В дверях появился доктор. Он вымок до последней нитки. Края шляпы обвисли. Мокрые волосы прилипли ко лбу. С одежды на пол быстро натекла небольшая лужица.

— Скорей раздевайся,—хлопотала жена,— еще простудишься ненароком!

— Ну и повезло, — кряхтел доктор, стаскивая мокрые грязные ботинки, — прямо-таки скажем...

Дождь заглушил его слова. Пузырились большие лужи. Бойкие ручейки смело пробивали себе дорогу меж травы и камней, увлекая песчинки и сбитых наземь насекомых. Они мчались к своему старшему собрату, который разлился и помутнел. Если бы кто-нибудь проследил за их бойкой струей, он увидел бы маленькие слизистые комочки, увлекаемые упругим течением. Вот один из них задержался у небольшого препятствия — травинки,—но не надолго. Течение вновь подхватило его и понесло вместе с другими комочками, песчинками и сбитыми насекомыми в далекое, скрытое пеленой дождя озеро. Увы, этого никто не видел!

Доктор сидел, запахнувшись в халат и погрузив ноги в теплые туфли. Под строгим наблюдением супруги он мелкими глотками пил горячий чай. Эмма уткнулась носом в книгу, Ани же скрывалась на кухне, боясь показаться доктору на глаза.

В укромном лесистом уголке, на берегу озера, наполовину в воде лежало большое дерево, давно лишенное коры. Те его ветви и сучья, которые обжигало солнце, и овевал ветер, высохли и побелели. Они напоминали кости ископаемого животного. Те же ветви, что были погружены в воду, ослизли и потемнели.

За деревом зеленела маленькая полянка, окруженная высоким кустарником. На длинную высохшую ветвь, нависшую над полянкой, можно было повесить простыню, и тогда получалось нечто вроде палатки.

Купанье стало необоримой страстью Эммы. Она целыми днями проводила на озере. Вот и сегодня, наспех позавтракав, она добралась до своего излюбленного местечка. Раздевшись, она вошла в воду. Разгоряченное тело охватил бодрящий холодок. Эмма сделала небольшой заплыв и выскочила на берег. «Хорошо! — думала она, отжимая мокрые волосы, — немного позагораю и — опять в воду!»

Но хруст приближающихся шагов заставил ее быстро одеться.

«Кого-то еще недостает!» — с неудовольствием подумала Эмма и обернулась к раздвинувшимся веткам.

— Жорж! — радостно вырвалось у девушки.

— Эмма! Вот приятная встреча!

Жорж был в легком спортивном костюме. Короткие рукава футболки открывали сильные загорелые руки. На обветренном, темном от загара лице, над которым задорно торчал белокурый чубчик, играла улыбка.

— Вы как это здесь? — не без смущения спросила девушка.

— Обкатываю свое авто... Десять тысяч по спидометру...

— Но где же машина?

— А за леском, у дороги. Приятель караулит...

Через минуту молодые люди бойко беседовали, усевшись на теплой траве. Жорж с улыбкой слушал Эмму, покусывая крепкими зубами травинку. Несколько раз девушка смущенно умолкала, заметив, что собеседник смотрит на нее с откровенным удовольствием.

Приближалось обеденное время. Эмма с сожалением подумала о том, что пора покинуть веселый уголок.

— Прокатимся?—предложил Жорж, вставая и протягивая девушке руку.

— Ннет... нельзя... мама потеряет...

— Ну, тогда я вас провожу.

Тихо шли они, отстраняя от лица упругие ветки.

— Вот и наш дом, — указала Эмма на выглянувшую из-за деревьев черепичную крышу.

— Идемте же!— настоятельно сказала она, когда Жорж остановился у калитки. Молодой человек не заставил себя упрашивать.

В комнатах была приятная прохлада.

— Решено! — воскликнула Эмма, бросившись в отцовскую качалку. — Вы останетесь у нас обедать!

— Благодарю, но это невозможно. Вы забыли, что меня ждет приятель.

— Ах, да! Но может быть...

— Нет, нет!.. А где ваш папа?..

— В городе... Будет вечером...

— Он занят чем-то интересным...

Эмма быстро встала и, приложив палец к губам, поманила гостя. Тихо вошли они в лабораторию. Жорж с интересом огляделся. Его крепкая ладная фигура словно похудела сразу и как-то вытянулась. Загорелое лицо казалось бледным. Взгляд быстро скользил по круглым бокам многочисленных банок.

— Вы знаете, — доверительным шепотом сказала девушка, — папа открыл замечательную вещь...

— Эмма! — раздался неожиданно громкий и строгий голос миссис Крог, показавшейся в дверях лаборатории. — Разве ты не знаешь, что отец не любит, когда к нему заходят без разрешения?

Дочь стояла красная от стыда. Жорж не знал, куда девать свои руки.

— Извините, молодой человек, — сказала миссис Крог, — вы тут ни при чем.

Ловко выскользнув из комнаты, Жорж поспешно откланялся и исчез за дверью.

Эмма кинулась к себе в комнату. «Боже мой, какой стыд! Какой стыд! — думала она, едва сдерживая слезы. — Что он подумает теперь! И сама... сама его пригласила!»

Между тем Жорж добрался до своей автомашины. С травы ему навстречу поднялся здоровенный детина с широким плоским лицом.

— Ты куда исчез? — пробасил он, отбрасывая недокуренную папироску.

— Да вот заболтался...

— Ну?..

— Что «ну»?! — огрызнулся Жорж. — Садись вот... поедем!

— Не сговорились?

— С ней-то что не сговориться! Мамаша вот... Настоящий цербер!

Загудел мотор, и машина, рванувшись с места, исчезла за поворотом, оставив легкое облачко пыли.

О чем был разговор у Эммы с матерью после ухода Жоржа, предоставим судить читателю. Очевиден лишь факт, что несколько дней Эмма избегала отцовского взгляда. Доктор, разумеется, ничего не подозревал.

Однажды под вечер, когда он по настоянию жены вышел «подышать свежим воздухом», к дому шурша подкатила красивая автомашина. Из распахнутой дверцы шариком выкатился директор института, а за ним неуклюже вылез огромный слоноподобный профессор Блунк.

Мистер Дейлор быстро огляделся и, увидя доктора, приветливо закивал ему.

— Здравствуйте, дорогой коллега!

Он направился к доктору, на ходу протягивая руку. Блунк следовал за ним. Доктор, не умея скрыть удивления, пригласил гостей в комнаты.

— Мы вот с профессором решились на небольшую прогулку... А то, знаете, город... духота... — бойко говорил директор, — а, мое вам почтение!

Миссис Крог, сдержанно ответив на поклоны гостей, удалилась.

— Прошу садиться, господа.

Минуту царило неловкое молчание. Мистер Дейлор беспокойно ерзал на стуле. Был он подвижен. Особенно руки... Они то скла-

дывались на круглом животе, то барабанили короткими пальцами по коленям, то беспричинно лезли в карманы. А маленькие глазки директора.. Они, казалось, прилипали к тому, на что были обращены. Этот прилипчивый взгляд перебрасывался с одного предмета на другой.

Профессор Блунк, наоборот, был неподвижен, как каменная глыба. На лице его, казалось, навечно застыло полупрезрительное выражение.

— А ведь вы, коллега, молодцом выглядите, — заговорил мистер Дейлор, — правда ведь, профессор?

Блунк молча кивнул.

— Очень рад за вас! А наука? Ни-нини! — захихикал директор, заметив беспокойное движение доктора и погрозив ему толстым пальцем. — Не скромничайте: мне кое-что известно!

Доктор был смущен и озадачен.

— Поздравляю вас, коллега, с успехом! И, заметьте, имею на это большее право, чем кто-либо другой... ибо точно знаю: все достигнутое вами — результат долгого добросовестного труда.

— Но о чем вы говорите?

— Ах, скромник! Он не знает, о чем я говорю, он даже не догадывается!

Блунк лениво блуждал взглядом по комнате.

— Ах, он скромник! Ах, он скромник! — повторял Дейлор, не зная, как оформить свою мысль, — а ведь мы э-э...

Он осекся на полуслове, заметив в дверях внушительную фигуру миссис Крог.

— Собственно говоря, уважаемый доктор, — продолжал директор спустя минуту, — мы к вам с одним предложением... Дело э-э-э... в том, что осенью мы планируем расширение лаборатории цитофизиологии. Получено новое оборудование. Да, да! Совершенно новенькое, с завода! Под лабораторию отведено дополнительное помещение... Знаете, рядом с прежним... Три комнаты... Ну, и это э-э-э... дополнительные средства планируем... Кстати, и сам Бинг (вы его, конечно, знаете!) согласен нас финансировать. Но ближе к делу... Мы пришли к выводу, что никто, кроме вас, не должен возглавлять эту лабораторию!

Доктор оторопело глядел на Дейлора. Перспектива возглавить хорошо оснащенную лабораторию была очень заманчива, особенно в смысле продолжения его научной работы. Но в то же время предложение директора никак не вязалось с недавней отставкой.

Мистер Дейлор хитро метнул глазками и, угадав мысли доктора, продолжал:

— На базе нашей лаборатории вы можете широко развернуть ваши исследования.

— А Стивенс?! — воскликнул доктор.

— Стивенс? Что там Стивенс... Вы же его, доктор, отлично знаете! Что он может? Что он сделает? Нет-нет, нам нужны именно вы!

— Но, господа, я, право... это так неожиданно!

Доктор встретил предостерегающий взгляд жены.

— Что тут неожиданного!—буркнул Блунк.

— Да, да,—быстро заговорил директор,— я не вижу никакого повода для сомнений. Полно, полно, доктор. Вы — наш: решено!

Пухлые короткие пальчики бойко барабанили по коленям.

— Извините, господа, за то, что я вмешиваюсь в ваш разговор, — раздался звучный голос миссис Крог, — доктор очень утомлен. Ему нужен длительный отдых, о чем не раз заявляли врачи. В этом году он едва ли сможет взяться за столь серьезное дело.

— Но ему у нас будет легче работать, чем в одиночку! Помощники, оборудование, тот же Стивенс...

Доктор словно очнулся.

— Стивенс? Нет уж, увольте, господа! Сейчас я вам не даю никакого обещания.

Директор обиженно пожал плечами, переглянувшись с профессором Блунком. Маленький перерыв в его напористой речи дал наконец доктору собраться с мыслями. С внезапной живостью вспомнил он сцену ухода из института, и, чем больше подробностей рисовалось в его памяти, тем большую душевную собранность чувствовал он.

Директор и профессор догадались, что в разговоре упущен благоприятный момент. Но как исправить положение? Взгляд Дейлора с неудовольствием скользнул по лицу миссис Крог, и она успела перехватить его.

— Да-а-а, — бормотал директор, — очень... очень жаль... Не договорились ни до чего определенного. Но мы к вам не в претензии, дорогой коллега! — Глазки его весело заискрились. — Кончим разговор. Сейчас вы покажете нам свои научные достижения.

Ход был удачен. Доктор растерялся.

— Что ж, — говорил он, нерешительно приподнимаясь, — я, пожалуй...

— Чарльз! — легкий оклик жены заставил его сесть. — Коротка же у тебя память! Видите ли, господа, — продолжала миссис Крог, стараясь придать словам звучанье добродушной шутки, но взгляд ее был строг и требователен, — наш маленький семейный

совет постановил полностью отстранить доктора от научной работы на несколько дней. Я весьма категорично настроена исполнять это решение.

— Ах, миссис, мы же не настаиваем, мы только просим! — проговорил директор, не умея скрыть досады, — нельзя так нельзя... Это ведь авторское право...

— Да, это мое авторское право, — сдержанно сказал доктор и нахмурился.

Гости быстро откланялись. По дороге навстречу роскошному автомобилю директора попалась старенькая машина Леви.

— Добрый день, Берта! Привет, старина! — басил Леви, входя через пять минут в комнату. — Никак, эти господа у тебя были?

— Представь себе, да!

— Вот дела-то! Надеюсь, ни о чем не проболтался этим прохвостам?

— Все в порядке, мистер Ден, — улыбнулась миссис Крог, — я сама с ними разговаривала.

— То-то! Мотай на ус да слушай жену!

Доктор Крог кратко пересказал Леви содержание разговора.

— Да, хитро задумано! — сказал Леви. — Только ты, смотри, не прельщайся на их посулы! Обведут вокруг пальца. Но как они узнали: вот вопрос!

— Ума не приложу, — в раздумье проговорил доктор.

Весьма доходной статьей жителей поселка, расположенного на берегу озера, было рыболовство. По утрам можно было видеть многих рыбаков, кропотливо перебирающих сети, развешанные на длинных сушилах.

Хозяйки перебрасывали из садков в корзины скользкую, трепещущую, пахнущую тиной рыбу. Тут же вертелись ребятишки.

Улов шел большей частью на продажу окрест проживающим дачникам.

Миссис Крог часто посылала быстроногую Ани с поручением купить к обеду парочку хороших сазанов.

Сегодня утром один из заправских рыбаков Дик Баркер пришел домой не в духе.

— Проклятье!

Он сбросил жесткий брезентовый плащ.

— Ты что? — обернулась жена, занятая приготовлением завтрака.

— Вот тебе и что! Можешь полюбоваться: ни одной рыбки не попалось. Как есть ни одной! Пойдем-ка, поможешь...

Баркер размашисто шагал к берегу, где царило необычное оживление. Рыбаки, громко разговаривая, переходили от одной сети к другой. Хозяйки, поставив корзины на песок, стали кружком и бойко перебрасывались словами.

— Смотри, — Баркер кивком указал жене на сеть: ячейки сети были забиты белесоватой слизью.

— Как думаешь, Дик, — подошел к нему сосед, — что это за штука? Водоросль, что ли, какая?

— Не пойму. Никогда такого не видел.

Баркер с женой стали терпеливо очищать сеть от слизистой массы, сбрасывая ее на песок.

— Мама! Оно ползет! — закричал сынишка Баркера.

— Я вот тебе задам! — прикрикнул на него отец, — ишь ты, ползет! А ну марш домой!

Но слова мальчика заинтересовали рыбаков.

— А ведь и впрямь шевелится! — удивленно сказал один из них, разглядывая слизистый комочек на ладони. — Тьфу, проклятый! Да он жжет, как крапива!

Он щелчком сбросил комочек на землю. На коже осталось красное пятнышко.

Весь день рыбацкий поселок гудел, как потревоженный улей. Говорили много, да ни до чего не додумались. На следующее утро случилась та же беда, но в еще большем размере. Недалеко от поселка, на илистом плесе, нашли много разной мертвой рыбы, выброшенной волной; ее жабры были забиты белой слизью.

Рыбаки волновались. Промысел, на который привыкли полагаться не только они, но их отцы и деды, стоял под угрозой. Но это было еще полбеды.

Все чаще и чаще стали попадаться хозяйкам на капусте, помидорах, огурцах и других овощах слизняки зеленоватого цвета. Нет, это были не обычные знакомые слизняки! Они медленно-медленно ползли по стеблям, ботве и плодам, оставляя за собой ржавый след. Некоторые из них сливались воедино, образуя длинные слизистые нити, спирально обвивающие стебли.

Хозяйки были в панике. Они беспричинно нападали на своих мужей.

— Это все из озера!

— Конечно, из озера! Откуда же!

— Натаскали их, проклятых, своими сетями!

— Ой, беда! Ой, несчастье какое!

— Лучше б и рыбы этой век не видать!

Мужчины вели себя менее эмоционально. Они хмурились и попыхивали трубками. Не-

сколько человек, собравшись на берегу, тщетно ломали головы над случившимся.

— Плохо дело, Дик, — сказал Баркеру пожилой коренастый рыбак.

— Куда уж хуже!

Вокруг раздавались тревожные голоса:

— Прощай, рыбка!

— Бросай сети!

— Ха! Бросай! Ишь, придумал!

— Прогорим!

— Вот что, ребята, — зычно сказал собеседник Баркера,—словами делу не поможешь. Тут вот недалеко за озером доктор какой-то живет. Вон там его дом... Так не сходить ли к нему? Может, посоветует что-нибудь.

— Да он, говорят, чудаковатый какой-то!

— Чудаковатый или нет — это неважно. А важно, что он человек ученый!

— Верно, верно! — откликнулись со всех сторон. — Непременно сходить к нему. А пойдет-то кто?

— Слушай, Дик, — обратились соседи к Баркеру, — а ведь ты у нас самый речистый!

— Да что вы, ребята!

— Иди, иди! — заговорили разом рыбаки, видя нерешительность Баркера.

— Ну что ж, пойду, — согласился тот.

Миссис Бинг выезжала каждое лето со своим маленьким сыном на дачу, расположенную недалеко от знакомого нам озера. Дачу окружал небольшой сад с прекрасным цветником — гордостью миссис Бинг.

Старый садовник, человек, преданный своему делу, превратил этот цветник в настоящее чудо. Были здесь всевозможные розы, тюльпаны и другие прекрасные цветы. Над ними с веселым гуденьем неустанно вились пчелы и шмели. Маленькую беседку оплетал широколиственный плющ, и в яркий солнечный день лапчатые тени листьев трепетали на ее полу.

С сожалением думала миссис Бинг о скором отъезде в город. Ей не очень нравилась обширная, богато обставленная городская квартира, расположенная в самом центре города.

Муж ее был сейчас в очередном отъезде. Это не очень огорчало супругу.

К завтраку садовник принес сливы.

— Вы чем-то недовольны, Сэм? — спросила хозяйка.

— Совершенно верно, миссис...

— Но в чем же дело?

— Не знаю... Может быть, сами взгляните?

Они прошли в сад.

— Все гибнет, — показал садовник, — вот, посмотрите...

— Боже мой! — воскликнула миссис Бинг, глядя на покрытую ржавыми пятнами зелень.

— Улитки — не улитки, — продолжал садовник, — а завелись какие-то вредители в великом множестве.

Он подал ей лист плюща, по которому ползало несколько голубоватых слизняков.

— Нужно что-то делать, Сэм! — воскликнула миссис Бинг. — Все погибнет!

— Попробуем,— нерешительно ответил садовник.

Увы, злоключения дня лишь начались. После завтрака внезапно заболел сын миссис Бинг. У мальчика начались сильные желудочные боли. Срочно позвонили врачу.

В это время доктор Крог и Леви сидели на скамейке перед домом.

— Будь уверен, — говорил Леви, попыхивая сигарой, — они своей затеи не оставят!

Скрипнула калитка, и друзья увидели кряжистую фигуру Баркера. Рыбак нерешительно направился к ним.

— Вы ко мне? — спросил Крог.

— К вам, доктор.

Баркер кашлянул в заскорузлый кулак.

— Чем могу служить?

— Да как бы сказать... Беда приключилась...

— Беда?

— В озере дрянь завелась какая-то... Рыбу губит. На огороды ползет.

Баркер вытащил из кармана бутылку с водой, плотно заткнутую пробкой.

— Вот поглядите... Тут они...

Крог внимательно разглядывал содержимое бутылки.

— Что с тобой, дружище? — воскликнул Леви, видя, как лицо доктора покрывается смертельной бледностью.

— Ничего, ничего... — сбивчиво ответил Крог. — Вы посидите, любезный, — обратился он к рыбаку, — нам нужно поговорить.

В лаборатории Крог передал бутылку Леви.

— Взгляни...

В бутылке шевелились знакомые слизистые комочки. Доктор в волнении ходил по комнате, ероша волосы.

— А, черт! — воскликнул Леви. — Это же твой коллоид!

Приятели ошеломленно смотрели друг на друга.

— Ден, они вырвались на волю! Ты понимаешь, что это значит?

Не дожидаясь ответа, Крог выбежал из лаборатории. Ни жена, ни дочь не могли ничего ответить на его сбивчивые вопросы.

— Скорее на озеро! — возбужденно говорил Крог.

— Не горячись, — успокаивал его Леви.

Баркер терпеливо ждал. Через минуту все трое быстро ехали в машине к поселку. Опасения подтвердились. Едва лишь Крог вышел из машины, как его окружили рыбаки, наперебой задавая вопросы.

— Подождите, друзья,—говорил доктор,— сейчас пока ничего не скажу, нужно обследовать...

Оставив возбужденную толпу, Крог и Леви двинулись в поход вокруг озера. Они то подходили к воде, то углублялись в лес. Да, то, что они увидели, превзошло ожидания: слизняки размножались необычайно! Мелкие заводи кишели ими! Серебрились брюшки погибших рыб. Казалось, еще немного — и озеро превратится в бесцветный студень. Но этим бедствие не ограничилось. Широким фронтом двинулись слизняки в наступление на сушу. Даже в нескольких десятках метров от берега, во мху, одевающем камни и стволы, на пнях, на ветвях, на листьях кустарников, на траве — всюду, всюду встречались они! Поражали их многоформие и окраска. Одни — огромные, величиной с ладонь, сине-зеленого цвета, — тихо скользили по трухлявым поваленным стволам, другие, в виде тонких бесцветных нитей, обвивали стебли кустарников, третьи, мелкие, ярко-красные, в виде капелек крови, копошились во множестве в лужицах застойной воды.

Пробродив не меньше часа, Крог и Леви устало опустились на землю.

— Неважные дела, — пробормотал Леви.

Доктор молчал, неподвижно глядя на грязные носки своих ботинок.

— Ничего не могу сообразить, — произнес он наконец с досадой, — ничего не пойму!

— Только не горячись, Чарли! Найдется же выход...

— Эх! Слова, слова... Нужно решить, изобрести, сделать!

Доктор страшился даже подумать о последствиях случившегося.

Хмурые и расстроенные, двинулись друзья дальше. Миновав небольшой лесок, они неожиданно вышли к даче миссис Бинг.

— Выходит, мы озеро обошли, — сказал Леви.

— Ден, мы должны зайти к ней, предупредить...

— Верно.

Заплаканная хозяйка встретила их в дверях.

— Что с вами?! — воскликнул Леви.

Закрыв лицо платком, она склонила голову. Плечи ее тряслись от беззвучных рыданий. Друзья молча стояли перед ней.

— Мистер Крог, — обратилась она наконец к доктору, — вы не врач, но все же естественник... Помогите! Мой сын...

Голос ее прервался.

— Не волнуйтесь, — подбодрил ее Крог,— расскажите, в чем дело.

— Ах, ничего не пойму! Что, откуда... Не знаю... не знаю... А врача все нет и нет!

Крог и Леви прошли за хозяйкой в комнаты. Мальчик лежал в постели и стонал от боли.

— Он был совсем здоров, — говорила несчастная мать, — здоров, весел, и вот...

— Когда началось? — перебил ее Крог.

— Час назад, неожиданно...

— Что он ел?

— Ничего особенного!

— Зелень, зелень ел?!

— Зелень? Нет... Впрочем, сливы...

— Ясно... Мы пойдем в сад...

Внимательно рассматривали Крог и Леви цветы, стебли, листья. Всюду видели они страшное присутствие коллоида. За ними плелся старик садовник и ворчливо жаловался.

— Не везет! Лето прожили... В город собирались... Вот тебе... Все губит... Сынишка хозяйский заболел... Что же это, а?

На ладони доктора горкой лежали сливы.

— Дайте блюдце, — сказал он садовнику.

— Сию минуту...

Крог достал складную лупу. Осторожно разрезал он ножичком фрукты и рассматривал под лупой.

— Все понятно. Внедрились в мякоть...

— Да ну?! — ужаснулся Леви.

Крог опустился на садовую скамейку.

— Нет сомнения, мальчишка проглотил коллоид... Что мы можем посоветовать матери? Что ей сказать, Ден?

Они вернулись в дом.

— Немедленно уезжайте в город, — сказал Крог миссис Бинг. — Немедленно! Мистер Леви отвезет вас... Мальчика нужно положить в больницу. Срочно сделать промывание кишечника...

— Но ведь мы ждем доктора!

— Я поговорю с ним.

Несколькими минутами позже мать и сын были готовы к отъезду. Поселок, к счастью, был недалеко, и Леви быстро привел машину. Крог подозвал его.

— Ребенка определи в больницу, в условия строжайшей изоляции. Потом приезжай. Без тебя мне трудно...

Одолеваемый мрачными мыслями, сидел доктор Крог на садовой скамейке. Он очнулся, когда хлопнула дверца автомашины. В калитке появился высокий стройный доктор Кольмар с чемоданчиком в руке.

— Здесь живет миссис Бинг? — обратился он к Крогу и вдруг узнал его. — А! Кого я вижу! Приветствую вас, коллега! Вы здесь какими судьбами? Впрочем, вопрос нескромный...

Кольмар сделал шаг к дому, но Крог остановил его.

— Подождите. Они уехали.

— То есть как?..

— Я их отправил...

— Но меня же вызвали!!!

— Я должен поговорить с вами, доктор... Дело большой важности... Речь идет о здоровье многих людей...

— Я вас слушаю, — сказал Кольмар, усаживаясь рядом с Крогом.

— У миссис Бинг заболел сын. Он в большой опасности. Не могу указывать вам, но все же примите мой совет: необходимо длительное промывание желудочно-кишечного тракта... В крайнем случае — хирургическое вмешательство...

— Но что вы подозреваете?

Вместо ответа Крог подал ему лист плюща.

— Взгляните.

— Ну и что же? Я вижу зеленых слизняков...

— В них — все дело. Они быстро размножаются в любых условиях. Мальчик, несомненно, проглотил их со сливами...

— Что это за существа? Откуда они взялись?

— Дорогой доктор, сейчас не время рассказывать. Нужно спешить. В поселке могут быть аналогичные случаи заболевания.

В калитке появился Леви.

— Ты уже здесь! — обрадовался Крог. — Как дела?

— Неважно...

— Да что ты! Ах, беда...

Крог был необычайно встревожен.

— Поедемте, доктор, — обратился он к Кольмару.

— Видите ли, господа, — смущенно заговорил тот, — у меня дела... очередные визиты...

— Что вы! Какие там дела!

— Не могу! Не могу! — перебил Крога Кольмар и, приподняв шляпу, быстро направился к автомашине. Хлопнула дверца.

— Вот подлец! — процедил сквозь зубы Леви.

— А ну его! — с досадой сказал Крог, — скорее в поселок!

Опасения Крога подтвердились. В поселке обнаружилось более десяти случаев внезапных заболеваний. Доктора страшила неотвратимость происходящего. Что делать? Как повлиять на ход событий?

Вновь окружили рыбаки доктора и Леви. Наперебой спрашивали они, как спастись от надвигающейся беды. Крог хмуро глядел в землю.

— Что я могу сказать?..

Он замолчал на минуту и вдруг решительно и громко сказал:

— Уезжайте!

Толпа загудела.

Уезжать! Все бросить! Оставить дома!

— Ребята, да что он говорит?!

— Смеется! Дураков нашел!

— Уезжайте! — возвысил голос доктор, не обращая внимания на шум. — Бросайте все: дома, землю... Все, все! Уезжайте, если хотите жить!

Поздним вечером Крог и Леви закрылись в лаборатории. Доктор чувствовал большую усталость после беспокойного дня.

— Как же быть, Ден?

Леви молчал, попыхивая сигаретой.

— М-м-да... старина... Сложное дело. А скажи, зачем тебе понадобилось изобретать эту штуку? А?..

— Как! — Крог в волнении даже привстал. — И это спрашиваешь ты?! Да как же ты можешь задавать такие вопросы!

— Ну-ну! Не горячись! Я хотел спросить, какое значение имеет это открытие.

— Эх... Ладно уж, слушай... Проблема биосинтеза всегда волновала ученых. Можно сказать с уверенностью, что это — величайшая проблема современной науки. И именно на этом пути ученые терпели больше всего неудач. Тысячи способов... Многие годы труда... И в результате — неудача за неудачей! Некоторым удавалось получить искусственным путем сложные органические коллоидные соединения, так называемые полипептиды. Но, понимаешь, каждый такой полипептид чисто внешне походил на белок, вернее, своими физико-химическими свойствами. Чего же не было в нем? — Жизни! Можно сказать,

что этот полипептид так же походил на живой белок, как манекен походит на человека...

— Так... Понятно.

— Слушай дальше! Стыдно признаться, что мы, биологи, изучая жизнь во всех ее многообразнейших формах от какой-нибудь амебы до человека, до сих пор не знаем, что это такое — жизнь. Да, да! Именно так! Мы имеем общее философское определение жизни, но развернуть его, расшифровать не можем! Мы изучаем многообразнейшие частные проявления жизни, интимнейшие процессы, происходящие в живой клетке, в ядре, и в то же время не имеем о ней представления, как о целом!

— Ну уж... Ты это, пожалуй, перестарался!

— Нет, Ден! Это, к сожалению, правда, горькая правда... И вот, пока этот огромнейший пробел в наших знаниях не будет заполнен, мы не сможем ответить на много важных вопросов. Например, мы не сможем раскрыть тайну возникновения жизни на земле. Мы не сможем глубоко раскрыть движущие силы эволюции. А проблема здоровья, проблема долголетия, проблема управления наследственностью? Как ни печально, но в нашей практике на сегодня очень много слепой эмпирики...

— Но ведь ты...

— Понимаю. Хочешь сказать, что я создал живое вещество. Эх! Если бы это было так! Но я не совсем уверен, живое оно или нет. Я ведь признался тебе, что упустил какое-то звено... прозевал... Получилось как-то само собой... И вот теперь надо...

Крог внезапно умолк и нахмурился.

— Да, вот получилось... Сидим, философствуем!

— Нужно подумать о дальнейшем.

— Что же тут придумаешь?!

Крог заходил взад и вперед по лаборатории.

— Уезжать? Бежать? А люди? А что прикажешь с этим делать?

Он указал на многочисленные банки.

— Куда их девать?

— Гадать не время! Да и ни к чему! Давай о конкретном...

В самом деле, как же быть с этим хозяйством? Может быть, их... это...

— Что?! — Крог впился в приятеля острым выжидательным взглядом.

— С тобой и говорить-то страшно! Да ты спокойнее... Посуди же сам, куда ты со всем этим денешься?

— Так что же, по-твоему, уничтожить все?!

— Я этого не сказал...

Крог, нервничая, расхаживал по лаборатории.

— Так вот взять и уничтожить... Единым махом зачеркнуть годы жизни, годы труда и надежд! Слушай, Ден, ты понимаешь, что это для меня значит?

— Да понимаю же! И не какой-нибудь я тупица... Я говорю не о полном уничтожении твоего коллоида... Кстати, сейчас это не в наших с тобой силах... Речь о другом... Как быть с банками?

Крог задумался.

— Пожалуй, ты прав. Нужно сохранить две-три, а от остальных избавиться.

— Вот-вот!

— И герметизировать оставшиеся...

— А куда ты денешь их? С собой возьмешь?

— Ни в коем случае! Мы их надежно укроем в лаборатории, а остальные... Словом, уничтожим коллоид в нашем колодце.

— Верно! И это нужно сделать как можно скорее.

— Так давай за дело!

— Послушай, а как же они? Ведь им еще ничего не известно! Боже мой, что я делаю!

Было успокоившийся Крог вновь заволновался.

— Ты их, Чарли, не очень-то пугай, — сказал Леви, — а для этого тебе самому нужно быть поспокойнее. По-моему, всем вам нужно срочно уехать в город... Сегодня же... Моя машина — к вашим услугам.

— Хорошо, Ден. Ты посиди тогда, а я схожу к ним...

— Давай, действуй!

Леви затянулся сигаретой, а Крог исчез за дверью. Через несколько минут он вновь появился в лаборатории. На лице его было уныние.

— Объяснил, как мог... Едва поверили. Ты уж, Ден, помоги мне...

— Ладно, старина, меньше слов!

Приятели энергично взялись за дело. Через некоторое время к ним присоединились миссис Крог и Эмма. Ани не было: она еще днем отпросилась на сутки в город.

Часа через два основное было сделано. Ехать решили налегке. Где-то в глубине души у каждого теплилась надежда: «Может быть, обойдется?»

— Что за нелепость! — сказала миссис Крог, отирая платочком, обильно выступивший на лице, пот. — Эх, ты, изобретатель!

— Не ругайте его, Берта, — вступился за Крога Леви, — право же, он не виноват!

— Ругай или нет — делу не поможешь.

Меня другое беспокоит...

— Послушай, дорогая, — заговорил доктор, — все будет хорошо. Я уверен. Сейчас важно предупредить власти о случившемся. Нужно предотвратить возможные последствия, и я это немедленно сделаю.

— Верно, старина! И учти, сделать это нужно поделикатнее, чтобы не допустить излишней паники среди народа. Сам понимаешь...

Однако весть о случившемся обогнала наших друзей.

Город шумел. Город волновался. Все повторяли имя доктора Крога. Началось с небольшой заметки в газете «Новости дня». Она называлась «Происшествие на озере». Все известное нам освещалось как частный факт и не привлекло особого внимания читателей. Днем позднее в газете «Наблюдатель» появилась статья, в которой отмечалось, что в районе известных событий обнаружена неведомая болезнь. Она угрожает населению. Она распространяется. В числе пострадавших упоминалась фамилия Бинг.

По мере того как интерес и беспокойство горожан усиливались, стало появляться все больше и больше статей под самыми различными заголовками. На место трагических событий выехало много корреспондентов, которые вернулись с целой кипой новостей. В бумажных глубинах редакций зрела сенсация. И вот она взорвалась, как бомба, как тысяча бомб, потрясая сердца, холодя души, распаляя воображение.

Особенно взволновала всех статья «Грозная опасность». Вот что писалось в ней:

«Неведомое надвигается на нас. Всюду появляются страшные слизняки. Всюду проникают они, неся с собою смерть. Коллоид доктора Крога вырвался на волю. Он — страшнее чумы, страшнее холеры!..»

Людей одолевала жуть. Радио надрывалось, сея панику по всей стране.

«Первобытная слизь угрожает человечеству!»

«Слизняки наступают!»

«Стихия и прогресс».

Находились фантазеры, которые широкой кистью рисовали недалекое будущее.

«Земной шар под слоем слизи толщиной в метр!»

Автор производил точный расчет, когда это случится. Но особенно удручающее впечатление на всех произвела статья под заголовком «Спасите реку». Она пугала читателей своей правдивостью, своей логикой.

«Граждане! — писал автор, — наша река протекает в полугора десятках километров от тех злосчастных мест. По ручейкам, болотцам, по влажной почве ужасный коллоид все ближе и ближе пробирается к ней. Спасите реку! Широкая, светлая, многоводная, течет она в далекий океан. Несет она на своих волнах катера и теплоходы. Ее чистые воды орошают поля. Они поят наш город и окружающие поселки. Спасите реку! А коллоид? Вот он проник в небольшой ручей, и тот помчал его. Все ближе... все ближе... Спасите же реку! Нет слов, чтобы описать возможные последствия...»

Людей охватила паника. Спасти реку. Но как? Что делать с грозным врагом? Как остановить его?

Директор института Дейлор срочно собрал у себя в кабинете ученый совет. Кабинет был обширный и мрачноватый. Ученые мужи заняли свои места в глубоких креслах со старинными вычурными спинками. Тучный обрюзгший профессор Блунк развалился в кресле, попыхивая сигарой. Прилизанный Стивенс беспокойно вертелся на своем месте, встречая кивком и улыбкой каждого входящего. Флегматичный Дорн, сухой и длинный, как палка, сидел, не проявляя никаких признаков жизни. В углу кабинета с угрюмым настороженным видом сидел Леви. Его мощная фигура была наполовину скрыта тенью от шторы.

Сам Дейлор прогуливался около письменного стола, то потирая, то складывая на животе пухлые веснушчатые ручки. Временами он быстро осматривал собрание своими маленькими влажными глазками, словно стараясь что-то предугадать.

— Господа, — начал он наконец, мелко барабаня по столу пальцами, — я пригласил вас, чтобы обсудить вопрос... связанный с работой нашего бывшего коллеги доктора Крога. Я не буду говорить о работе... Э-э-э... Вам она известна не хуже, чем мне... Я отмечу лишь с сожалением, что доктор Крог, будучи человеком замкнутым, недоверчивым, не пожелал поделиться с нами своим открытием. Он понадеялся (и напрасно!) лишь на себя, и это привело к печальным последствиям. Мы стоим перед ужасным фактом: коллоид неведомыми путями проник из лаборатории на волю! Он стихийно распространяется... Он несет болезни! Я э-э-э... не берусь говорить, что это было следствием преднамеренного действия доктора Крога, хотя... известные сомнения на этот счет могут возникнуть...

— Какие сомнения? — прогудел из угла Леви.

— Простите, коллега, — уклонился от от-

вета директор, — я говорю лишь, что мы вправе выяснить подробности... Мы обязаны... Наш долг ученых найти пути предотвращения надвигающегося бедствия. Господа! Я прошу высказать свое мнение.

— О чем говорить, — криво усмехнулся Блунк.

— Вы что-то хотите сказать, — обернулся к нему директор.

— Я говорю, что тут рассуждать не о чем и выяснять нечего, — повышая голос повторил Блунк, — факт налицо, и в том повинен Крог. Ясно. А насчет опасности... пусть власти пошевелятся.

Дейлор смущенно улыбался.

— Вы что-нибудь имеете сказать, профессор? — обратился он к Дорну.

— Ничего, — промычал тот, не повернув головы.

— Господин директор! Разрешите мне, — вызвался Стивенс.

— Прошу вас, — сказал Дейлор.

Стивенс бойко встал и окинул быстрым взглядом присутствующих. Он скромно улыбнулся директору и сделал едва заметный поклон в сторону Блунка. Некоторое время он молчал, собираясь с мыслями. Лицо его словно обтянулось кожей, уши отошли в стороны, волосы прилипли, на щеках появились красные пятна, глаза сузились и недобро заблестели из-под пенсне.

— Господа, — начал он тихо, — откровенность лучше всего. Нечего умалять случившееся, закрывать глаза... Я возмущен! Я искренне возмущен жестоким экспериментом доктора Крога. Нет! Проникновение коллоида из лаборатории на волю не могло быть случайным, как не случайно и нежелание доктора поделиться своей тайной. Крог, несомненно, лелеял мечту поставить эксперимент в природе... Он, конечно, не мог всего предвидеть, он не ожидал... И вот что получилось... Вот к чему ведет самонадеянность, игнорирование мнения ученой общественности...

При этих словах Леви поднялся и подошел к Стивенсу. Под его холодным жестким взглядом Стивенс съежился и осел. Глаза его беспокойно бегали по сторонам.

— Ну, что же вы? — спросил Леви. — Что замолчали? Продолжайте! А не вы ли, Стивенс, изо всех сил старались примазаться к работе доктора? Не вы ли мечтали урвать свой кусочек от науки?

В кабинете зашумели, но Леви это не смутило.

— И вот теперь, — продолжал он, — когда вы почувствовали, что у вас ничего не выйдет, решили изменить тактику, оклеветать Крога.

— Но... позвольте... Леви, — попытался вмешаться Дейлор.

— Не позволю! — резко парировал Леви. — Не позволю порочить хорошего человека!

— Да что вы ждете от Стивенса, — сказал неожиданно профессор Дорн, — или вы не знаете его?

— Я не могу... при таких обстоятельствах я должен... — Стивенс проговорил что-то неразборчивое и быстро направился к двери.

Дейлор стремился ликвидировать неприятное впечатление от случившегося.

— Давайте же поспокойнее... обсудим... И не будем отвлекаться. Давайте конкретно.

Леви вернулся на свое место.

— Предлагаю обсудить возможные мероприятия по борьбе с коллоидом, — сказал молчавший до этого профессор Брайтан.

Его поддержали.

— Правильно. Кстати, коллега, — обратился Дейлор к Леви, — вы лучше любого из нас осведомлены о работе доктора. Что вы предложите?

Вопрос был неожиданным. Леви задумался. О чем он имел право говорить?

— Я отвечу вам контрвопросом, господин директор, почему вы не пригласили на этот совет Крога? Согласитесь, обсуждать без него этот вопрос не совсем правильно.

Дейлор уклонился от ответа. Блунк презрительно хмыкнул.

— Я жду предложений, — повторил Дейлор, — господа, я жду!

— Профилактика, — сказал Блунк.

— Что вы разумеете?

— Как что? Химические средства. Огонь. Мало ли...

— Идея! А ведь и впрямь нужно использовать химические средства борьбы. Опыление, орошение ядами...

«Едва ли это поможет, — размышлял Леви, — они не представляют, что такое коллоид доктора Крога. Радиация? Нет! Об этом я не имею права говорить.»

— Огонь. Вот средство борьбы! — сказал он наконец.

— Но ведь это рискованно! — запротестовали многие.

— И все же необходимо!

— И я согласен, — заявил Блунк.

После долгих споров, которые не прибавили к сказанному ничего нового, была составлена на имя властей рекомендация мер борьбы с надвигающейся опасностью. Прежде всего указывалось на необходимость срочно переселить из пораженного коллоидом района все население в места удаленные и без-

опасные. Рекомендовалось срочно направить в указанный район саперный батальон, снабженный необходимой техникой. Рекомендовалось срочно окружить район сетью траншей. Рекомендовалось использовать для химической борьбы средства авиации. Как крайнее средство, рекомендовалось в некоторых местах применить лесные пожары. Население призывалось соблюдать бдительность, сообщать о каждом случае заболевания, подбирать и немедленно сдавать для уничтожения погибших птиц и зверьков.

Усталые члены совета разошлись далеко за полночь.

За окном гасли последние отблески дня. Маленький кабинет погружался в темноту. Но доктор Крог не зажигал света. В унылом молчании сидел он у письменного стола. Шли минуты, длинные, бесполезные...

Вот уже неделя, как он с семьей перебрался в город. Безапелляционный приказ властей был приведен в действие. Все, до самой мелочи, было брошено там. На пораженной коллоидом территории не осталось ни одного человека. Там, как было известно доктору, срочно проводились мероприятия по обезвреживанию и уничтожению коллоида. А он? Что сделал он для предотвращения опасности?

Доктора Крога смущало другое. Несколько раз он обращался в соответствующие инстанции с предложением своих услуг, и каждый раз ему ответом было молчание. В чем дело? Почему его игнорируют? Его, главного виновника происшествия, его, создателя коллоида! Быть может, обратиться в институт? Нет! Это исключено.

Жена и дочь понимали его состояние и старались его не беспокоить. Как тени, скользили они по комнатам, шепотом вели разговоры. Но вот эту грустную тишину властно нарушил звонок, а немного погодя, в комнатах зазвучал громкий голос Леви.

— Где ты там, Чарли? — басил он, входя в темный кабинет. — Ишь, спрятался... Как мышь в норе. А ну зажигай свет!

Когда вспыхнула лампочка, Леви критически оглядел Крога.

— Скис?

— Да что там...

— Слыхал о такой птице... фазаном называется?

— К чему это?

— А ты слушай, когда фазану некуда скрыться от опасности, он прячет голову в землю, а хвост поднимает кверху. Так и ты...

— Почему они молчат? Почему не отвечают?

— Это — их дело.

— А я... Разве это не мое дело?!

— Ладно. Давай-ка о другом поговорим. Тут, понимаешь, одна мерзкая история началась...

— Ну?!..

Крог в волнении заходил по комнате.

— Да ты не пугайся. Не паникуй раньше времени.

Леви плотно прикрыл дверь кабинета.

— Вот что, дружище, дело грозит судом.

— Как это?..

— Властям направлен документ, в котором ты обвиняешься в преднамеренном эксперименте в природе.

— Это же подлость!

— Не горячись!

— Кто мог состряпать эту бумагу?!

— Видимо, тот, кому было нужно... Впрочем, мне стали известны авторы...

— Да кто же они?

— Наши старые знакомые: Дейлор, Блунк, Стивенс.

— Послушай, Ден! Но ведь ученый совет... Ты же мне рассказал, как было дело... Ведь...

— Эх, Чарли, ты до самой смерти останешься большим ребенком! Неужели ты думаешь, что эта троица простила тебе твое нежелание с ними иметь дело? Твое пренебрежение к их сотрудничеству? Ошибаешься! Бездарные люди вообще не прощают способным их успехи, а тут еще твой вызов...

— Но это же черт знает что! Я немедленно иду...

— Брось! Куда ты пойдешь! Ты подумал?

— Куда угодно!!!

— Остынь немного, дружище. Ты подумал, чем сможешь себя реабилитировать? Где доказательства, что все было не так, как утверждают твои недруги? Где?

Крог смущенно глядел на Леви.

— Но ведь совесть... элементарная порядочность...

— А, брось! Нужны доказательства, неопровержимые! Давай-ка трезво, спокойно обсудим это дело. Ты вот скажи мне, есть у тебя какие-нибудь мысли о загадочном проникновении коллоида на волю?

— Ума не приложу...

— Постой. А не мог ли коллоид выбраться из банки?

— Исключено! Банки плотно закрывались притертыми стеклами.

— Может быть, стекло сдвинулось...

— Я говорю, это исключено! — раздраженно повторил Крог.

— Ладно. Не горячись. А твои... ну, жена, дочь...

— Ну, право, Ден, это же обидно! Как можешь ты думать...

— Я никого не хочу обижать, — нахмурился Леви, — и вообще не строй из себя экзальтированную барышню! Здесь нужна трезвость... рассудочность... Припомни-ка, может быть, в лаборатории был кто-нибудь посторонний?

— Нет!

— Плохо дело. Ни одной самой тонкой ниточки!

Леви задумался. Крог сидел опустив голову.

— И все же доказательства есть! — заговорил Леви. — Нужно лишь спокойно проанализировать все от начала до конца. Ладно. Сейчас нужно отвлечься.

— Я беспокоюсь, Ден, относительно борьбы, — заговорил Крог.

— Понимаю. Ты считаешь средства недостаточными?

— Увы! Но пойти на крайнее... Это страшно!

— Давай подождем результатов и тогда...

— Ждать! Это ужасно!

— И все же — необходимо!

Война с коллоидом была в разгаре. Сотни людей в защитных комбинезонах патрулировали в лесу. Каждый ручеек, каждое болотце на учете. Тонны ядовитых веществ сброшены с самолетов на пораженную местность. Едкий дым поднимался от шашек и синими клочьями застревал в ветвях и листьях.

Озеро, к счастью, было замкнутым. Его поверхность, залитая нефтью, радужно отливала. А под пленкой нефти на ослизлых корягах и камнях упрямо копошился коллоид. Днем и ночью, днем и ночью ожесточенно воевали с ним люди, и с каждым днем, с каждым часом он отвоевывал у них метр за метром!

Глубокие траншеи пересекли лес в разных направлениях. На дне их горели кучи хвороста. На открытых местах выжигались широкие полосы травы и кустарника. Напрасно! За границей пепла на веточках, на травинках вновь обнаруживались предательские слизняки. Людьми овладевало отчаяние, бессильная злоба перед упрямым, неуязвимым врагом. Прибывали новые воинские части, команды специального назначения. Были испробованы сильнейшие химические вещества. Напрасно!

Беспокойная пресса не унималась и сеяла панику. Редакторов вызвали для специального инструктажа. После этого в газетах запестрели заголовки, призывающие к спокойствию и организованности. Увы! Это лишь подлило масла в огонь.

Крог переживал тяжелые дни. С одной стороны, он переживал за судьбы людей, сознавая, что явился невольным виновником нависшей над ними опасности. А с другой стороны, он, как ученый, не мог примириться с мыслью, что его коллоид будет бесследно уничтожен. Эти противоречивые мысли лишали его покоя и сна.

Наконец однажды вечером Крогу принесли повестку.

— Вас ждет машина, — сообщил посыльный, приняв расписку.

— Как, сейчас?

— Немедленно!

Растерянно кивнув жене и дочери, доктор скрылся за дверью.

— Мама, что же это?! — со слезами спросила Эмма.

— Ничего, доченька, обойдется, — одними губами ответила миссис Крог.

Машина остановилась. Сопутствуемый двумя провожатыми, доктор вошел в подъезд большого здания и очутился в бесконечно длинном коридоре. Голые неприветливые стены. Двери направо, двери налево. Тишина. Крогу предложили подождать. Он опустился на одинокий стул. Прямо перед ним была дверь, обитая клеенкой.

— Войдите!

И вот он в просторном кабинете. В глубине — обширный письменный стол; на столе телефон, прибор; за столом — пожилой, худощавый полковник.

— Садитесь, доктор, — полковник указал на кресло.

— Так вот, — продолжал он, внимательно глядя на доктора, — все наши средства оказались бессильными! Ни огонь, ни ядовитые газы, ни десятки тонн жидких ядов не помогли нам одолеть ваш коллоид. Что вы скажете? Есть средство победить коллоид? Вы же его изобретатель! Вы должны знать!

— Есть. Последнее... единственное...

— Так говорите же!

— Радиация... Атомная радиация!

Полковник встал и в волнении заходил по кабинету.

— Черт знает что! Вы понимаете, что вы говорите?!

— Понимаю, господин полковник.

— Но вы... вы представляете?!!!

— Нужно выбирать из двух бед...

— Фффу! — Полковник вновь занял свое место. — Подумать страшно! Ну и придумали вы, доктор, штучку!

Крог молчал, опустив голову. Полковник закурил.

— Хорошо, — молвил он наконец, — вы свободны. Вас отвезут домой. Если будет нужно, вызовем.

Через десять минут доктор был дома.

Город был объявлен на военном положении. Круглосуточно по улицам ходил патруль. Жителям строго запретили без особого разрешения появляться на улицах. С окраин, наиболее близких к пораженной местности, спешно эвакуировалось население. Город напряженно ждал. Тишина. Ни привычных трамвайных звонков, ни шороха автомашин. Тишина. Люди беспокойно бродили по комнатам, осторожно выглядывали в окна, приподняв занавески.

Крог одиноко сидел в своем кабинете. Мрачное настроение ни на минуту не покидало его. Жена и дочь по молчаливому соглашению не тревожили его никакими вопросами.

Позвонил по телефону Леви.

— Ну как дела?

— А, да что там...

— Ладно. Крепись. Пришел бы, да сейчас не пройдешь...

— А с институтскими не виделся?

— Не до этого! Ладно. Пока. Попозднее позвоню.

Крог положил трубку. И вновь беспокойные мысли. Одна из них вот уже несколько дней упрямо мелькала в голове:

«Сколько было банок? Кажется, двадцать восемь... Или двадцать семь?»

Доктор мысленно распределял их по полкам своей загородной лаборатории. Все на месте. Но что-то не так, как надо!

Загадочное проникновение коллоида за стены лаборатории не давало ему покоя. Как же это случилось? Стихийно развернувшиеся события стушевали в его памяти рабочую обстановку в лаборатории. Но что-то упрямо не давало ему покоя.

Около десяти вечера вновь позвонил Леви.

— Ну, старина, надумал что-нибудь?

— Какое там! Ничего не соображу...

— Говори громче! Не слышно. Да, вот что: Бинг в это дело впутался. Они его, видимо, уговорили.

— Бинг? Но ведь мальчик поправляется! Все обошлось...

— Не в этом дело. У Бинга, возможно, свои, особые цели. Неприятно, конечно. Да, послушай. Завтра, в десять будут приняты радикальные меры.

— Завтра?!! Откуда ты знаешь?!

— Длинно рассказывать. Потом. Спокойной ночи, старина.

Доктор растерянно держал трубку и наконец вспомнил, что ее нужно положить.

«Решились, — думал он, — решились на такое... Через двенадцать часов это произойдет...»

Крог не вышел к вечернему чаю. Сославшись на нездоровье, он лег в постель. Но сон, как и в ту далекую, а в сущности, недавнюю ночь не шел к нему. Тогда была ночь рождения коллоида. Первая ночь его необычной жизни. А эта ночь — последняя. Ночь перед гибелью, смертью его детища. Лишь под утро он уснул тревожным сном. Его заставил очнуться громкий голос диктора.

«Внимание! Внимание! Всем оставаться дома! Закрыть окна шторами...»

Крог подошел к окну. На перекрестке улицы виднелись пожарные машины. Быстро пробежало несколько солдат. Где-то хлопнула дверь. Город ждал.

А там, за городом, в укрытиях тоже ждали условленного часа. Из наспех сделанных блиндажей торчали трубки перископов. Люди напряженно всматривались в синюю далекую полоску леса. Пора...

И вот над лесом, над далекими, чуть заметными холмами вырос белый гриб. Он громоздился в воздухе на темной косматой ножке. Громовые раскаты потрясли воздух. Грозная сила человека вступила в борьбу с коллоидом.

А в городе испуганные жители молча затаились в своих квартирах. С потолка обваливалась штукатурка, звенели стекла. Через час был дан отбой.

Взрыв был малой силы и поэтому не принес городу существенных повреждений. Горожанам предписывалось впредь до особых распоряжений не выходить на улицу. Перед тем были приняты необходимые меры по обеспечению их продовольствием, по охране города от возможных радиоактивных загрязнений. На территории взрыва вертолеты высадили специальные команды. Тщательно обследовалось место взрыва и его окрестности. Люди в защитных комбинезонах и масках осторожно пробирались по дымящейся земле. Внимательно наблюдали они показания счетчиков Гейгера. В городе проверка на радиоактивность дала неутешительные результаты.

Несмотря на столь печальные последствия взрыва, в газетах появились ликующие заголовки:

«Коллоид доктора Крога уничтожен!»

«Грозный противник побежден!»

«Человечество вздохнуло свободно!»

«Разум непобедим!»

А дни шли, долгие и тревожные. И вот, наряду с трескучей газетной патетикой, стали появляться статьи другого рода. В одной сообщалось, что за последнюю неделю многие жители покинули город. Возможно, прежде чем статья появилась в печати, сбежал сам ее автор. Один из обозревателей печати глубокомысленно высказался, что случившееся могут за границей истолковать по-своему. Дескать, борьба с коллоидом, в существование которого никто не обязан верить, — это лишь предлог для проведения очередных испытаний. Высказывалось также мнение, что случившееся может отрицательно повлиять на отношения с государствами-соседями.

Удобно пристроившись в кресле, Леви просматривал свежие газеты. Лицо его поминутно хмурилось.

В газетах довольно часто упоминалось имя Крога. Наряду с шумливыми заметками о победе над коллоидом попадались и другие. Они притаились на листах, выпустив острое жало.

«Последствия случившегося еще не ликвидированы, — писалось в одной из них. — Не пора ли более пристально поинтересоваться изобретателем коллоида? Не пора ли установить причины его эксперимента?..»

В других статьях в более откровенной форме авторы требовали привлечь доктора Крога к ответственности за случившееся, сурово взыскать с него за все, что произошло.

«А он молчит! — ворчал Леви. — Закрылся у себя... Нужно срочно предпринимать необходимые шаги! Дело идет к суду. Разве можно сидеть сложа руки!»

В дверь тихо постучали.

— Да, войдите! — крикнул Леви.

На пороге стояла Ани.

— Вы?! — удивился Леви. — Какими судьбами? Проходите.

Ани сделала два шага.

— Да смелее же! Сюда...

Девушка робко приблизилась.

— Вот вам стул, садитесь, — улыбнулся Леви, видя ее смущение.

— Мистер Леви, — тихо начала Ани, покраснев до кончиков ушей, — я... ну... это, понимаете...

— Увы, пока еще ничего не понимаю.

Набравшись решимости, она громко сказала:

— Это я их выпустила!

— Постойте! О чем вы! Кого выпустили?

— Ах, если бы я знала! Доктор такой хороший! Но я ничего, ничего не знала! Разве я думала!

Закрыв лицо руками, девушка тихо заплакала.

— Да успокойтесь же, — уговаривал ее Леви. — Сейчас вот поговорим, все выясним...

С минуту она не могла вымолвить ни слова и лишь тихо всхлипывала. Леви терпеливо ждал. Наконец прерывающимся голосом она заговорила снова.

— Вот, честное слово, я не хотела этого. Банки такие тяжелые, скользкие... Ну, я и уронила одну... Я же не знала...

Лицо Леви стало серьезным, сосредоточенным.

— Вот что, давайте-ка спокойно, по порядку.

Ани сбивчиво рассказала ему всю историю со злополучной банкой. Леви взволнованно расхаживал по кабинету.

— Да-а-а, — промолвил он, выслушав рассказ до конца, — вот оно, какие дела... В том, что вы разбили банку, вины вашей нет. Разве самая уж маленькая... Всякое бывает... Ломают не только банки-склянки, но и руки-ноги... А вот то, что вы не признались доктору, — нехорошо!

— Я боялась...

— Не надо бояться говорить правду. Хорошо, что вы признались мне! Вы ведь этим оказали доктору большую услугу. Вот что, Ани, в недалеком будущем вы мне понадобитесь. Где вас найти? Вы ведь у Крогов сейчас не работаете?

— Да, ушла...

— Вот вам бумага, карандаш. Напишите свой адрес... Так... А сейчас идите. Мне нужно кое о чем подумать.

С облегченной душой Ани вышла из кабинета.

Через полчаса Леви был у Крога. Он пересказал доктору разговор с Ани.

— Вот оно что! — в раздумье проговорил Крог. — А меня, понимаешь, в последние дни беспокоили сомнения... Все время ломал я голову, старался вспомнить... Вот оно что! Да, теперь я припоминаю тот злополучный день. После прогулки жена не допустила меня сразу к работе. Я порядком-таки промок под дождем. Потом... Потом мы пили чай. Потом я лег отдохнуть... Какой там отдых! Минут через двадцать я тихонько пробрался к себе в лабораторию... Да, да, там было так непривычно чисто! Все блестело. И банки... Я догадался, что это инициатива моей супруги. Помню, мелькнула мысль проверить, все ли в порядке... Но я даже устыдился...

— Давай-ка подумаем о будущем. Скрывать нечего: без суда не обойдется. Да и твои институтские «друзья» едва ли отступятся от задуманного.

При упоминании о своих недоброжелателях доктор болезненно поморщился.

— Черт с ними, старина! Меня беспокоит другое... Показания Ани на суде будут очень важны. Но достаточно ли их?

— Как!

— Для нас с тобой, Чарли, все стало ясным. Но для других немалую роль играет настроение, определенная предвзятость суждений, что ли... Ну словом, и с очевидным фактом можно не согласиться, можно отрицать этот факт.

— Что ты говоришь, Ден!

— Ты, дружище, исходишь из того, что должно быть, а я сужу более трезво. Скажи, кто может удостоверить показания Ани? Есть ли хоть одно вещественное доказательство в их пользу? А быть может, ты сговорился с девушкой...

— Ден!

— Да не я же тебя подозреваю, чудак! Я только хочу предусмотреть возможное. Пойми, что так легко удовлетвориться одиночным показанием едва ли будет возможно. Тебе, например, могут не поверить, что ты не заметил исчезновения банки. Банка — это не иголка! Ссылка на твою рассеянность может вызвать недоверчивые улыбки. Это ведь я тебя так хорошо знаю. А другие...

— Да-а-а,—расстроенно пробормотал доктор.

— Ничего, не вешай носа. Будем думать. Будем действовать.

Шли дни. Настроение общественности, подогреваемое радио и газетами, сложилось, естественно, не в пользу доктора Крога. Сам он вел себя весьма инертно. Что касается Леви, то при всем его желании помочь другу он не пришел ни к какому определенному решению. Дейлор, Блунк и Стивенс торжествовали. Ловко и уверенно плели они свою паутину. Скоро. Очень скоро Крог получит по заслугам!

Кое-кто с удовольствием предвкушал громкий судебный процесс...

Дейлор сидел в своем роскошном директорском кабинете. Настроение у него было самое хорошее. Против него, попыхивая сигарой, развалился в кресле слоноподобный Блунк. Интимный разговор шел к концу.

— Ну что ж, коллега, как будто все в порядке, — улыбнулся директор. — Кстати, вы слышали о той девчонке? Ну кто же поверит? Кто же поверит?! Ха-ха-ха...

— Хм...

Блунк грузно поднялся и, не говоря ни слова, направился к двери. Директор проводил его быстрым внимательным взглядом.

«Ему тоже очень-то верить нельзя, — думал он, — знаю я его...»

Телефонный звонок. Директор взял трубку.

— Хелло-о!

— Мистер Дейлор?

— Да, да!

— Сегодня в пять вас вызывает министр внутренних дел.

— Меня?!

— Вас.

Дейлор сидел ошеломленный. Неприятный холодок пробежал по спине. В чем дело? Гм... В чем дело? В распоряжении — два часа.

Сообщив секретарю, что ему нездоровится, директор срочно отправился домой. Наспех пообедав и не сказав супруге ничего определенного, он вышел из дому. Без пятнадцати пять он был в приемной министра. Ровно в пять его пригласили в кабинет.

— Садитесь, господин Дейлор.

Министр указал на обширное кресло.

Дейлор послушно сел на краешек кресла, сложив руки на коленях.

Министр — невысокий, крепкий, с темным загорелым лицом и сильной проседью человек удобно расположился за письменным столом и внимательно смотрел на директора.

— Ну и как, господин Дейлор?..

Тот растерянно молчал.

— Я — о докторе Кроге, — пояснил министр, — что вы думаете по этому поводу?

— Да, да, — оживился Дейлор, — это...

— Не правда ли,—перебил его министр,— очень уж много шума?

— Что вы! С избытком!

— Шумит пресса, шумит радио...

— Совершенно верно, господин министр! Но ведь и случай такой...

— А ведь наделал нам старик Крог хлопот!

— Что вы! Еще каких!

— Да. Судебного процесса не избежать. А что из этого выйдет?

— Вот именно, господин министр...

— А ведь жаль все-таки его. Человек талантливый. Голова.

— Конечно, господин министр. Крог — наш старый институтский работник. Лишь в этом году... по состоянию здоровья... он покинул институт.

Министр понимающе кивнул.

— Покинул институт, — подсказал он директору, — потерял связь с коллегами и вот...

— И вот — печальный результат, — оживился Дейлор. — А ведь этого могло и не случиться. Такое событие... такое событие...

— Засудят старика. Впрочем, — улыбнулся министр, — кажется, не все еще потеряно! Есть свидетель, удостоверяющий непричастность Крога к случившемуся.

— Вы разумеете прислугу Крога?

— Конечно!

— Да... м-м... Но показания одного человека... Отсутствие вещественных доказательств...

— Но разве не является доказательством честность доктора Крога? И потом — это крупный ученый!

Дейлор молчал, барабаня пальцами по коленям. Тщетно старался он предугадать, куда клонит министр.

— Конечно... конечно... Крог незаурядный человек! Он сделал выдающееся открытие...

— Ну так вот, господин директор, — перебил его министр, — давайте говорить начистоту! Крога обвиняют в преднамеренном эксперименте в природе. Пусть это так. А скажите, поверят ли нам за границей, что Крог действовал единолично, что за спиной Крога не стояло государство? Ведь эксперимент — не мелочь! Что скажете?

— Мммм...

— Крог не мог делать эксперимента в природе. Он не должен был этого делать. Такое случиться не могло!

Голос министра стал жестким, чеканным.

— Крог — выдающийся ученый нашей страны. Он стал жертвой нелепой случайности. Он стал жертвой несправедливых обвинений. Крог должен быть оправдан. Показания их служанки должны быть признаны убедительными. Вам ясно?

— Ясно, господин министр.

— Но это еще не все! Раз Крог хороший, замечательный человек, движимый порывом благородного служения науке, родине, значит есть и другие люди — злостные клеветники, оболгавшие ученого в своих личных целях. И это вам ясно, господин директор?

— Ясно, — холодея, ответил Дейлор.

— Нам известно, что у Крога есть давние недоброжелатели. Знакомый вам профессор Блунк... Кстати, сына его подозревают в попытке украсть коллоид из лаборатории Крога. Потом, как его Стивенс... Знаете его?

— З-знаю...

— И вот вас, уважаемого человека, эти люди ввели в заблуждение. Оклеветали перед вами замечательного человека. Не правда ли, как это печально?

— Это ужасно, господин министр! Вы открыли мне глаза! Это ужасно. Я всегда интуитивно опасался этих людей. И вот подумайте!

— Ничего, господин директор. Клеветники понесут наказание. Вы нам в этом поможете. Вы, конечно, понимаете, что судебного процесса не избежать. Он необходим. Он будет ответом на всю ненужную шумиху. И вот на суде ваши показания будут кстати. Итак, мы с вами поняли друг друга?

— Конечно, господин министр!

— Правда восторжествует. Правда ведь всегда торжествует!

— Конечно, господин министр!

— Наш разговор окончен. До свиданья, господин директор.

— До свиданья, господин министр!

Дейлор, кланяясь на ходу, бойко выскочил из кабинета.

Надолго запомнился жителям города процесс по делу доктора Крога и предшествующие ему события. В газетах печатались подробные отчеты судебных заседаний, речи прокурора, защитника, показания свидетелей. Всюду в присутственных местах можно было услышать оживленные разговоры на эту волнующую всех тему. Вот, например, выдержка из статьи, помещенной в газете «Новости дня» под заголовком «Доктор Крог оправдан!»

...«С удовольствием отмечаем мы, — говорилось в статье, — справедливое решение суда. Доктор Крог признан невиновным. Тяжкое бремя подозрений спало с плеч замечательного ученого. Напрасно старались профессор Блунк и научный сотрудник института физиологии и биохимии Стивенс очернить ученого в общественном мнении. Напрасно, преследуя собственные корыстные цели, они фальсифицировали факты. Эти люди, забыв о чести, ввели в заблуждение директора института профессора Дейлора. Роковую случайность, повлекшую за собой трагические события последних дней, они пытались истолковать как преднамеренный эксперимент доктора Крога в природе. Чистосердечное признание служанки Крогов Анны Старк пролило свет на действительность. Выступление на суде директора Дейлора изгнало последнюю тень подозрений. Итак, клеветники разоблачены и понесут справедливое наказание.

Имя доктора Чарльза Крога, скромного и талантливого ученого, навсегда войдет в анналы отечественной и мировой науки. Слава

замечательному ученому нашей страны! Слава справедливости!»

Аналогичные статьи можно было прочесть и на страницах многих других газет. Многие из них печатали портреты Крога. Целые армии корреспондентов устремились к нему на квартиру, и миссис Крог стоило немалых усилий охранять его покой. Сотни писем ежедневно приходили на его адрес. Планировалось назначить Крога заведующим лабораторией цитофизиологии. Планировалось предоставить ему все условия для научных исследований. Сам мистер Бинг любезно согласился оказывать доктору всемерную поддержку.

Итак, все как будто кончилось хорошо для доктора Крога. Он стал известным человеком. Слава улыбнулась ему. Открывались заманчивые перспективы будущего. Но доктор Крог, вопреки всему, не был радостен. Шумным встречам он предпочитал уединение. Разговорам — молчание. Он почти не покидал дома. Отказывался от участия в ученых советах и заседаниях, ссылаясь на нездоровье. Лишь старый испытанный друг его Леви имел к нему постоянный доступ.

— Что же ты, старина, такой хмурый, — говорил ему Леви, — все обошлось как нельзя лучше. Тревоги позади. А ведь, подумай, могло быть и иначе. Я, признаюсь, до сих пор всего не пойму. Дело, конечно, не в твоих заслугах перед наукой, хотя мне они известны лучше, чем кому-либо другому. Тут другое! Но сейчас нет нужды копаться в этом.

— Все правда, Ден, — отвечал ему Крог, — я очень рад такому исходу. Но понимаешь... А, да хватит вспоминать!

— Нет, ты договаривай!

— Потом.

— Ну, как хочешь...

Уходя, Леви тихонько поманил миссис Крог.

— Вот что, миссис Берта, — шепнул он ей, — не нравится мне старик.

— Мне самой не нравится...

— Примите совет старого семейного друга. Увезите его куда-нибудь на время. Смените обстановку хотя бы месяца на два.

— Я думала об этом.

— Вот и хорошо. Мы — единомышленники!

После этого разговора жена не раз заговаривала с Крогом об отъезде. К ней присоединилась и Эмма. Доктор отмалчивался, но не возражал. Наконец удалось добиться согласия. Было намечено посетить живописные приморские места, пожить около месяца в маленьком курортном городке, прокатиться по морю на теплоходе. Отъезд ориентировочно наметили дней через десять. Миссис Крог и Эмма незамедлительно приступили к дорожным сборам. Эмма по-детски радовалась в предвкушении интересного путешествия.

До отъезда осталось три дня. Сборы были в основном закончены. Миссис Крог предусмотрела все до мелочей. От мужа она потребовала забыть на это время о научной работе.

— Хватит. Успеешь! — Властно заявила она.

Крогу приходилось действовать конспиративно. Вот и сегодня он украдкой посматривал на часы. Время медленно продвигалось к вечеру.

— Ложись-ка пораньше, — сказала миссис Крог после ужина.

— Я почитаю немного...

— Ладно! И не вздумай...

— Да нет же!

Когда все уснули, Крог достал из письменного стола объемистую папку. С оглядкой извлек он из папки свои записи и разложил на столе. Формулы... Формулы... формулы... Бесконечные, сложные. Крог читал их так же легко, как музыкант ноты. Внимательно просматривал он последние записи. Много важного. Много потрясающе интересного. Но не все! Как же так получилось? Какой момент пропустил он в опыте? Что не учел? Коллоид продолжал быть загадкой. Он, Крог, создал его и в то же время он не знал чего-то очень важного! Пробел... Где-то в этих формулах недостает нескольких букв, нескольких звеньев. Крога терзала мучительная неизвестность.

Он припоминал трагические события, связанные с коллоидом. Конечно, иначе быть не могло. Коллоид нужно было уничтожить ради безопасности людей. Но чувства ученого не хотели мириться с неумолимой логикой.

Коллоид... Его детище... Природа посмеялась над Крогом. Она, как злая фея, приоткрыла волшебный ларец, а заглянуть в него не дала! Мысленно видел он бесцветные студенистые комочки. Они медленно двигались, образуя псевдоподии, они росли, распадались надвое. Они давали жизнь новым поколениям себе подобных. Какая сложная химическая динамика! И в то же время в этих загадочных существах не было структурных признаков живой материи! Крог припоминал их универсальность, их поразительную приспособляемость. И вот теперь этого ничего нет! Ничего! Все уничтожено. А может быть?..

Крог подошел к окну и тихо приоткрыл одну створку. Была сентябрьская ночь. По небу бежали рваные облака, и в их просве-

тах то появлялась, то исчезала большая бледная луна. Темными силуэтами выступали ближние дома. Там, за ними, за чертою города осталось все, чем жил он многие годы. Там, под пеплом, похоронены труды его жизни. А может быть?..

Нет, не нужно думать... Осталось три дня. Только три дня! Он уедет отсюда. Ничто не будет напоминать ему... Он отдохнет, сбросит огромное напряжение последних дней.

Уехать?! Этот вопрос с внезапной ясностью встал перед ним. Уехать на целых два месяца! Огромный срок... А там, быть может, в пепле, в отравленной земле еще остались маленькие комочки... Они погибают, унося ключ от великой загадки.

Крог чувствовал растущее, подступающее к горлу волнение. Оно мешало дышать, оно мешало думать... Лишь один вопрос упрямо возникал в сознании: «А может быть?..»

Он закрыл окно. Подошел к письменному столу. Формулы... Формулы... Тщетно пытался он сосредоточить мысли. Ничего не получилось. Крог мерил шагами кабинет. По стене металась его большая тень. Он погасил свет и прилег на кушетку. Нужно уснуть... Но в темноте стало еще хуже. Тревожные мысли вспыхнули ярко, ослепительно. Они опаляли его усталый и возбужденный мозг.

Уехать?! Так просто, без оглядки? Невозможно! Это значит — всему конец. Он вновь зажег свет. В глубине его сознания зрело какое-то ему самому еще неясное решение. Бесцельно прошелся несколько раз по комнате. Затем приоткрыл дверь и выглянул в темный коридор. Тихо. Жена и дочь давно уже спали. Не зажигая света, он осторожно прошел в переднюю и плотно закрыл за собой дверь.

«Зачем?..» — подумал он, рефлективно надевая плащ и шляпу, но вопрос мелькнул в сознании, как искра, и погас.

К стене был прислонен новенький дорожный велосипед Эммы. Доктор надавил пальцем на покрышки.

— Держат, — пробормотал он и тихо вывел велосипед на лестничную площадку.

Прислонив велосипед к уцелевшему одному-единственному столбику от деревянной ограды, Крог перевел дух. От города он отъехал километров пять. Ветер усилился и посвежел. Облака то и дело закрывали луну и окружающее то погружалось в темноту, то слабо проявлялось в голубоватом свете.

«Куда же ехать?» — размышлял доктор. Он знал, что местность, где была проведена борьба с коллоидом, сейчас объявлена запретной зоной, что на дорогах, ведущих к ней, до сих пор не снят патруль. Она лежала километрах в десяти отсюда.

«Нужно пробираться окольными путями, — решил он. — А зачем?» Опять тот же вопрос. Но какая-то сила, более властная, чем рассудок, неудержимо влекла его вперед. Осторожно колесил он по проселкам. Дорога казалась бесконечной. Временами приходилось слезать с велосипеда и шагать по кочкам и рытвинам. Под ногами хлюпала вода. Доктор перебрался через маленькое болотце и вновь нащупал твердую почву. И вновь он ехал, наугад определяя дорогу. Было тихо и безлюдно. Ни души! Вдали косо черкнула по небу светлая прямая полоса и легла на землю. Прожектор.

«Что я делаю, — смутно мелькало в голове у доктора, — куда я еду? Ведь это же безумство!» А ноги автоматически крутили педали, руки непроизвольно направляли руль. Дальше, дальше... Он устал, но не было сил остановиться.

Ветер разогнал тучи, и луна, синяя, круглая, царствовала на высоком звездном небе. И все было призрачным и незнакомым. И нельзя было узнать, где он проезжал.

Вот большие ямы и в них голубовато поблескивает вода, черные обгорелые пни, поваленные на землю стволы. Велосипед пришлось оставить. Крог продолжал путь пешком. Ох, как он устал! Под ногами хрустели и ломались сухие ветви, и ноги поминутно проваливались во что-то мягкое, как мелкий морской песок. Сколько же он прошел? Сколько он проехал?

Вокруг, как телеграфные столбы, чернели голые, лишенные крон стволы деревьев. Виднелись какие-то балки, какие-то груды... Вот — небольшой склон, а дальше, на дне многочисленных ям и канав, блестит вода. Так ведь это же озеро! Вернее, то, что от него осталось...

«Назад! — слышал доктор предостерегающий внутренний голос. — Вернись! Еще не поздно!» Грозное предупреждение было во всем окружающем. Крогу показалось, что предметы не отражают лунный свет, а сами излучают бледное голубое сияние. Земля, пронизанная ядами, отравленная радиацией, излучала смерть, тысячи смертей... Он шел вдоль русла ручья, превратившегося в жидкую грязь. Перед ним смутно обрисовались обгорелые стены.

«Мой дом...»

Доктор опустился на землю. Силы оставляли его. Он чувствовал под руками мягкий

пепел. Он бесцельно набирал его в пригоршни. Пепел высыпался между пальцев. Пепел... Крог полз по земле. Он ощупывал ее, мертвую, чужую.

«Что я делаю! Что я делаю!» — мелькало в голове.

И вот темные силуэты окружающего внезапно задвигались. Они меняли свои очертания, они были непостоянны, как тот коллоид, который он создал. Торчащая из земли балка то удлинялась, то укорачивалась, то изгибалась, то выпрямлялась. По небу расплывались огромные тени, скрывая звезды.

«Уходить!» — с безотчетным ужасом подумалось доктору. Он хотел встать, но ноги бессильно подогнулись, и он повалился лицом в землю. Но и земля была неспокойна. Он ясно чувствовал ее колебания, ритмические, медленные...

— Ооох... — простонал сквозь зубы доктор, зарываясь щекой в мягкий пепел. Душная, пронизанная яркими вспышками мгла нахлынула на него, и потом ничего не стало...



Г. Леви. Натюрморт. Гравюра.



Г. Леви. Вербы. Гравюра.



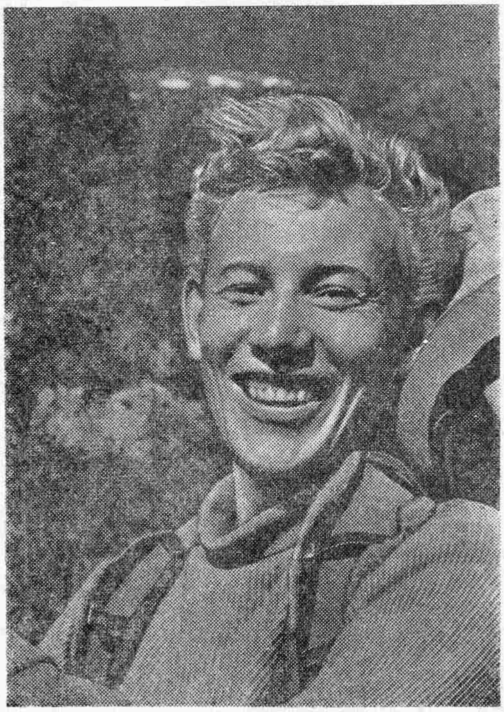
Бухта Песчаная.

Владимир Кейко

ПУТЕМ КОШУРНИКОВА

В 1942 году в Саянах работала специальная экспедиция изыскателей железных дорог. Опытный таежник Александр Михайлович Кошурников с двумя ребятами — Алешей Журавлевым и Костей Стофато в условиях суровой саянской осени вывели трассу дороги от Нижнеудинска на Верхнюю Гутару, наметили тоннель под Идэнским перевалом и, продолжая изыскания вдоль реки Казыр, погибли в районе уловы Семи Братьев. Героическая борьба этой маленькой группы с природой





Центральных Саян, прекрасно описанная Чивилихиным в книге «Серебряные рельсы», вдохновила нас двадцать лет спустя пройти тем же путем.

Нас было трое:

Сотрудник Иркутского института оргхимии Володя Кейко. Это я — автор. Долгое время считал себя руководителем группы. Это заблуждение мне простили только за то, что после похода я очистил от копоти взятые напрокат котелки. Я был лоцманом и поэтому, посадив плот на мель, всегда первым слезал в воду.



Сотрудник того же института Толя Никифоров. Командующий кормовой гребью. Кроме этого, занимал все должности от боцмана до впередсмотрящего и на плоту спящего.

Студент Уральского политехнического института Леонид Кейко, или просто Леха. Уже на первых экзаменах проявил большие способности к плаванию и с тех пор занимается только водным туризмом. На Казыре заведовал носовой гребью.

Нижнеудинск — воздушные ворота Центральных Саян. Маленькие Яки и Аны за час доставляют отсюда путника на своих стрекозьих крыльях в любой уголок Тофаларии.

— В Верхнюю Гутару билетов сколько угодно. Возьмете сразу перед вылетом. Самолет по расписанию должен быть завтра, но может пойти и сегодня, — сообщила диспетчер, — смотря как погода.

Погода была отличная. Именно в такой день каждому бросается в глаза, что у солнца не хватает слегка прищуренных глаз и растянутого в добрую улыбку рта. Но для того чтобы улететь из Нижнеудинска в «горы», этого совершенно недостаточно. «Горы» иногда неделями бывают закрыты облаками. Изучившие все пляжи на берегу Уды, изнемогающие от жары туристы ждут, что хоть одно облачко наконец покажется из-за горизонта. А неумолимый диспетчер снова и снова повторяет:

— Все перевалы закрыты облаками. Горы не принимают самолетов.

В 14 ноль-ноль на перроне нижнеудинского вокзала состоялась торжественная церемония встречи третьего и последнего участника нашей группы. Леха прошел перед почетным караулом вокзальных киосков.

Солнечное утро. Легкий ветерок таскает над рекой за бороды заблудившиеся клочья тумана. Переполненный горными пассажирами аэропорт шумит, как Уковский водопад. Один за другим открываются аэродромы Тофаларии. С затаенным дыханием слушаем диспетчера:

— Верхняя Гутара не принимает. Там размокло посадочное поле.

Но летчикам до того надоели наши кислые физиономии, что они не выдержали:

— Там иногда около гор остается сухая полоска. Мы сейчас слетаем посмотреть. Кто в Верхнюю Гутару, выходите на поле.

Гудит мотор трехместного Яка. Плывут под крылом одетые тайгой горы. Вершины упрятаны в белые шапки тумана. А дальше тянутся вверх, к солнцу облака, слившиеся в огромные купола. Як пробивает первую облачность. Дождь начинает хлестать по стеклам. Совсем близко проносятся скалистые вершины гор с языками снежников. И вот пилот направляет машину круто вниз. Из-под колес летят фонтаны брызг — Верхняя Гутара принимает самолеты.

Прямо с аэродрома я поспешил в правление колхоза «Кызылтофа» узнать насчет оленей. Там сообщили, что вьючными оленями занимается заместитель председателя колхоза Василий Ильич. Поиски Василия Ильича закончились в приземистой хате бабушки Лычагиной — смотрительницы «туристской базы Восточно-Саянская». В этой хате у гостеприимной хозяйки останавливаются все туристы, уходят ли они в трудный путь или дожидаются самолета, возвратившись из похода. В комнате, где для гостей положены на пол нехитрые спальные принадлежности — медвежьи и оленьи шкуры, — на тумбочке хранится тетрадь — «Книга учета диких и организованных туристов».

Василий Ильич кратко объяснил, что получение вьючных оленей связано с длительным ожиданием. Поэтому Володя от оленей отказался.

— А куда вы путь держите? — спросил Василий Ильич.

— До Проходной пойдем пешком, а дальше поплывем на плоту по Казыру,—ответил я.

— Ничего, если ребята здоровые, пройде-

те, — произнес Василий Ильич и добавил, уходя: — Только если вас Лычагина не переубедит.

Бабушка Лычагина, услышав слово Казыр, изменилась в лице, привстала из-за стола и принялась обрабатывать меня:

— В Казыр, чертову реку, вы и не суйтесь. От него, проклятого, и без вас много народу погибло. Сашка Кошурников — какой мужик был. С двумя хлопцами в этой же вот избе останавливался, за этим столом сидел. Он все про Казыр спрашивал. Я Сашке говорила — не ходи по Казыру. Презлющая река, сотрет в порошок. А по земле люди наши помогут пройти, не дадут погибнуть. Не послушался. Все трое померли на проклятой реке. — Бабушка замолчала на минуту. Жуткая тишина повисла в воздухе.

— Три года назад здесь морячки были. Такие славные ребята. Потом форму домой отослали, купили у мужиков таежную одежду, оленей взяли лодку свою до Казыра довезти, а сами бахвалились: «Мы, говорят, на этой лодке в самый лютый шторм по океану ходили, а уж по Казыру пройдем свободно». Наши мужики их через месяц встретили. Они, родимые, пятнадцать суток крошки во рту не держали, живы-то чудом остались. Счастье их, что они еще до Щек не доплыли. Привезли их распухших, страшных. Положили вон на ту крышу на солнышко. Я им с ложечки оленье молоко три дня давала. Думала, помрут они. Чисто покойники лежали. Но никто не помер. А я решила — никого на эту реку не пущу. И вас не пущу. Жить хотите — в Казыр не суйтесь.

Слезы покатились по морщинистым щекам. Я неловко попрощался и попятился к выходу.

Василий Ильич поджидал на завалинке.

— Ну как? — спросил он.

— Нужно посмотреть. Не вдруг мы выбрали Казыр, не вдруг от него и отказываться будем.

— Что ж, доброго пути вам. А будь помоему, силой посадил бы вас в самолет и отправил домой, чтобы не болеть за ваши молодые головы.

Разговаривая, я с опаской поглядывал на сарай, где три года назад на плоской крыше бабушка Лычагина отпаивала оленьим молоком полуживых офицеров.

История капитана второго ранга Марка Пуссе, описанная им в журнале «Вокруг света», попала нам в руки в нижнеудинском аэропорту. Из нее мы не узнали главного — где водяной вал накрыл видавшую океанские штормы морскую шлюпку, едва не сделав четверых смельчаков очередными жертвами Казыра. Оказывается, это случилось еще до Щек.

Нужно будет смотреть в оба на «проклятом» Казыре!

Когда я вернулся на аэродром, там с ребятами беседовал человечек маленького роста с веселыми голубыми глазами:

— Я проводник. Свезу, куда хочешь, хоть на Агул-озеро, хоть на Проходную. Олень у меня самый хороший. Иди правление, плати деньги, послезавтра поедем, — говорил тоф, пренебрегая окончаниями, забавно коверкая русские слова.

— Как же олени пройдут через Большую Кишту? Там, наверно, совсем развалился мост, — спросил Леха.

— Этот год еще пройдут, хорошо пройдут. Весной по мосту шибко большой медведь ходил. Умный зверь плохой мост не ходи.

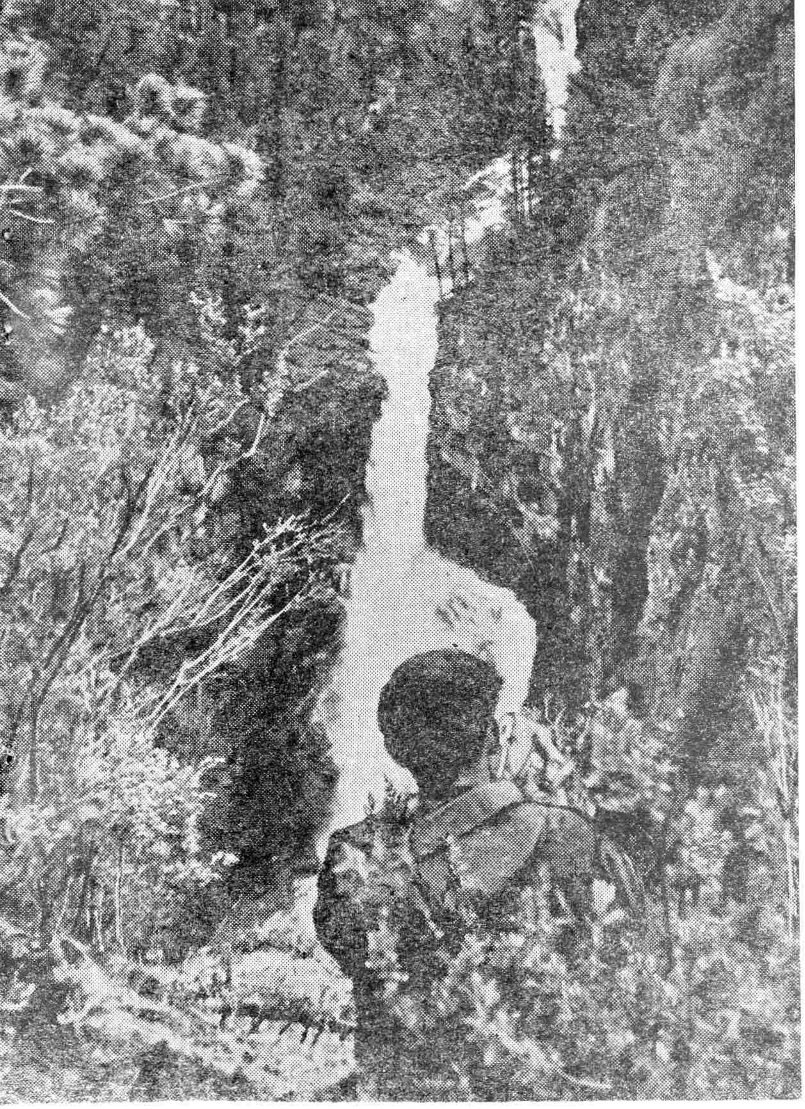
Долго еще проводник рассказывает о своей жизни, о нашем пути, о том, как в июне сорок первого года с начальником Саянского заповедника Громовым били они тропу на Казыр, строили мост через Большую Кишту, о том, как в сорок втором провожал он на перевал изыскателей железной дороги Абакан—Нижнеудинск.

— Казыр не ходи, плохой река, — просто советует он нам, — шибко плохой река.

Спешат в обратный путь самолеты. Один из них увозит только что заболевшую энцефалитом женщину. Темные облака спускаются совсем низко, закрывая перевал. Начинается дождь. Великолепные горы вокруг становятся мрачными. Полны опасностей эти горы. На каждом повороте тропы поджидает здесь человека смерть.

— Клещей бояться — в лес не ходить, — смеемся мы. Ребята, получив разрешение проводника, ловят его оленя, забираются в седло: ну-ка посмотрим, быстро ли ездит тофаларское такси! Неловкое движение — и седло вместе с седоком сползает оленю на живот. Со смехом вылезает из-под оленя очередной ковбой. А вот я свободно достаю сапогами до земли. Но олень на ходу вдруг опускает голову, и, как Дон-Кихот, я съезжаю прямо на мохнатые тяжелые рога.

В шесть часов вечера наша маленькая группа трогается в дальний путь. Дождь косыми штрихами зачеркивает позади очертания удаляющихся домов. В сером водяном сумраке встает перед нами мрачная неуютная тайга.



ров пятнадцать летит вниз и, снова разбившись о скалы, устремляется в последний полет на дно ущелья.

После обеда, когда мы уходим вдоль белого от пены Идэна, дождь переходит в ливень. На глубокой, разбитой оленьими копытами тропе столько воды, что мы черпаем сапогами через край. Негреющие, промокшие насквозь телогрейки добавляются тяжелым грузом к нашим и без того нелегким рюкзакам. Наше полоскание заканчивается бродом через Идэн. Быстро сооружается богатырский костер. Просушив всю одежду и прогревшись до появления запаха жареного мяса, мы забираемся в теплые мешки в сухой палатке.

Разбуженные солнцем бабочки устроили над палаткой такую шумную драку, что разбудили даже Толю. Все в это утро звенело и смеялось вокруг. Солнце так быстро согрело воздух, что Леха слегка загрустил: в наш чисто водный маршрут вкрались непривычные для него сухая тропа, сухие кусты, сухие ноги.

Иногда тропа выходила к Идэну. Тогда мы делали привал, и каждый раз река поражала нас стремительностью и мощью. Толя был сильно огорчен тем, что наше меню не состоит наполовину из жареной рыбы. С завидным упорством он распутывал на привалах свою удочку, но каждый раз убеждался, что среди хариусов нет любителей путешествовать в эти труднодоступные места.

Тайга постепенно редеет, уступая место пышным альпийским лугам. Один из бесчисленных привалов — на покрытой цветами поляне. Над высокой травой, среди белых шапок неизвестных нам цветов, покачиваются невиданных размеров жарки. На фоне снеговых гор, розовых скал и бездонно-голубого неба этот уголок кажется воскресшим из сказки. Однако аромат над поляной имеет более земной оттенок. Сначала находим основного виновника — горный лук, потом черемшу и заканчиваем наши ботанико-гастрономические исследования открытием щавеля и дикого ревеня. Воображение рисует нам задолго до полудня сказочный обед из этого силоса, пшена и свиного сала.

Солнце подозрительно близко подкралось к переломанному горизонту. Делаем последние переходы из последних сил. Под ногами то скрипит снег, то хрустят прилепившиеся к камню мохнатые лишайники. Отдельные кедры и лиственницы топорщатся изуродованны-

3 июля. Всю ночь в палатку стучался дождь. Утром, не дожидаясь его окончания, мы пошли сквозь пропитанную водой тайгу и в час дня были на развилке: здесь тропа пересекает реку Гутару и уходит на перевал вдоль реки Идэн.

Брод через Гутару оказался несложным, однако, выбравшись из ревущего потока в пятнадцать метров шириной и около метра глубиной, мы решили, что стоит посмотреть на расположенный всего в двух километрах отсюда водопад на реке Гутаре. Тропа к водопаду идет круто вверх. Согреваясь ходьбой, мы почти бежали по ней, и через полчаса остановились над обрывом. Перед нами — неповторимая картина гигантского водопада. В промытый бешеным потоком котел река низвергается с черных скал несколькими каскадами. Первые два сильно вспенивают воду. Дальше белый кипящий поток мет-

ми ветром ветвями. Неожиданно оказываемся на перевале. Впереди показывается черная вода озера, за ним — долина реки Малой Кишты. Здесь, на высоте тысяча шестьсот метров, разбиваем лагерь. Леха впервые после обеда перестал жевать черемшу, чтобы сообщить, что, по его мнению, в воздухе уже сейчас пахнет температурой около нуля.

Мы быстро поужинали, надрожали в палатке подходящую температуру и погрузились в высокогорный сон.

5 июля. Мы обогнули озеро и спустились круто вниз по едва прикрытым мхами скалам. Картины, открывающиеся с тропы, поражают воображение. На западе в корытообразную долину притока Малой Кишты низвергается с высоты около сотни метров живописнейший водопад. Справа и слева от белой полоски падающей воды — играющие в лучах солнца снеговые громады гор.

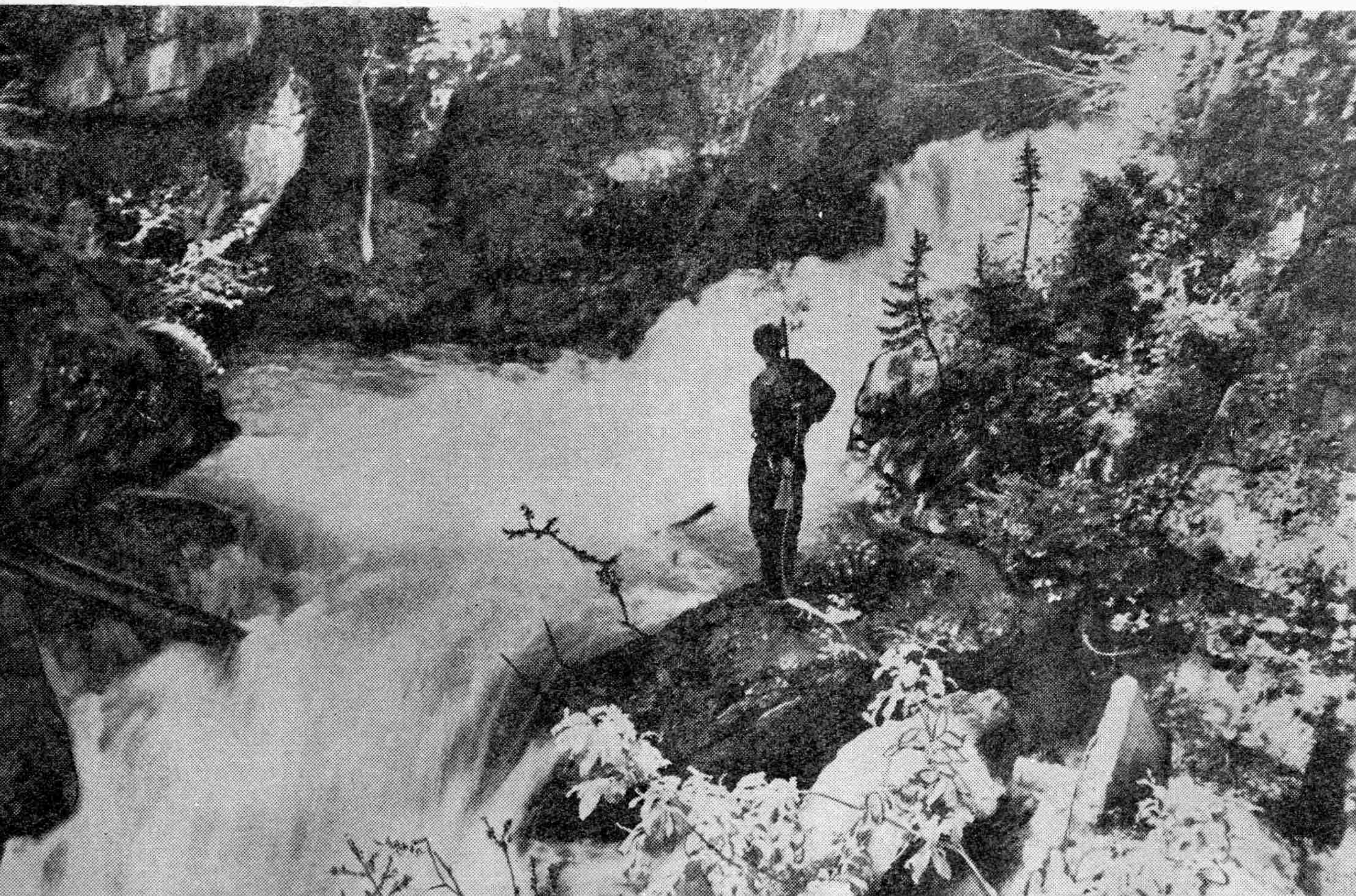
Заснеженные пики окружают со всех сторон зеленый полуостров тайги. Тропа спускается по склону на дно долины, в царство многоголосого грохота и рева воды. На протяжении нескольких километров Малая Кишта образует непрерывный каскад водопадов. Немые останавливаемся мы иногда, чтобы сфотографировать прыгающую по причудливой лестнице белую стремительную пену. От снежников по сторонам долины маленькие ручейки срываются вниз, в тайгу, белыми ниточками водопадов. Вода сбегается со всех сторон и с ревом и грохотом устремляется к Казыру.

На одном из многочисленных бродов через очередной ручей получаем первый привет с того света. Его передает пойманный на шляпе клещ. С этого момента наши привалы превращаются в заседания комиссии по расследованию антитуристской деятельности.

Некоторые места на тропе специально сделаны для того, чтобы на них путники ломали себе ноги. Корни кедров сплелись над землей в коварную настороженную сетку. Под ней — то нагроможденные в беспорядке камни, то пустота наподобие волчьей ямы. Именно здесь двадцать лет назад ломали ноги вьючные олени под грузами экспедиции Кошурникова.

Тропа ведет нас сквозь фантастические переплетения поваленных бурей деревьев, вброд через реку Среднюю Кишту, затем снова в обход многоэтажных завалов.

Очередной привал. Темнеет. Отыскивая место для лагеря, мы проходим десяток метров и оказываемся над обрывом. Дальше вниз уходит желоб, протертый несколько более широкими и округлыми орудиями, чем каблуки сапог или оленьи копыта. Внизу, на самом берегу реки, — небольшая поляна. Садимся в желоб — и земное тяготение доставляет нас почти к цели. Отличное место, но от грохота



воды, кажется, дрожат кругом скалы. Наши барабанные перепонки не рассчитаны на такой концерт. Приходится пройти еще немного. Вдали от реки, на окруженной баррикадами бурелома поляне, будет наш последний перед Казыром лагерь.

6 июля. Как только властный грохот сменил плескотню Средней Кишты, стало ясно: там, где обрывается тайга, — Казыр.

Мы на берегу Казыра.

Подходим к воде и на время теряем дар речи. Куда ни посмотришь, кругом всесокрушающий хаос воды. По всему руслу разбросаны камни. Вода вскипает над ними словно в яростном исступлении. Иногда не выдержавший натиска валун срывается с места и с грохотом волочится по дну, пока не разотрет его в порошок не знающая жалости стихия. Уж не намек ли это на нашу судьбу?

Некоторое время мы идем вдоль «проклятой реки». Потом уходим в сторону, поднимаемся в березовое мелколесье и оказываемся перед мостом над каньоном реки Большой Кишты.

После двухдневного перерыва начинается дождь. Мы уже перешли Большую Кишту по доживающим последние месяцы гнилым бревнам со следами бывших перил, когда Толя на всякий случай спросил у Лехи, не клещ ли ползает по его куртке. Леха поймал клеща.

— Нет, не этот, повыше,—скорректировал Толя. Леха снял еще одного, но это оказался снова не тот. Пришлось устроить внеочередную облаву. Леха первым перешел через мост и попал под дождь прыгающих с кустов клещей. Когда он снял куртку, стало ясно, что одному Толе не справиться с задачей вытаскивания из Лехиной спины этих очаровательных обжор. Мы углубились в тайгу подальше от коварных кустов и принялись за истребление незваных гостей.

Когда ту же процедуру проделывали с менее вкусными Толей и мной, Леха утешал нас по очереди:

— Так и быть, тебе достанутся мои сапоги, а тебе куртка с капюшоном.

Только дойдя до фотоаппарата, он догадался, что поступает весьма неосмотрительно.

— На душе и привольно и весело, — жалобными голосами затянули мы песню, покидая Чертов мост с настроением людей, только что заказавших себе гробы нужного размера с исполнением через две недели.

Возле Прямого Казыра ленинградские геологи в 1960 году устроили лесной пожар. Тайга выгорела на несколько километров в обе стороны от устья. Порыв ветра унес в сухую тайгу огонь лагерного костра, и геологи сами не сгорели только потому, что наблюдали за судьбой своего имущества, стоя по шею в воде Прямого Казыра.

Тропа от Большой Кишты затесана, но пройти через гибник по затескам оказалось делом далеко не легким. Мы бросали затески, снова встречали их и снова бросали. Нужно было спешить. Вся правая половина неба цвета напившегося клеща содрогалась от ударов грома. Гроза охватила верховья Прямого, по нему каждую минуту мог пойти сель. Поэтому мы пошли вброд все трое разом в первом попавшемся месте. Посредине реки нас немного протащило по камням, но единственно опасным было лишь то, что этот не запечатленный на фотопленку брод останется нам вечным упреком.

К гибнику, мокрым ногам и светлой памяти о нападении клещей гостеприимные Саяны добавили сначала холодный ветер, потом дождь. Мокрец правильно понял, что мы не способны на сопротивление, и слетелся тучами. У направляющего явно помутилось в глазах: остальным кажется, что мы идем по самому длинному и трудному пути. Но как сказать об этом, когда мокрец только и ждет, чтобы забраться в рот, как будто ему мало глаз, ушей и носа.

Способность мыслить вернулась к нам в еланях. Каким чудом мы оказались на такой высоте, никто не мог объяснить. Мы почти отбились от мокреца и договорились о направлении дальнейшего продвижения. Мрачная в сумеречном свете тайга ощетинилась поторчинами всех сортов. Мы пошли ужасающими зигзагами от завала к завалу, и на берег Казыра вышли уже в потемках. Место для палатки пришлось выбирать, посвечивая по сторонам спичками.

Первые радости жизни были обнаружены, когда дежурный повар объявил, что он не решается пачкать казырской водой идеально чистые стенки отполированного ложками котелка. Оставив мокрую одежду на вешале у догорающего костра, мы спрятались в палатке от дождя и ветра, но не от всемогущего мокреца.

7 июля.

— Ребята, а ведь энцефалитные вирусы не перенесут того, что было вчера! — раздалось в палатке вместо команды «Подъем!», и мы решили больше не вспоминать насекомых, ракообразных и амеб.

Вдоль берега Казыра — прямая широкая тропа. Мы пошли по ней непривычно быстро, и скоро оказались посредине палаточного городка геологов напротив устья Левого Казыра. Стук костяшек домино и возгласы болель-

щиков не оставляли никаких сомнений в том, что поблизости есть живые люди. Незамеченные вошли в «козлятник» — маленькую рубленую избу, брезентовая крыша которой изредка приподнималась, как крышка кипящего чайника, выпуская синим облачком избыток табачного дыма. Четыре забойщика во главе с начальником партии Николаем Николаевичем Стомборовским заметили наше появление только после того, как очередные козлы полезли под импровизированный столик.

— Прилетели? — спросил Николай Николаевич, углубляясь в сложное таинство перемешивания костей.

— В некотором роде прилетели.
— Почту привезли?
— Нет, не привезли.
— Тогда давайте с нами на вылет.

Несколько минут мы молча слушали тяжелые удары. Наконец Николай Николаевич остался с одним отрубленным шестерочным дуплем, и пока остальные забойщики делали и считали рыбу, он мог без заметного ущерба для геологической науки разговаривать с нами.

Беседа получилась необыкновенно короткой. Мы поняли из нее, что от своего лагеря до реки Проходной геологи часто плавают по Казыру на резиновой лодке, но на пути много завалов, и плот лучше строить за Проходной. Начиналась решающая партия. Николай Николаевич распорядился, чтобы мы грузили образцы, и ящик из-под теодолита снова жалобно застонал под ударами геологических «молотков».

Когда козел кончился, все прояснилось. Геологи вначале решили, что прилетел обычный для них вертолет. Туристы были необычными гостями, и нас встретили снова уже с настоящим гостеприимством. От геологов мы узнали, что на нашем пути в устье реки Верхний Китат стоит еще одна партия и что недалеко от устья река Катун образует красивый водопад. В заключение мы получили разрешение взять у завхоза буханку хлеба и попрощались с геологами.

Тропа проходит рядом с кухней, и мы остановились около нее перед широченной спиной рыжего цвета. На наше нехитрое приветствие спина ответила глухим рычаньем, а когда было произнесено слово хлеб, могучий детина повернул к нам свою мохнатую голову. Лаконичный ответ и нецензурное выражение его лица говорили о том, что перед нами человек с общительностью голодного бурого медведя... О хлебе мы вспомнили минут через десять после того, как благополучно ретировались задом до густого кустарника и геологическая база скрылась в дремучей тайге.

Тропа от Левого Казыра до Проходной сильно виляет среди болот и завалов повышенной непроходимости. Впрочем, тропы как таковой не было. Мы нашли какие-то следы человека и еще много раз теряли их и находили снова. Конец этому гигантскому слалому наступил на берегу реки Проходной. Мы перешли реку по бревнам завала и по едва заметной тропинке направились вдоль Казыра. Но вскоре тропинка растаяла, и мы застряли в таком чертоломе, что иногда невозможно было пошевелиться. Полчаса продолжалась борьба с таежной целиной — завалами, ямами и кустарником-мордохлестом.

Вот и Казыр. Щепки на берегу говорят о том, что плот будет строиться здесь не первый раз. Мы выбрали поляну на самом берегу у края отличной корабельной рощи и с особенным удовольствием сбросили на землю рюкзаки. Далеко по тайге разнесся наш победный клич:

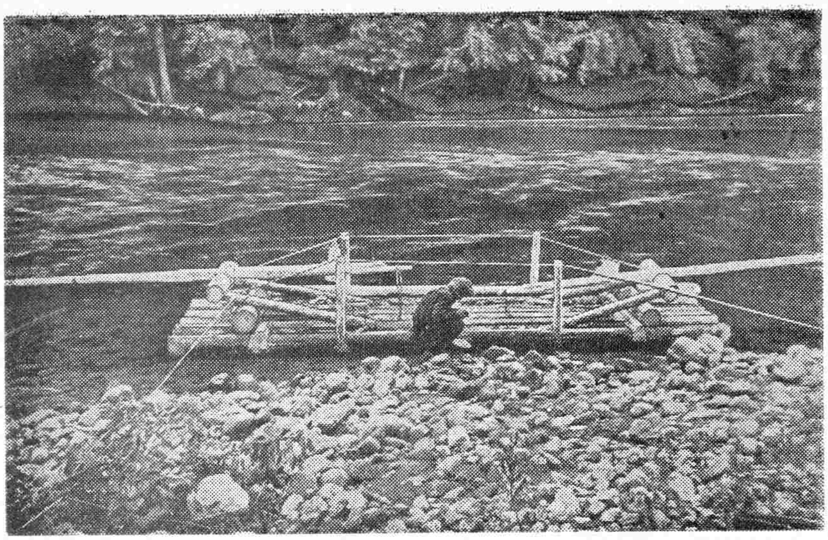
— Пешеходной части маршрута — конец, конец, конец!

Утреннее солнце выглянуло из-за облаков только для того, чтобы разбудить нас несбыточными надеждами на хорошую погоду. Как только мы осмотрелись, заморосил противный холодный дождик.

Место для постройки плота оказалось отличным. Казыр оставил нам за островом кусочек спокойной воды. Совсем рядом — десятки строевых сушин — елей и пихт. Толя уселся было с удочкой под склонившимися к воде елями, но комары быстро добрались до него, предварительно слизав лакомое угощение из нескольких патентованных репеллентов. Я выбрал лесины для плота и расчистил к ним дорогу. Леха принес радостную весть, что километра два Казыр течет так спокойно, что их сможем проплыть даже мы.

И строительство плота началось. Три дня длилась наша работа. Три дня с небольшими перерывами дождик аккуратно следил, чтобы слеги, по которым мы вытаскивали к верфи бревна, были мокрыми и скользкими. Гнус работал точно по расписанию: с утра до двенадцати — комары, с часу до сумерек — мошка, затем до утра — мокрец.

Утром 11 июля плот был готов. Я ревизовал продовольственные запасы и объявил, что отныне мяса мы будем потреблять по два карата на человека в день. Мемориальная доска была прибита деревянными гвоздями к стволу на самой «тропе». Все было готово к



отплытию. Возле берега, чуть покачиваясь на волнах, стоял плот, который свидетельствовал, что с тех пор, как Ной поплевал в ладони и, взявшись за гребь, оттолкнул свой ковчег от берега, в технике водного туризма достигнуты значительные успехи.

Собранный нами из пяти отборных еловых бревен и двух пихтовых «гнилушек» плот имел длину всего шесть с половиной метров. Натянутый на уровне пояса по бортам плота веревочный леер обеспечивал надежную страховку экипажа. В общем, плот был сработан на славу.

Западный ветер разорвал и унес в горы остатки туч. Дождь прекратился. Мы привязали к плоту рюкзаки, и, оттолкнувшись от берега, Толя произвел себя из дежурного повара в корабельного кока. Момент отплытия всегда бывает полон торжественности, но на Казыре это чувство недолго владеет душами туристов. Стремительность всего происходящего требует крайнего напряжения внимания.

Плот быстро набрал скорость, и вогнутый берег, казавшийся вначале безопасным, словно магнит потянул нас под свесившиеся над водою деревья. Пришлось поработать изо всех сил.

Скорость великолепная. Все время приходится грести. Проходим один за другим головокружительные повороты и через сорок пять минут чувствуем себя усталыми и разбитыми, как после целого дня самой тяжелой работы. Поэтому, когда плот проходит вблизи небольшого улова, над которым по пышному лугу белой ленточкой тянется к Казыру ручей, мы не можем упустить представившуюся нам возможность причалиться. Захватываем все, что требуется для приготовления обеда, и пробираемся по шею в густой траве к каменистой россыпи у подножия жиденького водопада. Это привлекательное место оказывается уже занятым... гадюками. Толстые отвратительные создания нахально шипят и дуются на нас, вовсе не собираясь уступать. Они бесславно погибают в неравной борьбе.

После обеда охрипший от рассуждений лоцман назначает отплытие на семнадцать тридцать и уподобляется гревшимся на солнце гадюкам. Толя и Леха давно приметили в улове какую-то живность и теперь извлекают из рюкзаков такое количество снастей, что если они наловят столько рыбы, нам будет грозить смерть от обжорства. К счастью, туристы не часто ловят рыбу. И все же Толя выуживает хариуса, самоуверенно приписывая ему вес четыреста граммов. До вечера он бы поймал еще десяток покрупнее, но впереди нас ждут сотни километров пути, и в назначенное время мы отчаливаем.



Через километр различаем какой-то шум. Впереди белеют гребни волн. Слева в Казыр с грохотом впадает речка. Мы у Запевалихи. Первая на нашем пути по Казыру шивера оказывается чрезвычайно простой. Несколько камней прячутся в невысоких волнах. Мы проводим плот без каких-либо приключений, лишь слегка зачерпнув сапогами через край, и вскоре в лабиринте островов с наваленным на них плавником выбираем место для ночевки. Три часа плавания доставили нам такое удовольствие, в сравнении с которым ничего не значит уха с разварившимся в устрицу четырехсотграммовым хариусом.

Греясь у костра, мы вспоминаем события прошедшего дня.

12 июля. До реки Гришкиной мы легко прослеживаем все повороты Казыра. Гришкина оказывается точно в предсказанном месте. Напротив ее устья Толя объявил, что слышит характерный звук перекатываемых по дну камней. Впереди — шивера.

Многие реки Саян изобилуют несложными порогами, которые здесь называют шиверами. Если в русле много камней, они, как плотина, перегораживают реку. Над такой плотиной или там, где дно реки образует ступеньку, вода течет с большой скоростью, с шумом стекая сверху вниз. Это слив, за которым вода всплескивается волнами, или стояками, как их называют за то, что они обычно не бегут, а подолгу стоят на одном месте.

Шивера оказывается изумительной. Четкий слив, метровые волны за ним — все очень просто и красиво. Чтобы просмотреть каждую волну на предполагаемом пути в поисках спрятавшихся камней, мы вытянули шеи и замолкли. Плот вышел на слив в самой его середине, перевалился вперед, и ударил носовым подгребком в белый играющий вал. Брызги обдали нас с головы до ног. От нас ничего не требуется, но Леха из озорства цепляет носовой гребью верхушки стояков, подставляя под набегающую волну меня или Толю. Самым мокрым оказывается все-таки он сам — такова уж судьба всех носовых гребцов.

За первой шиверой вторая следует на таком расстоянии, что некогда даже протереть очки. Сузилось русло. Неузнаваем стал Казыр. Зимовье выглянуло из зарослей кедрача и стремительно спряталось обратно. Волны непрерывно перекатываются через весь плот.

Несомненно, всякий, кто любит бешеную скорость, высокие волны и фонтаны брызг, попадающие за воротник, придет в восторг от этого кусочка Казыра.

13 июля. Всю ночь по притихшей тайге хлестал дождь. Повторяя избитую поговорку, что туризм — это не только спорт, но и отдых, мы освободили чалку, и плот словно сорвался с цепи.

По расчету шивера Томская должна быть не раньше чем через два часа, и мы решаем идти без остановок до устья реки Томской, полагая, что она накатала в Казыр камней, которые и образуют одноименную шиверу.

Изучение карты прерывается грозным шорохом впереди. На всякий случай мы подвели плот так близко к берегу, что двух гребков было бы достаточно, чтобы оказаться на прибрежной отмели. Стремительная струя осталась в середине русла. Плот пополз у берега с такой постыдной скоростью, что Леха поклялся в следующий раз выбросить с плота лоцмана за такие трусливые проделки.

Вскоре за поворотом открылась панорама короткой шиверы без камней, с закрученными метровыми волнами и ревущей белой пеной в середине русла. Несколькими гребками мы перевели плот в поток и принялись за изучение следующего говорливого места.

Раз пять между шиверами, идущими одна за другой в каких-нибудь двухстах метрах, мы перегребали Казыр от одного берега к другому. На одном из поворотов русло оказалось закрытым огромными камнями. Справа от них можно было пройти только заранее прижавшись к правому берегу. Наш плот оказался напротив гигантского камня, за который круто вниз, в черную ненасытную воронку, уходит пол-Казыра. Опасное место приближалось с грохотом встречного поезда. Команды утонули в реве воды. Кормовые гребцы немного увлеклись. Плот повернулся носом в сторону камня. Леха продемонстрировал остальным членам экипажа свое лицо с раскрывающимся ртом, но все было понятно без слов. Кормовые пропустили один гребок, нос рыскнул вправо и вошел в водяной бугор, вздымающийся над правым краем камня.

Среди представителей опасных профессий принято считать количество ошибок, которые необходимо совершить, чтобы попасть в тот мир, где плоты никогда не садятся на камни. Турист-водник может ошибаться трижды. Первый раз — когда, погрузив рюкзаки на плот, он отталкивается от берега, рассчитывая привязать груз в пути. Второй — когда, прислушиваясь к еле уловимому шороху невидимого препятствия, он выезжает из-за поворота с раскрытым от любопытства ртом и оказывается так близко к непроходимому месту, что уже ничего нельзя сделать. И третий раз — когда смытый с плота он пытается вы-

браться на берег. Зачем? В лучшем случае там его ждет голодный медведь, в худшем — голодная смерть.

Тот, кто забудет эту суровую истину, рано или поздно должен будет греться на плоской крыше какого-нибудь сарая, если поблизости окажется заботливая бабушка и теплое оленье молоко.

После каждой шиверы наш лоцман проверял, как привязан груз, а когда впереди слышался шум, мы спешили прижаться поближе к берегу. Так было и в этот раз. Как только стал виден крутой правый поворот, мы прижались к правому берегу, еще не зная, что ждет нас впереди, готовые причалиться в любую минуту, и ушли на быстрину только после того, как было сказано хорошее слово «пройдем».

Плот пролетел по инерции над котлом немного вперед, ныряя вниз только после того, как над камнем прошла корма. Волны заходили во все стороны, перекатываясь через рюкзаки, разбиваясь о подгребки. Черный ненасытный котел остался в стороне, и скоро вся шивера скрылась за поворотом Казыра.

В устье реки Томской мы действительно обнаружили сложную шиверу. Впервые на нашем пути встретилось такое нагромождение камней. С высокого левого берега мы наметили линию движения по узкому коридору в камнях, прошли точно по намеченному пути и лишь в конце шиверы слегка зацепили за камни. А через несколько сотен метров мы благополучно причалили в улове около зимовья с живописным лабазом.

От шиверы Томской до Саянского порога около пяти километров. Это первый порог на нашем пути по Казыру. Каким сложным он будет, мы можем судить по тому, что двадцать лет назад на одном из сливов Саянского порога безнадежно застрял в камнях пущенный без людей первый плот экспедиции Кошурникова. Из описания Казыра нам было известно, что на подходах к порогу поток движется приблизительно полкилометра по прямому руслу шириной около ста метров с хорошо заметным уклоном.

Мы погрузили в себя все, что, по мнению дежурного повара, необходимо иметь внутри для успешного плавания через пороги, и оттолкнулись от берега с намерением не прозевать такую большую редкость на Казыре, как прямой участок длиной целых полкилометра. Почти без приключений покинули мы гостеприимный улов и оказались перед новым препятствием. Сразу за левым поворотом Казыр собирается в стремительный сужающийся поток и устремляется на полого опускающийся в воду громадный камень. Там за белой завесой искрящихся брызг происходит какой-то тайный акт мироздания, результатом которого является сбегающая с камня разбитая истерзанная вода. Плот протиснулся между выступающими из воды валунами и оказался лицом к лицу с необходимостью проверить на своих бревнах, что именно происходит в котле ревущей водяной пены. Только используя все известные нам способы управления плотом, мы проскочили мимо опасного места.



Увы, ликовать нам пришлось ровно столько времени, сколько требуется для путешествия звуковых сигналов от барабанной перепонки до того отдела головного мозга, который ведает звуконавигацией и чревовещанием. Источником оглушительного грохота оказался не пережевывающий воду камень, а то место, где Казыр круто поворачивает направо. Даже Леха, у которого по расчету остальных членов экипажа энцефалитные вирусы уже успели сожрать половину содержимого черепной коробки, понял, что нужно немедленно причалиться.

Как только плот приблизился к берегу, Толя, не дожидаясь команды, бултыхнулся в воду и напрямик добрался до ближайшего дерева. Мы отдышались, остыли и пошли

смотреть Саянский порог. Наиболее яркую картину мне довелось видеть, когда я последним выбрался из кустов на каменистую отмель. Леха и Толя сидели на валунах настолько пораженные, что рты у них раскрылись, как в кабинете зубного врача. Едва выступающий из воды камень взрезывал и бросал в сторону набегающий поток, работая, как звуковой генератор громадной мощности. Порога не было.

Мы отчалили и только тогда разглядели перед собою едва выступающие из воды камни. Между ними не оказалось прохода. Пришлось спрыгнуть в воду и вагами протащить нашу посудину через коварную отмель. Пока предоставленный самому себе плот преодолевал «Саянский порог», мы вылили из сапог воду и приготовились к новым испытаниям.

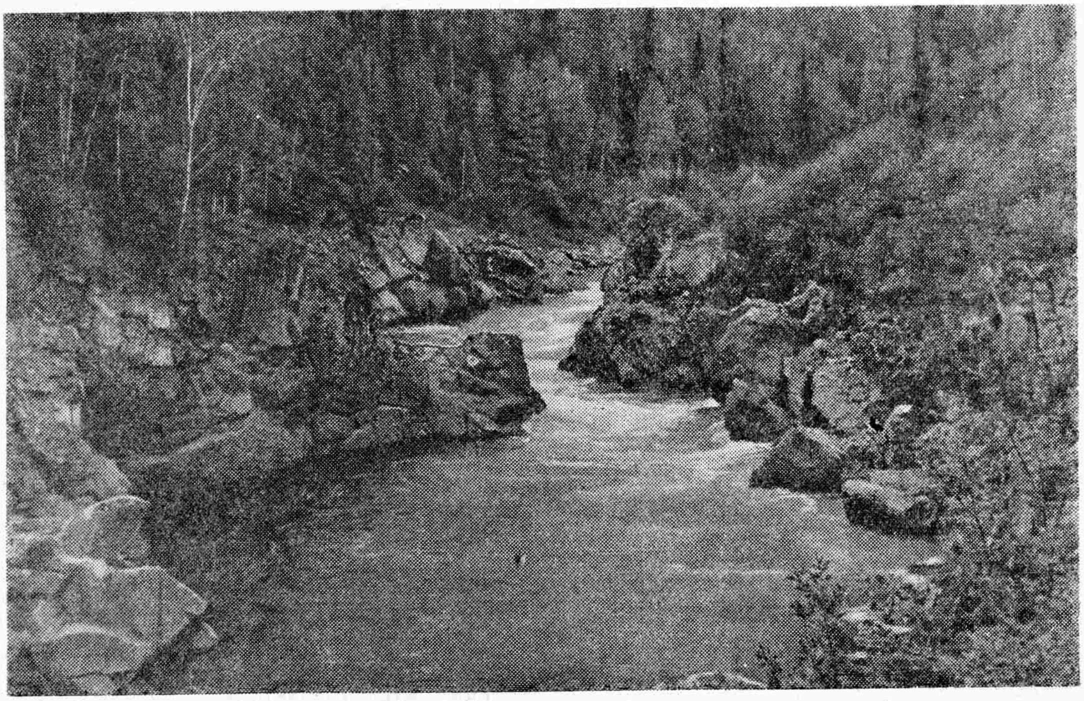
Снова Казыр стал неузнаваем. Мели, острова, а между перекатами — длинные надоедливые плесы. На ночевку мы остановились вблизи того места, где на карте помечена шивера Крутая. Саянского порога так и не оказалось на нашем пути. Розыскам пропавшего порога пришлось посвятить специальную конференцию. Ее участники выступали, не вылезая из спальных мешков, и очень быстро пришли к единодушному мнению, что Саянский порог мы преодолели сходу еще утром, если только мы на самом деле плывем по Казыру, а не по какой-либо другой реке.

14 июля. С самого утра мы живем одной мыслью: сегодня увидим Щеки. Прошли перед глазами мели, острова, перекаты и плесы, крутые и пологие повороты, небольшие шиверы. И вдруг все это кончилось. Казыр повторил между горами характерный изгиб линии на карте, и стало ясно, что до Щек осталось не более восьми километров.

Сразу за первыми выходами коренных пород Казыр сузился и помрачнел. Появились опасные камни. Леха поинтересовался, не потребуют ли с нас доплаты за скорость, но шутки пришлось отставить до другого раза. Падение воды становилось все больше и больше. Пропали короткие перерывы между шиверами, через неистовую пляску волн плот помчался, набирая скорость. И когда казалось, что зацепиться за берег уже нет никакой возможности, впереди прямо на пути бешеного потока встали громадные камни. Я привстал на подгребок, вглядываясь в даль. И вдруг команда прорезала напряженный воздух:

— Лево! Впереди Щеки!

Чтобы не влететь в порог сходу, я решил посадить плот на неопасные камни вблизи левого берега. Справа после двухкилометрового ускорения вода буквально летела вперед, наваливалась на пологие изуродованные камни и проваливалась куда-то вниз.



Садить плот на камни — не очень интересное занятие. Но по уставу корабельной службы экипаж должен вначале выполнить команду лоцмана, а потом оставшиеся в живых могут его побить. Пришлось налечь на греби. Выигрывая у реки метр за метром, мы так круто подошли к берегу, что Толя успел прыгнуть в кусты и остановить плот перед самыми камнями. Оглянувшись назад, мы удивились маневренности нашего судна, и потому-то экипаж охотно простил лоцману его крупную ошибку.

Начинался дождь. Мы осмотрели верхний слив Щек и убедились, что пройденные нашим плотом сто пятнадцать километров пути — это только присказка, а сказка будет впереди. Дежурный повар намешал в котелке какую-то похлебку, и, пообедав, мы ушли с грузом в нижний улов порога.

Перебесившийся в полуторакилометровом пороге Казыр обессиленным выходит из каньона и лениво выписывает восьмерку в нижнем улове Щек. Это едва ли не самое красивое на Казыре место. Невысокие скалы окружают со всех сторон спокойную воду, как будто это не река, а горное озеро. Вокруг террасы, словно специально созданной для туристского лагеря, — заросли пихтового стланика, черной и красной смородины.

Не следует тонуть сегодня, если можно утонуть завтра. Мы вспомнили эту туристскую мудрость и отложили до утра всякие разговоры о Щеках. На западе прогорела и погасла кровавая заря. Тревожная ночь опустилась на холодные скалы — последняя ночь перед порогом.

15 июля. Как только была готова неизменная туристская ...нная каша, дежурный подал команду «подъем». Косой дождь среди ночи пробил переднюю стенку палатки, и мы могли выпустить из утреннего ритуала умывание: можно было сразу вытираться.

Поднялся легкий ветерок. Туман густым облаком выплыл из каньона и растаял, пока каша подвергалась испепеляющей критике зубов. Наконец мы надели самодельные спасательные жилеты и еще раз осмотрели приготовленные природой декорации для представления пьесы Горького «На дне».

Чалка отвязана и надежно закреплена на кормовом подгребке. Леха удерживает нос возле берега. Толя отпускает корму. Вода ударяет в левый борт, перекатываясь через бревна, и когда плот начинает разворачиваться, весь экипаж уже на своих местах. Носовой гребью работают двое. Словно идущий полным ходом корабль, приближается нависающий над водою камень. До него двадцать метров...десять. Толя переходит на свое место. Ни одного слова, но всем ясно — мы проходим справа от камня. Еще гребок, и нос плота оказывается над котлом. Со скрежетом и треском плот ныряет в черную яму. Волна прокатывается по нему до самой кормы. Леха, мокрый по грудь, продолжает отгребать вправо. Мне и Толе вода лишь заливается в сапоги.

За камнем — дорожка стоячих волн. Мы работаем на ней вправо, пока не раздается долгожданное «стоп!» Набирая скорость, плот устремляется прямо на камни левого берега, но чуть-чуть не доходит до них. Вместе с отбойной водой мы уходим вправо и оказываемся над верхним сливом Щек. Здесь Казыр сжимается тисками из серого слоистого камня в стремительный поток и над хаосом подводных скал срывается более чем на три метра пологим водопадом. На дне еще продолжается спор воды с преградившей ей путь породой — у подножия водопада она взлетает почти трехметровым валом и дальше до самого конца слива поднимается и опускается как раскачавшийся маятник, образуя неподвижную картину постепенно затухающих стоячих волн.

Одним привычным взмахом кормовой греби плот поставлен строго по направлению движения воды. Носовая гребь задрана вверх. Берег мчится мимо с такой скоростью, что камни и деревья сливаются в серую неясную полосу. Один миг — и плот со всего хода врезается в первый вал. Подрубленная у основания трехметровая водяная стена обрушивается, накрывая Леху, и прокатывается до кормы сокрушительным потоком. Мы все оказываемся мокрыми до последней нитки, но все целы и невредимы.

Второй вал тоже прокатывается через весь плот, но Леху он заливает только по грудь. Верхний слив Щек позади! Но ликовать рано. Течение очень сильное. Вот уже и конец относительно спокойного участка. Дальше Казыр снова сужается. Скорость нарастает. Словно по ступеням гигантской лестницы вода устремляется в каньон. И тогда над бешеным, одетым в пену потоком раздается команда:

— Спокойно, ребята, Щеки идем насквозь!

Главный слив порога Щеки — это весьма бурное даже для Казыра место. В семиметровой щели, падая круто вниз, вода пляшет гигантскими беспорядочными валами и, поворачивая вправо, ударяется в левую стенку каньона, обдавая скалы фонтанами брызг. Сразу за этим первым поворотом Казыр снова разбивается о правый берег ущелья.

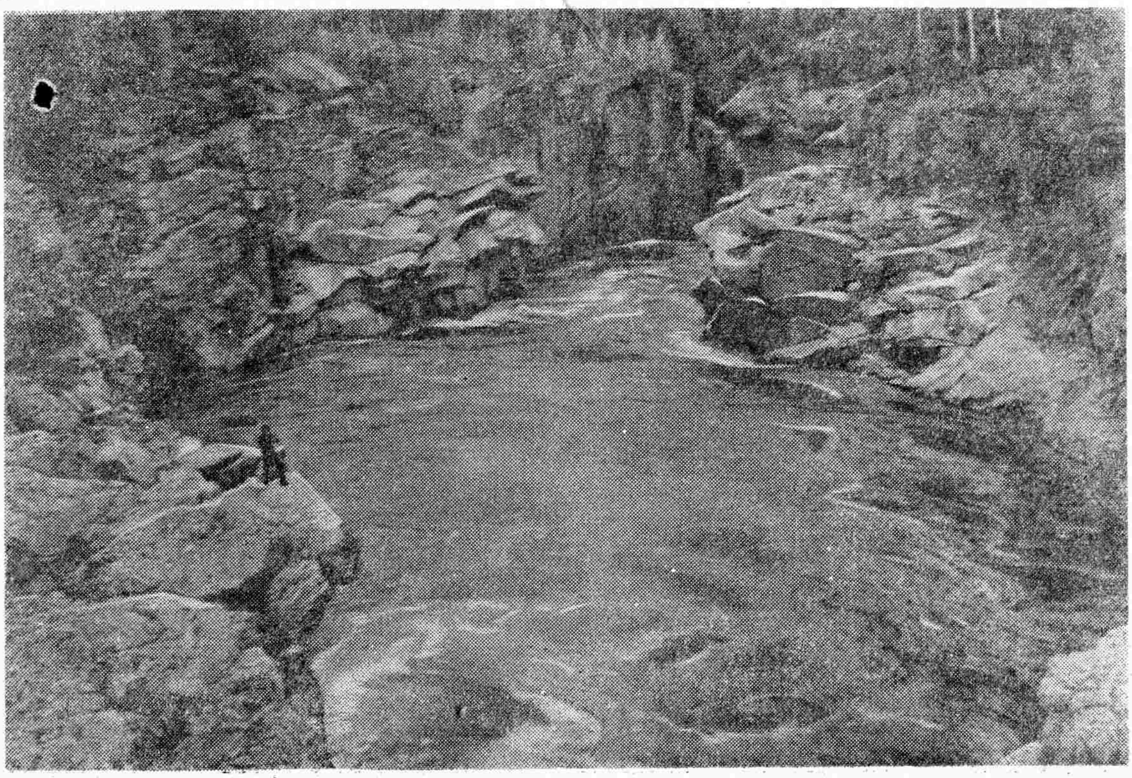
Когда вода вокруг плота заходила ходуном, мы, слегка задевая лопастями гребей за макушки стояков, ушли в правую половину потока. Со скоростью около сорока километров в час плот вышел на слив и, переваливаясь вперед, пошел прямо на скалы. Леха самоотверженно опустил гребь в кипящее месиво и навалился на нее всем телом. Володя и Толя двумя гребками довернули плот. В нескольких сантиметрах от камня скользнул скошенный нос нашего деревянного друга, и сразу же первая волна опрокинулась на Леху. Он присел и остался на месте. Вторая волна разбилась возле подгребицы, и бурный поток прокатился назад, отрывая всех от плота. Держась одной рукой за леер, другой — за рукоятку греби, Леха распластался над кипящим потоком, раскинув в стороны болтающиеся ноги. Плот вздыбился, и на нашем пути встала правая стенка каньона. Кормовые гребцы быстро нашли опору. Вал прошел, и они оказались на своих местах. Только Лехе некогда было подниматься. Он поставил лопасть греби наискосок к набегающей волне, и снова вода подняла его над плотом. Но главное он уже сделал — гребь отвернулась от скалы и сработала как руль. В последний момент, подхваченный, казалось, какой-то неведомой силой, плот проскользнул мимо стенки ущелья. И хотя волны били теперь сбоку, уже можно было кричать «ура!» Впереди остались только живописные скалы, пустяковые сливы и знакомая восьмерка, которую выписывает Казыр в нижнем улове порога Щеки.

Леха живой и счастливый добрался до своей подгребицы. А когда, оглохшие от нестерпимого грохота воды, мы уже готовы были затянуть свой мрачный походный гимн, вместо него Леха запел на бравый мотив короля Анри четвертого:

> Когда же смерть-старуха
> Пришла ко мне с волной,
> Ее ударил в ухо
> Я гребью носовой.

Толя привязал чалку к дереву. Я вынул из-за пазухи мокрый фотоаппарат, пролежавший там весь порог. Леха укоризненно покачал головой, но тут же заметил, что для хороших фотосъемок нам не хватило пятого человека. Он имел в виду, что четвертому нашлась бы другая работа. Мы добрели до палатки походкой морских волков и приступили к обряду просушивания одежды. Неожиданно выяснилось, что все ужасно проголодались, и судьба предпоследней банки тушенки была решена.

Чтобы ни у кого не возникало иллюзии, будто нам просто повезло, нужно вспомнить



установленный туристами еще до нас факт — Казыр так быстро течет в Щеках, что там не успеет утонуть даже топор.

После обеда мы заменили взятую на память Казыром грузовую площадку и отправились в дальнейший путь.

Маетские пороги начали попадаться нам через пятнадцать минут плавания. Мы осмотрели с берега первую Маетку, но это оказалось напрасным делом. От Щек до самых Братьев можно плыть без остановок.

Как говорит старинная легенда, давным-давно на Казыре разбойничали два брата. Однажды охотники выследили их, поймали и в наказание пустили по Казыру на плоту без шестов и гребей. На первой же шивере плот налетел на камень. Один брат не удержался на нем, упал в воду и утонул. На второй шивере та же участь постигла второго брата. А на месте их гибели посредине реки встали громадные камни.

Верхне-Китатский порог мы увидели от шиверы первого Брата. И хотя до него оставалось еще около двух километров, чтобы не повторять причаливания а ля Щеки, пошли на разведку пешком. Скальную гряду, образующую Верхне-Китатский порог, Казыр прорезал двумя рукавами. В сумерках мы осмотрели правую, почти непроходимую протоку и вернулись к плоту, когда на воду густым облаком опустился холодный туман.

16 июля. Мокрецы отыскали в палатке щель и всю ночь питались нашей кровью независимо от того, прекращался или снова начинался дождь. С распухшими руками и лицами мы вышли утром на штурм порога.

Левая протока Верхне-Китатского порога — это один пологий слив с многочисленными камнями. Мы перенесли груз к нижнему улову порога и наметили линию движения. Надеты спасательные пояса. В спокойной воде мы отгребли на середину и точно попали в намеченный проход между камнями. Плот скатился с водяной горки и оказался в пляшущих волнах перед затопленными обломками скал. Эти едва выступающие над водой скалы казались с берега настолько безопасными, что мы направились прямо на них без определенных намерений. Нос плота подхватило потоком и занесло над острым подводным камнем. Потом вода как будто расступилась. По инерции плот пролетел немного вперед и сильно ударился правым углом кормы. В тот же момент вода перебросила нас через второй подводный камень, и мы оказались в относительно спокойной воде. Леха предложил считать, что Верхне-Китатский порог находится позади нас, и подал идею зайти в улов у левого берега. Мы налегли на греби, и, как ни казалась утопичной Лехина идея, нам удалось ее осуществить. Плот едва втиснулся в крохотный улов, возле которого лежали наши рюкзаки.

В нескольких километрах ниже устья реки Верхний Китат мы заметили раскачивающуюся над водой удочку и направили судно к берегу. Летчик вертолета, испытывавший свое терпение на поприще рыбной ловли, был очень рад, что мы на время прекратили его бесплодное занятие. Он рассказал нам все, что знал о видах на погоду и о Казыре. Погода обещала быть прекрасной для тех, кто с нетерпением ждет проливного дождя. Знакомству с Казыром парень предпочитал знакомство с его обитателями, которых каждый вечер в жареном виде подает на ужин искусный завхоз геологической базы. Поэтому о Казыре лучше будет поговорить с лодочником, знающим эти места вдоль и поперек.

В удобный момент дежурный повар вставил в беседу незначительное замечание о мировых продовольственных запасах и трудностях походной жизни. Время шло к ужину. Он уже дважды приложил руку к суточному пайку и теперь с опаской подумывал о той минуте, когда ему придется кормить баснями нашу дружную команду. В ответ летчик посоветовал направиться прямо к кладовщику базы.

Огромные лайки лениво оповестили своего хозяина о приближении незваных гостей. Кладовщик вышел на порог склада и встретил нас радушной улыбкой:

— Это вы и есть те трое, о которых говорил Стомборовский? Мы вас давно ждем. Уж беспокоиться стали, не случилось ли чего.

Мы были тронуты такой заботой и по очереди рассказали о всех наших делах. Целый час мы беседовали на разные темы, и в заключение вперед с самым животрепещущим вопросом вышел Толя, костлявый, как астраханская селедка крепкого посола:

— Не могли бы вы продать нам немного сухарей, а то мы так давно не ели ничего мясного, что у нас совсем не осталось крупы?

...Мы возвращались к плоту в таком настроении, как будто только что прослушали лекцию «Что такое счастье» и исполнили все советы докладчика. Пока мы укладывали продукты в рюкзаки, из-за поворота вышла восьмиметровая долбленка, и лодочник, знающий Казыр вдоль и поперек, подрулил к нашему плоту. Мы поздоровались и охотно рассказали все наши приключения. Лодочник — дядя Егор — не раз ходил до Щек на

своей пироге с десятисильным мотором. О том, что ждет нас впереди, он сказал так:

— Перед Базыбаем куда потруднее будет причалить чем перед Щеками. Смотреть нужно в оба. Как пойдут крутые повороты да слева чалый камень покажется, жмите влево и уж тогда не зевайте. Щеки у нас считаются самым трудным порогом, но хотя вы их и прошли, в Базыбай идти не советую. Ну, а Убинский и Гуляевский пороги совсем пустяковые, их сходу пройдете.

Мы поблагодарили дядю Егора и двинулись в путь. Прошли несколько километров, и вдруг за очередным поворотом реки въехали в облако густого тумана. Берег с черной угрюмой тайгой растаял в молочной мгле. Прислушиваясь к шороху волн, мы отгребли влево и причалили к галечной отмели. Начал накрапывать дождь. Мы разгрузили плот и все трое с грузом направились в тайгу. Вдруг огромная живая ель, слегка нависающая над плотом, стала крениться. Жуткий грохот прервал легкое шуршание дождя. Ель разбилась на множество обломков между нами и плотом, когда мы отошли от него на какие-нибудь десять-двенадцать шагов. Мы не успели обменяться мнениями о таком необычном явлении, как вдруг поднялась буря. Дождь хлынул как из ведра...

Но что значили для нас эти пустяки после знакомства с кладовщиком Верхне-Китатской геологической партии?

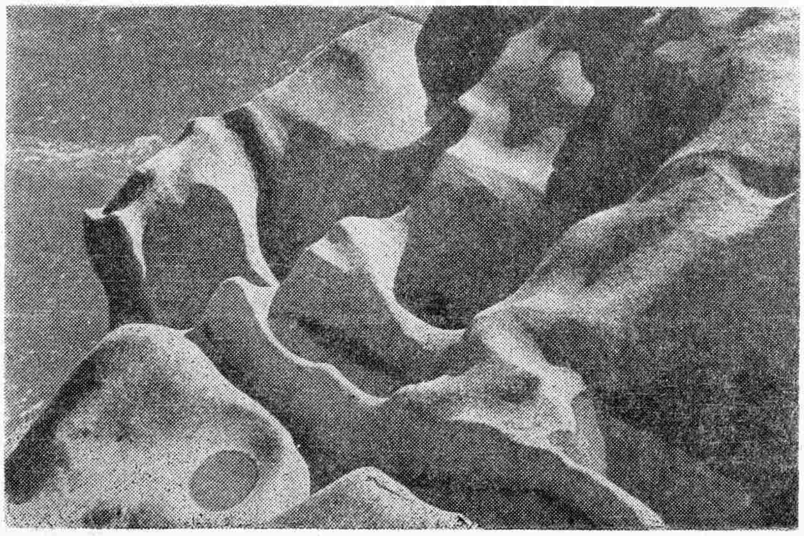
17 июля. Утром солнце заглянуло в палатку, как будто никогда не было никакого дождя. Мы свернули лагерь, высвободили чалку из-под обломков ели и продолжили поиски Базыбайского порога. Эта задача несколько усложнилась, когда обнаружилось, что никто из нас не отличит чалого камня от каурого или пегого. Наши познания в области лошадиных мастей ограничивались конской колбасой и гусем с яблоками. Поэтому мы поплыли крайне осторожно и через каждые полкилометра, как только впереди показывались камни, независимо от их цвета уходили на разведку. Так было до тех пор, пока сильно подпруженная река не насторожила нас довольно сложной ситуацией. Гигантский улов расположен перед правым поворотом реки. В конце поворота из воды у левого берега слегка выступают продолговатые белые камни. Мы причалили и сходили на разведку.

— В случае нужды зацепимся за берег сразу за белыми камнями,— сказал я, принимая чалку. Мы совершили в улове полукруг почета, проплыли мимо белых камней, отгребли за ними влево и только тогда заметили, что течение здесь направлено от берега к середине потока.

Тотчас из-за поворота вырвался тяжелый грохот воды. Мы увидели поднимающиеся над водой серые иссверленные водой скалы, узкую щель, в которую уходит Казыр, и левый берег показался таким далеким, что стало чуть-чуть страшно. До порога осталось не более ста метров. Греби жалобно заскрипели, взрывая воду. Бедного Толю, не поддавшегося общей панике, безжалостный лоцман согнал в воду, когда было еще почти по пояс. Зато мы причалили своевременно и могли спокойно подвести плот на веревке к самому порогу.

Каждый уважающий себя порог заканчивается нижним уловом, и Базыбай не является исключением из этого правила. Мы убедились в этом, и тотчас же на песчаном берегу нижнего улова был разбит лагерь. И конечно же в первую очередь мы удовлетворили свое любопытство: что же представляет собою Базыбай.

Очень давно началась борьба Казыра с глыбами серого гранита. С тех пор вода просверлила в скалах сотни отверстий и глубоко врезалась в монолитные блоки камня, но еще не скоро между водой и гранитом здесь будет подписан мир.



Перед верхним сливом Базыбая Казыр сужается до восьми метров и, повернув вправо, обрушивается на полтора метра вниз, в громадный котел. На сливе вода крутится, захватывая воздух, и поэтому весь котел буквально кипит. Бешеная пена стремительно пролетает двадцать метров и упирается в отвесную стенку. Из этого тупика вода уходит куда-то вниз, в промытые в скалах отверстия, и несколькими пузырями выливается на поверхность далеко в стороне от страшного места. Слева котел отделяет от водяных бугров извилистая дорожка водоворотов. Метровые воронки крутятся в разные стороны. Изредка одна из них захлопывается, и тогда грохот пушечного выстрела прокатывается над порогом, многократно отражаясь от стенок ущелья.

Жуток Базыбай, когда один из водоворотов застывает на месте и закручивающийся водяной волчок начинает с храпом затягивать воздух. Удары раздаются в глубине Казыра, и береговые скалы охватывает мелкая дрожь. Полутораметровой глубины воронка вдруг начинает метаться по котлу и захлопывается. А над лохмотьями пены еще долго прокатываются раскаты грома.

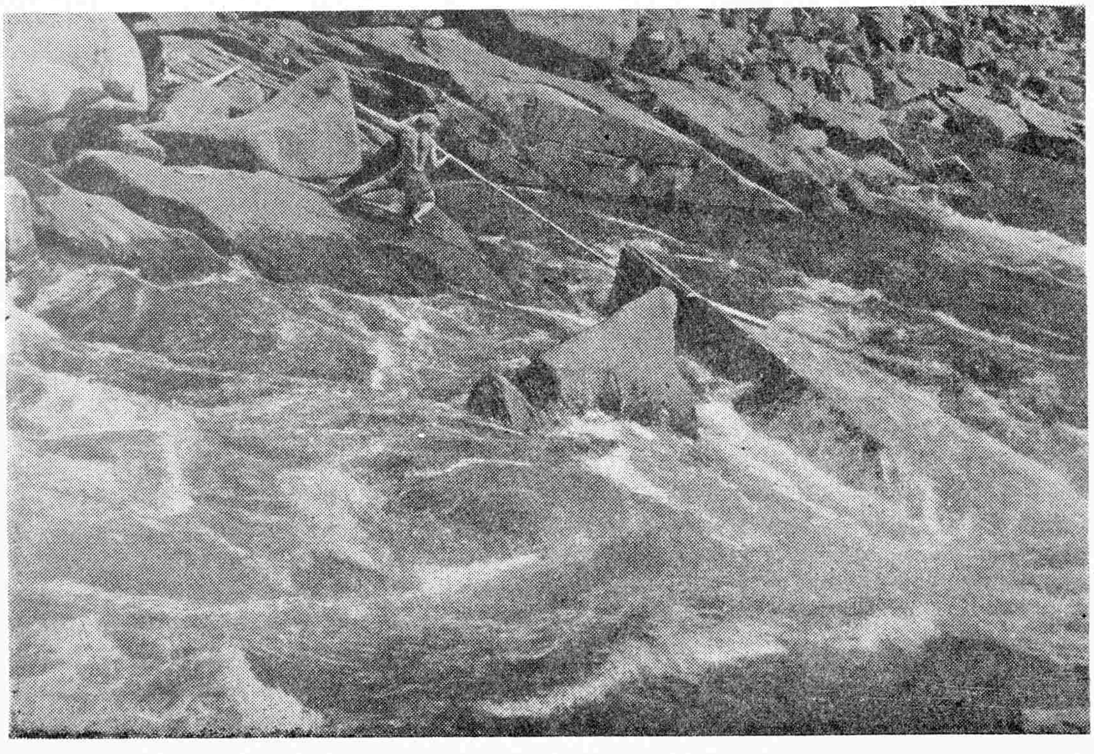
Перемолотая в верхнем сливе, перекипевшая в котле, вода собирается в мощный поток и постепенно набирает бешеную скорость. Здесь, в сузившейся до десяти метров струе, стоит камень, напоминающий череп гигантского динозавра. Чуть ниже пустой глазницы, там, где должен быть рот, вода снова разбивается в пену. Волны поднимаются и падают в пучину, постепенно затухая. Но еще долго кипит, пенится вода и закручивается крохотными водоворотиками, как будто не удалось ей вволю разгуляться и побуйствовать в пороге.

Мы прошли вдоль всего Базыбая, наслушались его грозного баса и неожиданно оказались перед могильными камнями. «Погиб при прохождении порога»,— с трудом разобрали мы слова, нацарапанные между оставленными на века строками: «28. 8. 57. Погиб Анатолий Тимченко».

Великолепен вечерний Базыбай. Закат разукрасил небо во все цвета радуги, и кровавой пеной вскипает не знающий покоя ревущий котел. Темнеет. И тогда волны подхватывают отражение луны и швыряют его на камни, разбивая в светящиеся брызги.

18 июля. Утром мы снова осмотрели весь порог и над его верхним сливом собрались для решающего эксперимента. Принесенное из тайги сухое бревно столкнули в воду у левого берега. Оно должно было решить нашу судьбу. Проплывет — поплывем и мы, если же ударится о стенку — будем пускать плот без людей.

Бревно вышло на слив, нырнуло в котел и скрылось в искрящейся пене. Над водой остались только самые длинные сучья. Мы



жадно впились в них глазами. Вот и скала. Бревно ударилось в стенку, нырнуло вниз. Над водой мелькнул сучковатый конец — и все. Мы пошли снимать с плота гребни и отвязывать леер. Экскурсия на дно Базыбая не входила в программу нашего путешествия.

Нужно иметь некоторое мужество, чтобы решиться плыть через порог. Но еще больше мужества нужно для того, чтобы отказаться от спуска через порог.

Дальше все было разыграно как по нотам. Я расположился у нижнего улова. Толя подвел плот к верхнему сливу и пустил его в порог. Леха дирижировал фотоаппаратами, знаками подавал команды и сообщал новости.

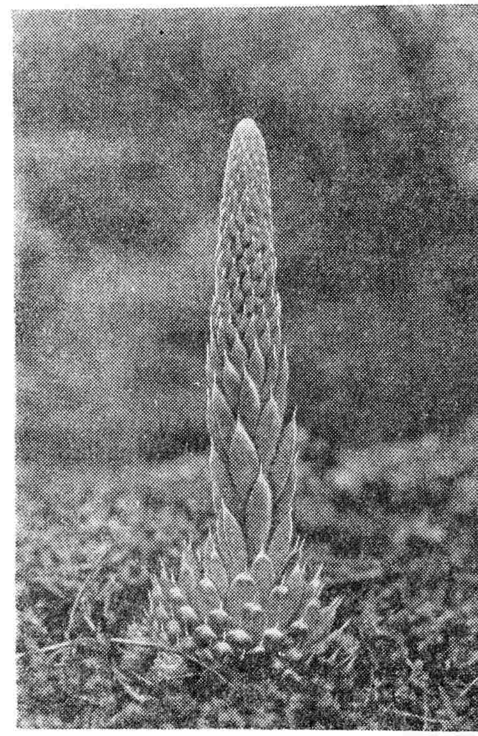
Плот вышел на слив, и сразу косые валы накрыли его. Над котлом остались только леерные стойки. Несколько мгновений пена гуляла через весь плот. Потом наша посудина уткнулась в скалу и стремительно пошла вниз. Но Базыбаю не по силам оказалось проглотить тысячекилограммовую пилюлю. Плот всплыл, упираясь носом в отвесную стенку. Волны набросились на него, швыряя из стороны в сторону. Леха замер в ожидании, потом показал скрещенные над головой руки.

Целых десять минут Казыр бил плот о скалы. Потом один из водоворотов подхватил его и вытолкнул из котла. Леха просигналил мне «Будь готов!». На пути плота встал каменный «череп динозавра».

Нос плота пошел вправо от каменной пасти, туда, где, казалось, не было никакой преграды. Но там, в волнах, скрывался камень. Невероятная сила удара выбросила плот в воздух весь целиком до самой кормы. В полете он развернулся носом вправо и упал на каменного «ящера». Как морские львы подбрасывают добычу перед тем, как проглотить ее, так «динозавр» подбросил плот в воздух и вцепился в его левый борт каменной пастью.

Плот встал поперек потока и замер. Леха снова скрестил над головой руки и позвал всех к себе. Мы собрались вместе, и над безжизненным телом плота состоялся запоздалый консилиум. Вначале казалось, что нужно сфотографировать эту могилу и, не теряя времени, строить новый плот. Но в котле с шумом захлопнулся очередной водоворот, вода заметалась по руслу из стороны в сторону, и плот едва заметно шевельнулся, а потом начал раскачиваться вокруг камня. На правый берег срочно переправились Толя и Леха. Шестами они помогли воде раскачать плот и столкнуть его с камня. Володя вовремя выплыл на перехват, и в нижнем улове закачалось на волнах наше многострадальное судно со сломанными двумя бревнами, разобранными на части подгребками и огромными царапинами на бортах.

Видеть свой плот в нижнем улове порога — хрустальная мечта каждого путешественника. Но когда она сбылась, нам стало



немного обидно, что все кончилось так просто и так скоро. Мы доставили плот к лагерю, и каждый предался отдыху, соответствующему уровню его интеллектуального развития. Толя извлек из рюкзаков необходимые ингредиенты и пообещал накормить всех блинами. Леха пошел выбирать удилище подлиннее и на всякий случай сообщил, что успех рыбной ловли зависит не от его неоспоримого мастерства, а только от качества имеющихся снастей. Я выбрал на берегу место, открытое ветру, и сообщил, что если, сидя там, исправно отгонять от себя оводней и комаров, то ни на что другое совершенно не останется времени.

Через полчаса эту идиллию нарушил Леха.

— Клюет! — закричал он что было сил и, когда убедился, что на него обращен необходимый минимум внимания, дернул удочку вверх. Что-то серебристое блеснуло на солнце и шлепнулось на каменную плиту. В следующий миг Леха накрыл добычу животом, и

вскоре на всеобщее обозрение был выставлен торчавший из кулака на два сантиметра хвостик такой маленькой рыбешки, что ее величины не хватило для точной классификации уникального трофея.

— Все в порядке, ребята. Будет уха,— констатировал Леха, насаживая на крючок следующего оводня.

Толя прибежал посмотреть на добычу. Повертел в руках малька, проклиная тот момент, когда недрогнувшей рукой заливал воду в котелок с мукой и, считая, что этот вечер пропал у него зря, пошел дожигать свою продукцию. Тем временем Леха вытащил второго «хариуса», и перед нами остро встала проблема хранения рыбы. Вначале казалось, что просто будет уговорить меня взять эту заботу на себя, но я был непреклонен.

Третий хариус зацепился за крючок. Леха последний раз предупредил меня, что не даст мне ухи, и вдруг увидел рядом с собой высверленное в каменной плите отверстие диаметром около метра. На дне отверстия была вода, и Леха устроил в нем садок для живой рыбы.

Клев был великолепен, но к сумеркам стал спадать. Леха постепенно приближался к состоянию бесконечного блаженства. Мальки шлепались в садок один за другим. Но вот Толя в третий раз объявил, что блины не умещаются на столе, и добавил, что если мы сейчас же не придем ужинать, то найдем от них одно воспоминание. Угроза оказалась действенной. Леха смотал свою снасть, запустил руку в садок, и лицо его от мрачных предчувствий стало темнее базыбайского гранита. Садок оказался немного великоват.

Ужинать мы начинали вдвоем. Отломив верхушку своего удилища, Леха соорудил маленькую удочку и сидел над высверленным в каменной плите отверстием, вторично выуживая злополучных хариусов.

Утром мы узнали, что поймано было целых одиннадцать штук.

19 июля. Теплое ясное утро. Мы выходим из улова на быстрину и долго прислушиваемся, как позади, затихая, что-то бормочет Базыбай.

...Вечер. Цапля бесшумно кружит над нами. Потрескивает костер. Когда вспоминаем события дня, прежде всего перед глазами встает улова Семи Братьев. Камни разбросаны по руслу так, что сама вода, кажется, заблудилась между ними. Перед камнями —



быстрина, за ними — спокойный, окруженный кедрами и елями плес. Экспедиция Кошурникова доплыла досюда на пятом плоту. Первый застрял в Саянском пороге. Второй пришлось сменить в Щеках. Необычно рано ударили морозы. На плесах Казыр затянуло льдом, и перед ледяными полями остались третий и четвертый плоты. Изыскатели стороной обошли Базыбайский порог и ниже него построили пятый плот.

До жилья осталось около тридцати километров, когда произошла эта трагедия. Александр Михайлович шел по берегу, чтобы заранее предупреждать плывущих об опасных местах. Увидев ледяной перехват сразу за быстриной, он подал знак остановиться. Но у ребят не хватило сил пробиться к берегу.

Костя остался на плоту, когда его продернуло под лед. Обледеневшего Алешу Александр Михайлович вынес по льду на берег. Здесь они, не имея сил развести костер, замерзли один за другим.

Утром 20 июля мы проплыли мимо Верхне-Казырской заимки, на водяных парусах прошли против ветра бесконечные плесы с сонной зеленой водой и причалили у крайних домиков деревни Нижне-Казырской. Здесь, на деревенском кладбище, среди могил безвестных тружеников Казыра похоронен Александр Михайлович Кошурников. Узкая тропинка поднимается на крутой берег. Вокруг, словно капли крови, алеют в траве ягоды земляники. Вот истертая якорная цепь, маленький бетонный обелиск — скромный памятник замечательному человеку. Мы кладем на могилу венок из мохнатых пихтовых лап — венок от туристов Иркутска и Свердловска.

По пути экспедиции Кошурникова мы прошли до самого ее конца. Но путешествие еще не окончено. Дорога вдоль Казыра настолько раскисла от ежедневного поливания, что попутную машину нужно дожидаться не одну неделю. Единственный способ выбраться из этого пока еще глухого уголка Саян — проплыть на плоту оставшиеся до Курагино почти сто пятьдесят километров.

И мы снова пускаемся в путь навстречу последним испытаниям.

Плот едва двигался посредине многокилометрового плеса, когда началась гроза. За первыми ударами грома из черной оборван-



ной тучи, цепляющейся за верхушки кедров, на землю с грохотом обрушился ливень. Мы прижались друг к другу посредине плота и накрылись развернутой палаткой. Гроза усиливалась. Несколько молний ударили в воду рядом с плотом. И вдруг рыхлые градины размером с грецкий орех ударили по палатке. Стало холодно, как на Идэнском перевале. В минуту плот покрылся липкими хлопьями. Зыбкая завеса скрыла берег.

Когда шум дождя начал стихать, издалека до нас донесся чей-то голос:

— Эй, на плоту, с ума сошли, что ли? В порог же идете! — Мы сбросили палатку. Плот мчался с завидной скоростью. Впереди — шивера. У правого берега стоят плоты лесосплавщиков. На краю обрыва под навесом спрятались от дождя мужики. Мы налегли на греби, и пока подходили к берегу и чалили плот, промокли насквозь.

Часа полтора, покуда ливень хлестал по тайге, мы разговаривали и грелись у костра. Под навесом собрались охотники, рыболовы, лесосплавщики. Это они каждую осень уходят на промысел в верховья Казыра, в долбленках добираются до своих избушек, пробивая тропы в обход порогов. Они хорошо помнят подробности гибели экспедиции Кошурникова.

Сплавщики прекрасно описали нам Убинский и Гуляевский пороги. Начинало смеркаться. Дождь затихал. Мы еще не успели просохнуть и поэтому решили в этот же вечер искупаться в Убинском пороге. Выслушали на прощанье длинный перечень предметов домашнего обихода, съеденных капитаном второго ранга Марком Пуссе с друзьями в зимовье одного из охотников, и стали готовить плот к спуску через порог — сбросили в воду все лишнее, крепче привязали груз.

Снова одеты спасательные пояса, и мы выходим на первую шиверу. Здесь приходится лавировать среди камней. Дальше еще шиверы одна круче другой. Вот и главный слив порога с полутораметровыми волнами. Вода перекатывается через рюкзаки, но все это уже не то.

21 июля. Костер горит посредине плота. Привязанные по бортам елки помогают преодолеть очередной плес. Уплывают вдаль, скрываясь за поворотом Казыра, домики Гуляевки. Остался позади и последний на Казыре Гуляевский порог.

— И это Казыр?— Дежурный повар Леха презрительно посмотрел на мутную воду за бортом.— Пообедаем, и я буду спать.

Впереди раздался шум шиверы. Плот вышел из-за поворота. Вся вода от берега до берега взбита в пену. Спрятаться от волн совершенно негде.

— Караул, мой костер!— закричал Леха.

Я поставил плот бортом к волнам, но... костер пришлось разводить заново. Однако горел он не более пяти минут. Снова на маленькой шивере волны прокатились через весь плот, и, чтобы не голодать до вечера, мы доварили обед на берегу.

22 июля. Жестоко ошибается тот, кто думает, что Казыр кончается Гуляевским порогом. Мы убедились в этом тотчас же, как оттолкнулись от берега в белое молоко тумана. Вдруг вода загрохотала со всех сторон, и мимо промчались камни, наводящие на весьма мрачные мысли. Туман такой густой, что с кормы не видно было носа, растаял с первыми лучами солнца, и мы оказались в окружении величественных светло-серых скал.

Мы не упускали случая, чтобы спросить, далеко ли еще до Курагино.

— Сорок, шестьдесят, да не меньше пятидесяти, тридцать,— отвечают нам на это, пока мы проплываем мимо одной маленькой деревни.

Широко разлился Казыр. И вот его конец. Мы проплываем еще немного и становимся объектом пристального внимания сразу нескольких лодочников. Один из них объясняет нам, что отсюда ходят в Курагино автобусы и что он не будет иметь ничего против, если мы отдадим ему свой плот. Мы причалили и быстро выгрузились на берег.

Когда острый багор словно топор мясника с размаху воткнулся в борт плота, всем стало немного не по себе, и мы спросили у лодочника, зачем ему нужен такой тихоходный корабль.

— На дрова,— грубо ответил он и увез наше героическое судно, проделавшее триста сорок километров нелегкого пути ради такого банального финала. Мы помахали руками вслед плоту и пошли к автобусной остановке.

— Посадим геологов!— умоляюще закричала водителю кондуктор переполненного автобуса. Машина остановилась, и простые пассажиры были стеснены сверх всякого предела. Когда закончилась сложная процедура посадки, кондуктор томно закрыла глаза и проворковала:

— Ребята, вы геологи? Правда?

— Мы не геологи, мы туристы,— отрезал Толя, и с кондуктором в течение секунды произошла удивительная перемена. Она сощури-

ла злые глаза и, поддевая ногой чей-то рюкзак, рявкнула на весь автобус:

— А ну берите билеты... Ходят тут всякие...

Мы лежим на взлетном поле аэродрома и машинально думаем, можно ли проплыть от Млечного пути до Малой Медведицы, не наткнувшись носом на какую-нибудь звезду. Где-то далеко за поселком девчата — строители дороги, трассу которой искал Александр Михайлович Кошурников — поют трогающие душу слова:

Вернулся я на Родину. Шумят березки встречные...



Г. Леви. Нарциссы. Гравюра.

Дневник Ангары

Болеслав Мрувчинский

О повестях Льва Могилева „Железный человек“ и „Профессор Джон Кэви“

ОТ РЕДАКЦИИ

Болеслав Мрувчинский — современный польский писатель, автор ряда исторических и приключенческих романов и повестей. Глава его романа о знаменитом исследователе Сибири И. Д. Черском «Голубой след» была напечатана в третьей книге нашего альманаха за 1963 год.

Как и многие его коллеги-писатели стран народной демократии, — Б. Мрувчинский горячо интересуется Сибирью и сибиряками, внимательно следит за литературной жизнью нашего края.

Прочитав книгу научно-фантастических повестей Л. Могилева, польский писатель решил поделиться с автором и читателями своими впечатлениями о ней.

Обе повести посвящены в принципе одной и той же теме и написаны в форме живой, полной драматического напряжения сенсации. Несмотря на это сходство, они весьма существенно отличаются друг от друга. В «Профессоре Джоне Кэви» автор перенес центр тяжести на научную сторону темы и, таким образом, ослабил повествование, хотя и создал произведение, несомненно, весьма интересное. В то же время в «Железном человеке» он выдвинул на первый план исключительно литературные элементы и показал, что превосходно умеет пользоваться ими.

Из рецензии, опубликованной в альманахе «Ангара» (№ 4, 1963), я вынес впечатление, что это — писательский дебют автора. Если это действительно так, то я должен с удовольствием констатировать, что он сразу добился успеха. На фоне известной мне советской литературы Могилев в области научно-приключенческой повести, несомненно, представляет собою явление. По моему мнению, он также может смело соперничать с западной научно-приключенческой повестью и быстро войти в передовой отряд мировой литературы, поскольку имеет над нею (то есть западной научно-приключенческой литературой. Примечание переводчика.) решительное преимущество: мудрость взгляда на человеческую жизнь и впечатлительность истинного художника.

Мне представляется, что автор должен будет быстро сделать выбор: или пойти по пути «Профессора Джона Кэви», то есть в своих следующих книгах углублять научную сторону темы; или же, как в «Железном человеке», лучше попытаться выделить чисто литературные элементы повестей. Я лично придерживаюсь того мнения, что он не должен опасаться именно этого, второго пути. Его умение оживлять даже мертвые персонажи, умение смотреть на окружающий мир, необычайно тонкое восприятие природы и полное глубины внутреннее размышление — это бесценные достоинства, которых не следует терять. В «Железном человеке» есть прекраснейшие эпизоды, которые выразительно свидетельствуют об этом. Они коротки, словно лишь обозначены: автор, несомненно, не хотел ослаблять повествования. В этом случае — может быть, и правильно. Но в своих следующих книгах он, пожалуй, не должен опасаться этого.

Из «Ангары» я узнал, что автор работал над биологическими загадками Байкала. Может быть, когда-нибудь он посвятит книгу этому озеру?..— Тема — необычная, и при этом — по крайней мере, таково мое мнение — исключительно подходящая для автора: в ней — и тайна, и приключенческий элемент, и при этом вокруг — величественная природа, постоянно дающая возможность не только для создания прекрасных картин, но и для глубоких размышлений.

В противоположность обычному читателю, интересующемуся прежде всего судьбами героев повести, я всегда стараюсь через книгу увидеть ее автора. В этом случае я заметил зрелого человека, с большой способностью к сосредоточению, смело, как и каждый действительно зрелый художник или ученый прорывающегося через тяжелые завесы, которые навязывает нам обыкновенная будничная жизнь. Это большие достоинства, и они дают основание для больших надежд.

Автор, пожалуй, не обидится на меня, если я доброжелательно выскажу некоторые сомнения. Например, тут и там он употребляет три восклицательных знака. Зачем? Автор должен писать так, чтобы несколько этих дополнительных восклицательных знаков представил себе сам читатель. А Могилев пишет именно так, и потому этот излишек кажется мне ненужным.

А теперь второе замечание. «Рождение железного человека»— эта глава, которая кажется мне слишком ужасной. Я лично свел бы сцену этой необычайной операции к нескольким предложениям, помещенным в порядке объяснения в начале следующей или в конце предыдущей главы.

И, наконец, вопрос о титуле «мистер». Насколько мне известно, им не пользуются перед именем ни англичане, ни американцы. Профессор обычно обращается к ассистенту «Джек», «Нед» или «Джон», и эта форма принята, особенно в Америке, повсеместно. В то же время при более официальных отношениях

действительно употребляется слово «мистер», но всегда с фамилией, а именно: «мистер Карти», «мистер Лоуренс» и т. д. Для русских или поляков это странно, но там — именно такие обычаи. Никогда не следует также говорить: «мистер доктор» или «мистер профессор».

Конечно, это — мелочи по отношению к великолепному целому. Как чтение книги, так и выражение своего мнения доставили мне подлинное удовольствие. И лишь полушутя, в связи с философскими концепциями автора, добавляю в завершение: по-моему мнению, человек, хотя это — самое совершенное существо на земле, является, однако же, созданием весьма несовершенным физически. Он видит все лишь в трех измерениях и оперирует лишь только несколькими чувствами. А если этих измерений — больше? А если живут где-то существа, имеющие больше чувств, чем мы?.. В эпоху межпланетных полетов это — естественные вопросы. Тогда мир представлялся бы такому существу совершенно иным. И кто знает, не приобретем ли и мы когда-нибудь эти дополнительные чувства и умение по-новому видеть явления.

Конечно, в этом полушутливом замечании тоже есть философия. Автор, пожалуй, меня прекрасно поймет. Ведь он — биолог.

Варшава.

Перевод с польского Р. И. Смирнова.

Е. И. Шастина

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

Раннее творчество В. Я. Шишкова взросло на благодатной почве — глубоком знании народной жизни.

В феврале 1963 года мне удалось отыскать чрезвычайно интересные документы, до сих пор нигде не опубликованные. Они говорят о систематическом изучении писателем жизни малых народностей Сибири, в частности жизни эвенков (тунгусов).

Во время работы над архивом, хранящимся у вдовы писателя, Клавдия Михайловна Шишкова любезно предложила мне альбом фотографий, сделанных Вячеславом Яковлевичем в Сибири. С фотографий смотрели лица тунгусов, мужчин и женщин, стариков и детей. Одна фотография привлекла мое внимание. На ней запечатлена фигура старика в оборванной меховой парке, подпоясанного веревкой, без шапки, в обмотках на ногах. Почему-то этот старик тунгус показался мне знакомым, и в душе невольно зазвучал текст одного из рассказов Шишкова:

«Мы шли густыми зарослями... Вдруг вдали раздался выстрел.

— Э! Наш промышляет,— сказал Сенкича и выстрелил в воздух.

Караван остановился.

— Это глухой Отыркон, старик, — сказал Сенкича

— Геть, геть!— закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон,— сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его... Вид старика жалкий. Меховая парка вытерта, оборвана донельзя, ноги обмотаны в какую-то рвань. Седая голова не покрыта, кисти рук голы, красны, он отогревает их дыханием. Скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. Узенькие глаза слезятся, щурятся. Мал ростом, но прям и быстр.

Сенкича обнял его за плечи и закричал ему по-тунгусски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой. Обращаясь к нам, Сенкича сказал:

— Совсем глушился. Кудой его дела. Тьфу!— и дал Отыркону свою трубку.

В руках старика дрянное ружьишко. Самодельная ложа кой-как стяпана топором. Старик подпоясан веревкой. Под веревку подоткнуты убитые белки, а к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело посматривала на нас. Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раза по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем...»

Почему-то именно этот старик вспомнился мне с его удивительно мудрой жизненной философией, в основе которой — дума о благополучии ближнего.

Отыркон не хочет идти «на кормление» к кому бы то ни было из своих сородичей. Он «хочет жить своим трудом»:

«Нога шагал, глаз смотрел, работай. Почто мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть».

Сижу над фотографиями, а в душе мечутся вопросы. Кто этот старик, чем интересна его судьба, что взял внимательный писатель-землепроходец от каждого из этих, так не похожих друг на друга людей в свою «копилку памяти». Как преломила их судьбы художническая мысль автора? Почему почти каждый из них кажется мне чем-то знакомым? И вдруг Клавдия Михайловна говорит:

«Есть у меня и пояснения к этим фотографиям. Их вместе со всем альбомом передал мне после 1951 года бывший сослуживец Вячеслава Яковлевича — В. П. Петров»,— и подает несколько пожелтевших листков.

Смотрю: так и есть — почерк Шишкова. На первом листе вверху надпись: «К альбому «типы тунгусов». И дальше — под соответствующими номерами пояснения ко всем фотографиям, помещенным в альбоме. Нахожу замечания к фотографии № 29, так заинтересовавшей меня. Читаю: «Группа тунгусов на берегу р. Нижней Тунгуски вблизи устья р. Илимпеи, Направо, в меховой одежде — тунгус, кочующий по р. Туру.» И все. Но внешний портрет Отыркона кажется прямо списанным с этого одинокого тунгуса. Просматриваю другие записи к альбому и вдруг наталкиваюсь на такую: «Стойбище тунгуса Унекана, кочующего по р. Илимпеи. Зимние месяцы он живет в избе Суздалева. Направо, крайний, 85-летний старик («Отыркон»), рядом — его старший сын, богатырь Анисим, а под головой оленя младший сын — 4-летний Кешка. Крайняя справа его сноха, вдова-якутка, в якутском костюме». Но фотографии к этой записи, значащейся под номером 44, нет. Она утеряна. Однако ясно одно: образ Отыркона из рассказа «Холодный край» навеян

встречами именно с этими двумя стариками: одиноким тунгусом, кочующим по р. Туру, и 85-летним Отыркоком. Внимательно прочитываю все заметки «К альбому...» и передо мной встает живая документальная основа сибирских рассказов Шишкова, посвященных жизни тунгусов. И в то же время становится яснее творческая лаборатория писателя. Еще раз убеждаюсь в необыкновенной скромности В. Я. Шишкова, всегда говорившего о том, что писателем в полном смысле этого слова он становится лишь после революции.

Безусловно, революция сыграла огромную роль в писательской судьбе Шишкова. Но ведь и до 1917 года им было уже написано свыше 50 произведений и среди них целый ряд таких, высокое художественное мастерство которых оспаривать невозможно.

Материалы «К альбому...» помогают наглядно представить сложную работу художника, чуждую какого бы то ни было примитивизма и фотографичности. Но вместе с тем они показывают, что писатель всегда идет от конкретных фактов, лиц, событий, которые он хорошо знает.

Вот снимок тунгусской семьи: двое мужчин, женщина, около нее два ребенка. Нахожу соответствующий номер (восьмой) в альбоме. Читаю: «Семья Василия: жена и племянник — сироты. Летний берестяный чум («дю»). Жена Анна в 1910 году, в пьяном виде, убила по ошибке своего годового сына. Напилась пьяная в соседнем чуме, вместе с мужем и, заметив там его неверность, бросилась за ним ночью, по тайге, с топором. Он скрылся в лесу. Она вбежала в чум, и, полагая, что Василий прибежал и лег на свое место, нащупала впопыхах его постель и в темноте ударила топором и свалилась в припадке сама. Утром трагедия обнаружилась».

Эта кратко изложенная, но страшная история легла в основу необычайно поэтического рассказа «Та сторона», с большим мастерством раскрывающего психологические движения человеческой души.

Жил Василий с женой Чоччу Давыдихой. Но однажды встретилась ему в снежном лесу красавица Анна, и дало трещину сердце тунгуса, раздвоилось, «как рог молодого лончака-оленя». Не мог отвести глаз Василий от Анны, но «Чоччу крепко к сердцу приросла — родней. Вот бы всем вместе. Но огонь с водой когда уживались? Чоччу добрая, тихая, а у Анны в глазах гроза. Кто сильнее вода или огонь? Чоччу грудь с грудью с медведем сходится — трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой-рогатиной пырнуть. «Огонь все попалит, вода все зальет»,— припоминается ему песня старого Давыдки — и уж не знает Василий, чем обмануть, успокоить свое сердце». И вся природа, явившаяся свидетелем развертывающейся драмы, далеко не бесстрастна. Она вся настороже и печалуется вместе с людьми. «Морщит» тайга свои «седые брови», «раздумчиво» падает тихий снег, как бы боясь спугнуть трудную думу Василия, мучительно терзаемого противоречивыми чувствами.

Глубоким проникновением писателя в душу любящей, но гордой женщины отмечена тоскливая песня Чоччу, которую поет она каждый вечер, подпершись ладонью и щупая осиротевшими глазами тропу: «Та сторона далекая... Там Василий... Вот щеки мои завяли, вот губы высохли... А Василия нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого... Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл... Я буду одна... Ой, ветер, не шуми хвоей!.. Скажи, ветер, сердцу — может, послушает — пусть молчит... одной лучше... Я одна, совсем одна... счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая...»

А на снимке двадцать втором — женщина. Она одиноко сидит около чума, подобрав под себя ноги. Об этой фотографии Шишков пишет: «Тунгуска Давыдиха. Она зиму и лето живет в берестяном чуме в с. Преображенском на Н. Тунгуске. Вдова. Занимается охотой на белку и сохатого, а также, при случае, промышляет медведя («амикан»).

Не эта ли женщина, с которой когда-то повстречался писатель, подсказала Шишкову лирический образ Чоччу? Такая мысль вполне логична, если учесть некоторые скупые слова, сказанные о ней в пояснениях к альбому «типы тунгусов», а также совпадение имен.

Сопоставляя коротко записанные жизненные впечатления в тексте «К альбому...» и рассказ «Та сторона», неизбежно чувствуешь могучую силу художественного дарования Шишкова, преобразующего волей творческой фантазии конкретные факты в художественную поэму человеческих страстей. Писатель преломляет в одном рассказе различные встречи, завязывает судьбы разных людей в один узел, оживляет природу, заставляя ее жить печалями и радостями героев.

Альбом показывает и прообразы проводников рассказа «Холодный край». В пояснениях мы читаем: «Наши последние перед Аннаваром проводники: Иван Захарыч и Конго... Конго с большим крестом на груди. Большинство тунгусов очень любят большие серебряные кресты и носят их поверх одеяния. Иван Захарыч богатый, честный и очень умный тунгус. Великолепно читает географическую карту и строго критикует всякую неправильность, замеченную в ней. И сразу вспоминается любопытная сцена из рассказа «Холодный край», показывающая необыкновенную сметку простого тунгуса, которому писатель впервые показывает карту:

«Глаза Сенкичи загорелись. Долго, пристально смотрел, расспрашивал:

— Это что?

— Нижняя Тунгуска.

— Это?

— Катанга.

Он разбросил карту на снегу, припал на локти.

— А это Лемпо?— спросил он, проводя ногтем по черте.

— Да,— подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображения...

— А это Бирьякан?— задает вопрос Сенкича.

— А это Туру?

— Нет, вот Туру. Это Пульваненга,— возражаю я.

Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит:

— Какой дурак писал расписка? Врал! Туру вот где, Пульваненга — вот!

— Эту карту писали в Питере, ученые,— раздражаюсь я.

— Дурак писал,— настаивает Сенкича.

Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Аннавары. Чертеж его схематичен, в прямых линиях. Но почти все впоследствии подтвердилось».

Альбом поражает не только вниманием будущего писателя к интересным судьбам людей, но и проникновением во все мелочи их быта. Фотографии рассказывают о культе шаманизма, нравах и обычаях людей, о всех мелочах быта вплоть до тунгусской домашней утвари. В альбоме встречаются такие наблюдения: «Купили 2 мешка муки. Перегружают («топчут») и в «потакуи» берестяные, обтянутые оленьей шкурой корзины, приспособленные для перевозки оленями вьюком. Мильный олень («орон») самец подымает два таких потакуя с тяжестью в них по 1,5 или мак. по 2 пуда в каждом. Их совершенно точно уравновешивают, часто останавливаясь в пути и перегружая. Направо тунгуска в синем суконном камзоле, отороченном желтой каймой. У стены лавки в берестяной люльке («омко») — ребенок». К фотографии № 13 дается следующая за-

пись: «Отправляются в путь. Впереди пойдет опытный тунгус с «пальмой» (род рогатины — длинный односторонний нож на длинной рукоятке) и будет чистить дорогу, срубая пальмой мешающие деревца. Дерево в вершок диаметром срубается одним ударом пальмы».

Таким глубоким знанием народной жизни питались первые произведения В. Я. Шишкова об угнетенных народах Сибири. Некоторые из писательских наблюдений этих лет легли в основу не только ранних рассказов, в них уходит своими корнями и послереволюционное творчество писателя. Интересно проследить, как постепенно преобразовывались лаконично изложенные факты пояснений к альбому в очерках и рассказах, а затем в крупных произведениях Шишкова. Проведя лишь одну линию от первой записи в альбоме через газетный рассказ к роману «Угрюм-река», можно подчеркнуть еще раз то огромное значение для всего творчества Вячеслава Шишкова, которое имел для него сибирский период.

К фотографии № 36 приводится любопытнейшая запись:

«Гроб некрещеной тунгуски. Два врытых в землю столба с короткими на каждом из них поперечными перекладинами. На последних лежит гроб, сколоченный из нескольких пластин. Обычай хоронить на столбах, не зарывая в землю, по объяснению тунгусов установлен потому, что труп, зарытый в землю, может быть похищен медведем, росомахой или другим хищным зверем. Снимок сделан в глухой тайге, между Нижней и Средней Тунгусками, не доходящ. 100 в. до последней».

Несомненно, рассказ «Бисерная рожа», напечатанный в газете «Сибирская жизнь» в 1913 г., навеян как многочисленными преданиями и легендами тунгусского народа, так и этими наблюдениями над обычаями тунгусов. Далее он получит развитие в «Угрюм-реке». Здесь он выльется преданием, рассказанным проводником Фарковым о мертвой шаманке Прохору Громову и Ибрагиму.

В рукописи «Угрюм-река», хранящейся у К. М. Шишковой, на стр. 56 мы читаем:

«...Ведь солдат-то думал, что она живая, а на поверку-то вышло — мертвая, самая настоящая покойница. В последнюю-то ночь к себе сманивала солдата-то: «ляжем, говорит, рядком в моем гробу, а то, говорит, мне зимой холодно. А черви, говорит, не едят меня, я не в земле лежу». Дак солдатишка-т тою ж ночью домой на кобыле прискакал. И хмель весь выскочил. А виски поседели. Вот до чего нарезался...»

Интересным является тот факт, что уже в первом издании романа (1933 год) частично эта совсем ненужная натуралистическая сценка вымарана, а в издании 1935 года исчезает вовсе. Здесь мы находим нарисованную кистью большого художника картину путешествия Прохора Громова по сибирской реке без излишнего натурализма. Но именно так мастерски она смогла зазвучать потому, что потенциально заключала в себе эти глубокие и подробные знания автором быта описываемых народов.

В годы своего пребывания в Сибири Шишков не был лишь равнодушным наблюдателем жизни аборигенов края. Уже в 1910—1919 годах он неоднократно поднимал голос в защиту тунгусов и местных крестьян. Так, в очерке «С берегов Лены» (газета «Сибирская жизнь» № 150, 1911 г.) В. Я. Шишков с возмущением говорит о купцах, девизом которых по отношению к угнетенным народностям стало: «средствами не стесняйся». Нужно сказать, что этот волчий закон ограбления малых народов проводился в жизнь последовательно и настойчиво.

— Вы чем занимаетесь?— спрашиваешь торгового человека.

— Тунгусов покручаю...

Покручать — это давать в долг скверный товар за непомерно вздутую цену и получать долг не деньгами — рубль за рубль,— а очень дешево расцененной пушниной».

Шишков приводит факты, когда одному тунгусу вместо 150 руб. за великолепного соболя дали 3 рубля.

В другой статье «Пасынки» (газета «Сибирская жизнь» № 8, за 11 января 1912 г.) писатель, говоря об отсутствии всякой медицинской помощи этому и без того темному народу, рассказывает, каким ужасом для тунгусов является всякая эпидемия. «Вблизи устья Илимпеи вымерла вся семья из 14 человек. Там вымерла — в десять, там вымерла — в пять. Вымерла, вымерла, вымерла!.. Вот они, сыны нашей родины! Родина, мать ли ты?.. Пожалей своих пасынков»,— гневно восклицает Шишков.

Глубокое и всестороннее знание жизни тунгусов, калмыков, киргизов и других аборигенов Сибири, о чем свидетельствует находка фотоальбома и пояснений к нему, искренняя заинтересованность их судьбой явились тем необходимым приложением к мастерству художника, которые позволили Шишкову полно и красочно, с гражданской публицистичностью раскрыть все своеобразие внутреннего мира простых людей царских окраин.

Илья Чернев

В КАНУН КРАСНОЯРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Шел девятьсот пятый год. Бушевала ярость в недрах закопченных депо, в продолговатых каменных громадах железнодорожных мастерских.

С окраин, из низких халуп, в подпольные кружки стекались старики и безусая мастеровая молодежь.

Иные из молодых, отчаянные головы, опьяненные терпким воздухом назревающих боев, пошли своим путем. Они добывали порох, на потайных квартирах начиняли им медные цилиндры и долгими вечерами терпеливо следили за прохожими и проезжими из подворотен людных улиц... Отрываясь постепенно от кружков и партийных групп, не связанные с народом, они, однако, пользовались любовью, в которой сплелись и преклонение перед мужеством, и тревога за судьбу каждого из них. О них говорили таинственным шепотом, с суровыми лицами, прорезанными морщинами скорби и гнева:

— Опять орудуют Мишка Старцев и братья Зайцевы. Слыхали?

Люди не могли осуждать их: они сами едва-едва нащупывали главный, правильный путь к победе.

Черная стая зверела, когда эти отчаянные попадали ей в руки. Она умела мстить — слепою местью обреченных.

Во дворе тюрьмы, за высокими полями, вздымаются бревенчатые виселицы. С улицы их не видно, но ранними утрами ветер доносит в ближайшие халупы стоны, крики, предсмертное хрипенье.

С окраин, из депо в город, в дома, в улицы ползет упорный слух:

— Начальник тюрьмы сам... за ноги... повешенных...

— Дернет — отпустит... Потом снова...

— Мучитель! Истязатель! Палач!

Начальник тюрьмы — коротконогий, плотный, шея валиком,— получив записку, натужно улыбнулся. Темная тень скользнула на миг по каменному лицу тюремщика. В записке крупным размашистым почерком стояло:

«Будешь убит, кровь наших братьев зовет к мщению».

Давно ли крутой полицмейстер получил точно такую же записку — и его уже нет. Ходил полицмейстер всегда прямой с высоко поднятой головою. Он любил вечерами гулять — в один и тот же час — по большим толкотливым улицам. Слишком надеялся на свою стальную броню на груди. На записку даже не обратил внимания, — гулять не бросил. И откуда им стало известно о броне: пять выстрелов — раз за разом — там, в конце Большой, в затененном извороте перекрестка были направлены в голову. И все пули попали. Стреляли от тяжелых ворот, из тени... Подскочили случайные офицеры... Шарахнулась публика... Убежали злодеи! Погодите!

Начальник тюрьмы оправил под буркой броню, не очень-то, выходит, надежно. Не подложить ли железную прокладку и в папаху?.. Но он тут же махнул рукой: ведь он не шляется по улицам пешком, редко показывается в городе. Не выследят, надоест! Принять меры. Сообщить в охранное отделение. Подозрительных задерживать за два квартала.

Начальник вышел из канцелярии во двор. Сел в открытые легкие сани. Запряженные цугом лошади разом рванули, вынесли за ворота на дорогу. Позади скачут два верховых казака. Клубится под тонкими железными полозьями морозная пыль. По укатанной дороге, чуть запорошенной утренним снежком, цокают за санками копыта казачьих коней.

Улица летит навстречу нахохлившимся от свежего снега домам. Мелькают знакомые кварталы и усадьбы.

Окраина уже позади, скоро и центр. Быстрая езда!

Как, однако, мало прохожих в этот ранний час.

Начальник ежится от холода, поводит под буркой плечами.

Со скамейки у синих ворот с резьбой подымаются двое в ватных тужурках. Воротники у них подняты, а шапки надвинуты на лоб.

Начальник тюрьмы не видит их, он смотрит вперед, прямо перед собой.

Вдруг мерно поскрипывающую тишину разорвал грохот выстрела. Первый, второй, третий... Раз-раз-раз...

Дернули кони, качнулся на облучке кучер, откинулся стремительно назад начальник тюрьмы и, задетый пулей, вывалился из санок... путается в бурке, силится встать.

Не успел он крикнуть — снова один за другим прогремели два выстрела. Прямо в голову.

Ничего уж не видел начальник тюрьмы. Не чуял, что его пальцы, скрючившись в последней конвульсии, глубоко впились в припудренную снегом, в конском кале, промерзлую землю. И тех двоих, в нахлобученных шапках, скользнувших в предусмотрительно открытую калитку, тоже не видел...

Город взбудоражился. Люди высыпали из домов. Конная полиция теснила скопища любопытных... Начальника тюрьмы подняли и увезли.

Несколько кварталов оцепили войсками. Но поиски оказались бесплодными.

На другой день за городом, в лесочке, жандармы задержали шестнадцатилетнего парня из депо, накинулись на него:

— Что тут делаешь?

Он не ответил, разве скажешь, что ходил пристреливать смит?

Жандармы принялись шарить по карманам, нашли револьвер:

— Ага!

В охранке парня долго били:

— Говори, сволочь, где взял? Зачем?

— Для охоты, учусь...

— Получай за охоту!

Его снова били, пока не вспухло синяками лицо. Из рассеченных его губ текла кровь.

Мать арестованного привела к начальнику троих свидетелей, удостоверивших, что ее сын в час убийства работал в мастерских, долго плакала.

Для острастки парня вместе с матерью выслали из Красноярска на год в деревню под надзор полиции.

Охранка совершенно секретно доносила: «По имеющимся данным убийство начальника тюрьмы... совершено известным, до сих пор не разысканным анархистом Михаилом Старцевым и еще одним лицом, фамилия коего неизвестна. Наблюдение за означенными лицами налажено».

Содрогаются от мерных вздохов машин центральные мастерские. В депо стоит грохот молотков о железные панцири искалеченных паровозов.

Вечер, полумрак... Горою вздымаясь по середине депо, остуженный паровоз бросил вокруг себя неподвижную черную тень. По его металлической покатой спине елозят промасленные люди в кепках. Суетятся, стучат.

Шагах в двадцати мутно светлеет квадрат входа.

В квадрате возникла высокая широкоплечая фигура жандармского вахмистра Терещенко. Он идет по цехам — обычный обход по вверенным его попечению мастерским. Он только что вышел из своей канцелярии; она тут же, при заводской конторе.

Когда он шел по двору, мастеровые сторонились: ненавидели покровителя доносчиков и провокаторов, не гнушающегося применять пытки, чтоб вырвать нужные ему показания. Предателя, не брезгующего подкупать слабодушных красненькими десятирублевыми кредитками и водкой-смирновкой. Негодяя! Жандарма!

Мелькнув в светлом квадрате, Терещенко направляется к паровозу.

Вот уж он идет в зловеще густой тени.

Чья-то рука протягивается к его голове на стыке тендера и машины.

Человека не видно, он слился с черной тенью, точно прирос к мрачному корпусу паровоза.

И выстрела не слышно, он падает сорвавшимся с трубы болтом вниз на рельсы, тонет в стуке и лязге.

Оглянувшись на распластанное тело вахмистра, человек деловито и спокойно шагает к выходу, словно идет за недостающим инструментом.

Проходя мимо паровоза, мастер наступил на чей-то сапог... Чиркнул спичкой. В оранжево-бледном кругу — вахмистр, кровь...

Кинувшись к идущему, мастер завопил:

— Терещенку убили! Стой!

Человек ускорил шаг, вскинул на мастера глазок поблескивающего дула:

— Прочь с дороги!.. Выслуживаться захотел?!

Люди за станками притихли. Всполошились мастера, цеховое начальство, весть мигом облетела депо:

— Вахмистра наповал... у паровоза.

От ворот уже бежал сторож, широко расставил руки — задержать!

Человек перепрыгивал через кучи железного лома, знакомые выбоины, ловко обходил ящики с частями, груды колесных скатов.

Сторож отскочил под дулом револьвера.

— И ты сволочь! — человек побежал вприпрыжку, но по-прежнему легко, без усилий, будто не спеша, — сила, уверенность!

Пронзительно заревел гудок.

За воротами — узкий коридор длинного проулка меж двух каменных стен. Впереди — просвет улицы.

Человек бежит сквозь черную дыру коридора. В просвете позади мелькают два силуэта, гремят выстрелы. Человек бежит зигзагами — от стенки к стенке...

Погоня все ближе... настигают.

Преследуемый оборачивается, начинает отстреливаться. Один из преследователей, помощник убитого вахмистра, броском изгибается вперед, хватается за ногу: пуля раздробила ему колено.

Выстрелов больше не слышно.

Человек выскочил в широкий простор улицы. Здесь его кто-то ждет. Оба устремляются на другую сторону улицы, вбегают в парикмахерскую Войцеховского.

Через полчаса в парикмахерской жандармы начинают обыск...

Войцеховский бреет старого деповского токаря Анельского.

— Кто тут проскочил у вас через заднюю дверь?

— Никого не было, что вы, ваше...

— Врешь!.. Чьи калоши вон в том углу?

Анельский вполоборота, с намыленной щекой:

— Мои.

— Прекратить работу. Одевайтесь. Все. И парикмахер...

— Да ведь мы с сыном целый день простояли за станком. Он вот так, я — по соседству. Никуда не отлучались, — разводит руками Анельский.

— Не разговаривать!

В задних комнатах взяли дочь Анельского...

На другой день всех троих — старика токаря, его дочь и парикмахера — приговорили к повешению.

Словно ветер пронесся по цехам мастерских:

— Слыхали?.. Не дадим! Невинных!

Люди разом остановили станки, застопорили машины. Странная, необычная тишина легла на каменные корпуса...

В ожидании начальника мастерских депо сотни мастеровых, объявивших стихийную стачку-протест, столпились во дворе.

Начальник — прямо из жандармского управления — приехал в сопровождении казаков, грозно заорал:

— Бунт?

— Освободить невинных!

— Не станем работать, если повесят Анельских!

— Все присягаем!..

— Отлично. Но суд уже состоялся. Если присягаете — один исход: подать на высочайшее имя.

— Подавайте от имени рабочих!

— Какой с того толк! — закричали из задних рядов.

— Согласны на высочайшее! — забили тот выкрик старики.

— Отлично. Подаю. И заверяю, что до получения ответа из Петербурга арестованных не тронут... Спокойно расходитесь по своим местам. За работу. Заверяю!..

Толпа медленно рассосалась по цехам. В толпе шмыгали увещеватели и соглядатаи.

Мастерские снова загромыхали.

Их вешали на заре за высоким частоколом палей, во дворе тюрьмы.

Вместе со старым токарем Анельским, его дочерью и парикмахером Войцеховским к виселице подвели еще двоих, накануне задержанных охранкой.

Они бодро шагали впереди остальных. Оба дышали здоровьем молодости, размахивали руками, часто оборачивались друг к другу и почти не глядели на своих спутников.

Казалось, они не хотели задумываться над судьбой этих случайных жертв. Один выглядел долговязым, рыжий чуб его настойчиво выбивался из-под козырька фуражки. Другой — на голову ниже, плотный, чернявый.

У виселицы степенно расхаживал человек в блестящих пуговицах с бумагой в руках.

Остановились... Чиновник принялся нудно читать приговор.

— Зря канителишь,— перебил его чернявый,— мы признались.

— Мы не запираемся,— подтвердил долговязый.

— Эти же,— чернявый мотнул головой в сторону Анельских,— ни при чем. Не участвовали. Терещенку убил я.

— А я,— подхватил долговязый,— как сказывал, стоял на углу. Думали, не уложим в цехе, не уйдет в переулке. У меня была приготовлена штучка с собственной величиной. Подтверждаю. Они же действительно безвинно...

Он вдруг вспыхнул, передернулся от жгучей ненависти:

— За что их-то вешать? Без разбора... палачи! Я сказывал — без утайки выложил все: это я ссадил... того... с санок. И я стрелял в темном углу на Большой в полицмейстера, а он вот дежурил тогда с бомбой... Как раз наоборот, чем с Терещенкой. Чего ж вам еще? Зачем понуждаете повторять? Надоело!

— Может, в последний момент жизни,— вопросительно повернулся чиновник к чернявому,— назовете настоящее свое имя и фамилию.

— Бронислав... Я уже сказал. Снова пытайте... больше не узнаете! Бронислав,— хватит с вас этого?

К группе осужденных приблизился тюремный священник с молитвенником в руках, в епитрахили. Опасливо шагнул к чернявому.

— У тебя руки в крови... сколько на тот свет спровадил, служитель милостивого бога? Уйди!— желчно крикнул Бронислав.

— Убирайся, пока не попало... царский наймит!.. Своего Христа продал жандармам!— долговязый неожиданно показал оторопевшему попу кулак.

Старик Анельский тихо подошел и набожно склонил голову под епитрахилью.

Дочь его едва волочила ноги, они подгибались в коленях, путались в складках платья. Взгляд ее был мутен.

Палач уже разматывал саваны, когда во двор вбежал жандарм с новым приказом: помиловать женщину, заменить повешение пожизненной ссылкой.

Ее уводили под руки, она точно упиралась, всхлипывала. Бронислав громко запел марсельезу. Чубатый, его товарищ и парикмахер Войцеховский подхватили.

Старик Анельский крестился, украдкой поглядывал в спину удаляющейся дочери, на ее вздрагивающие плечи, на ее слабые, будто боящиеся ноги... Она не успела даже проститься с ним, своим отцом. А, быть может, это и не пришло ей в затуманенную голову...

Первым, кому накинули на шею петлю, был Бронислав. Без отечества, без фамилии, без настоящего имени,— просто Бронислав.

Второй, долговязый и чубатый, был Михаил Старцев.

1931.

(К восьмидесятилетию со дня рождения И. Гольдберга).

И. Гольдберг

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Рассказ

1

Селентур на своем коротком веку умирал три раза.

В первый раз, когда только что вымененная на шкуру черного медведя турка после первой же пробы взорвалась и засыпала полгруди и бедро полным зарядом дроби. Во второй раз старая смерть взглянула на Селентура ласковым взглядом, когда в осенний сохатиный промысел перебродил он хребтовую речку. Правда, речка была никудышная — всего по пояс в самом глубом месте, но горячая немочь повалила тунгуса и трясла его добрых три промысловых месяца. И только старуха с Сены да свой шаман выходили Селентура.

В третий раз смерть подошла к чуму Селентура вот теперь.

Случилось это так.

Кирилла Степанович, друг Селентура, доставлявший ему всю «покруту» и забиравший весь его промысел, каждую осень выходил к Селентурову стойбищу и здесь производил с ним мену.

Время это бывало самое счастливое в жизни Селентура. Можно сказать, невыразимый праздник.

Чего уж лучше: неделю или две пили и ели гостинцы Кирилловы. Неделю или две песня кружилась вокруг чума и пугала умирающую тайгу.

Потом друг уезжал, и оставалась ровная жизнь. Оставалась тайга, привычная, покрывавшаяся снегом, раздольная, своя.

Приезжал Кирилла Степанович как раз перед первыми заморозками. Еле-еле успевал сплавиться на плотах или шитиках по речке, а обратно уходил в новеньких берестянках, нарочно приготовленных Селентуром.

Место Селентурова стойбища было глухое, и никакие другие друзья, кроме Кириллы Степановича, не рыскали здесь.

Мену Селентур с другом своим вели по-старинному. От дедов так осталось, так повелось у Селентура, чтобы к нему друг выходил с покрутой в тайгу к месту назначенному. Не то что нынче: перебродит тунгус тайгу из края в край, наломает ноги, познобит лицо и руки, а потом идет друга искать, гонит оленей в русские деревни, разрушает стойбище зимнее, тушит огонь очага.

Из года в год житье было ровное и однообразное: Селентур с семьей ловили рыбу, били зверей и коптили пушистый мех, на который так жадны и Кирилла Степанович и другие, чужие друзья. Потом однажды в год приезжал друг, угощал водкой, оставлял свинец, порох и муку и уезжал, чтобы на следующий год в урочное время снова приехать. И так из года в год, пока не случилось неожиданное.

2

По всем расчетам выходило, что Кирилла Степанович должен прийти сегодня-завтра.

Уж веяли холодные ветры, блекла трава и точно свинцом подернулись воды. Уже опустели жестянки из-под пороха, и маленькие

огрызки свинца валялись в углу чума. И в патакуях светилось дно: последние выскребыши муки на колобки изводила жена Селентура.

По всем расчетам выходило, что Кирилла Степанович недалеко и вот-вот прибудет. Но шли дни. Сильнее блекла трава, свистели ветры в оголявшихся тальниках, хмуро и пасмурно глядело небо, редко-редко улыбаясь солнечным лучам. И не приезжал друг.

Пришел день, когда, охнув, жена Селентура перевернула последний патакуй, в котором еще вчера оставалась мука, и из него не вылетело ни пылинки.

Остались без колобков. Ели уток, набитых для гостя. Съели весь запас. Пришлось Селентуру и старшему парню идти поохотиться в близлежащих озерах. Но приходилось скупиться на выстрелы, так как натруски становились все легче и легче.

Начинала закрадываться тревога в Селентура, в домашних.

— Где друг? Почему не едет?.. Ведь скоро и совсем нельзя будет пробраться сюда, где же он, зачем время обычное упускает?..

Тревога росла. Она насела на собак, и они, жалобно воя, бродили вокруг стойбища голодные и угрюмые. Не было муки, чтобы сделать для них вкусную колотушку. Мало было потрохов, потому что и дичи самой было мало.

Несколько раз Селентур с сыном выходили по Иогису на запад, откуда должен был прийти Кирилла Степанович. Но не было друга. Где-то застрял он. Где-то беда держит его и не пускает сюда.

И вот настал день, когда в сердце Селентура родилась уверенность, что друг не придет.

Сидя перед веселым огнем в чуме, громко высказал он домашним:

— Беда... Нет друга, нет Кирилла Степановича.

Испуганная жена вскрикнула. Широко раскрыла она глаза, в которых испуг смертельный.

— Муки, мужики, нет!.. Еды не будет!— жалобно откликнулась она.

— Пороху и свинца нет!— так же испуганно прибавил старший парень.

Маленькие забились под скаты жилища и молчали.

Селентур помолчал. Он озабоченно порылся за пазухой и крякнул.

— И табаку совсем не осталось,— добавил он.

Так коротко и немногословно выяснила вся семья Селентура свое положение.

Женщина было захотела поохать, но крикнули на нее мужики, и она замолчала. И в тишине, возле огня, тягуче, не торопясь и долго обдумывая слово, Селентур обсудил, как быть.

Велел парню сосчитать, сколько зарядов осталось, и неодобрительно покачал головой, когда узнал, что всего пороха и свинца выстрелов на двадцать осталось.

— Ах, плохо!.. Совсем плохо!— вырвалось у него. Потом посмотрел на чуманы берестяные, где икра сиговая — гостинец Кирилле Степановичу — припасена была.

— Давай гостинцы чужие теперь есть. Завтра начнем.

Потом бросил совещание и вышел бродить вокруг чума. И там долго что-то ворчал, пролезая в тальники и смородинные заросли. Искал остатки ягод — и не нашел: неурожайный год выдался на грех.

3

Над чумом нависло молчание. Если бы не воющие от голоду собаки, нельзя было бы предположить, что здесь жилье человеческое — так тихо, точно, таясь от кого-то, зажила семья Селентура.

С неделю пробились всякими остатками, вытряхивали чуманы и патакуи, скребли в них остатки муки, пищи.

Но еще горшая беда была впереди. Наступали, радостные прежде, дни осеннего промысла. Уже бегают по тайге и по окраинам тундр и на прогалинах в любовном томлении великаны сохатые. Нужно уже собирать собак, ковать пули, много пуль, туго набить натруски ружейным запасом и идти искать добычу. Тогда будет сытая зима. И уйдет тревога из жилища.

Но сколько ни искали по чуму, сколько ни вертел Селентур натруски в руках а свинца и пороха оставалось мало — двадцать или уже через силу — двадцать пять зарядов.

Тогда Селентур отделил от пороха и свинца половину всего запаса и положил в чум, в самый дальний угол, самый сухой.

— Это,— сказал он домашним,— про запас. Если придет какая беда — много бед бродит по тайге — так для нее!..

С остальными зарядами вышел он вместе с сыном, обрадовав домашних и собак, на сохатых.

Но с утренней до вечерней зари порыскали они по марям и не нашли добычи. Видели следы, много следов, но уходили они в сердце тайги.

Так без промысла, голодные, усталые и испуганные, вернулись они обратно к жилью.

Парень, не выдержав, выпустил несколько зарядов по рябчикам и убил их несколько штук.

Но Селентур жестоко выругал его за то, что он зря потратил драгоценный порох и свинец.

На следующий день снова ушли мужики искать сохатого. И снова видели следы, много следов, а самого зверя не было.

Разглядывая в одном месте четкий и свежий след сохатого, Селентур увидел нечто, поразившее его. Он криком подозвал парня и молча указал ему на мох.

— Волки!— отпрянул тот в сторону.— Волки!— Тогда поняли они оба, что напрасно ходят они в поисках за добычей — ее гонит рать серых, ее не будет...

В этот день зарезали первого оленя. Было сытно. По телу пошло радостное тепло. Зазвучали в чуме голоса, ожили люди. Там, где есть сытная и горячая пища, там и радость.

С этого дня стали бить на еду оленей.

Один за другим убывали они в стаде Селентура. И хотя было сытно и тепло в его жилище, но вздыхал тунгус и темнел.

Ожили собаки. Снова залоснилась на них шерсть, и ярко-красные пасти со сверкающими зубами разевались в сладкой истоме сытости. Уже не визжали и не выли они. Была пища — было спокойствие...

4

Ночью Селентур услыхал вне чума какой-то необычный звук. Тихо вышел он на поляну. Оглянулся вокруг, прислушался к тишине. Все было спокойно. Тихо спали собаки, не чуя ничего. Хотел Селентур, совсем успокоенный, вернуться к огню, но снова остановился в тревоге. Чуткое ухо его уловило далекий, слабый звук. Трепетно и, точно вздох, слабо протянулся этот звук и умер. Но не успело умереть воспоминание о нем, как повторился он, теперь уже громче. Потом снова и снова.

Вскочили собаки, кинулись в темноту, залаяли. И их лаю ответил совсем громко и близко волчий лай. Нудный и зловещий в осеннюю ночь волчий вой...

Всю ночь не спала семья Селентура.

Утром пошли к стаду, пасшемуся недалеко от чума, и не нашли оленей.

Разъяренный Селентур схватил ружье и побежал в ту сторону, откуда ночью слышался волчий вой. Но что он мог поделать? Вся злоба его упала в тишине тайги и вместо нее пришло отчаяние. Понял он, что теперь — голод. Понял он, что теперь за голодом легко прийти и смерти, всегда идущей следом за тунгусской нульгой, всегда крадущейся возле чумов. Обессиленный бросил он, возвратясь, ружье возле чума и опустился на пожелтевшую траву. И молча слушал он заунывное причитание жены и плач, визгливый и надрывный плач младших.

— Баркауль,— тихо сказал он сыну,— нужно нульгичить... Уходить отсюда нужно. К чужим стойбищам, к чужим речкам. К людям, Баркауль, нужно уходить отсюда...

— А как без оленей?— робко спросил Баркауль.— Как нульгу будем делать без оленей?

— На себе все понесем! Сами...

Тунгуска вся сжалась, когда услышала решение мужа и сына. Она ничего не сказала, но сердце у нее оборвалось: как бросить жилище? Ведь не время еще для нульги. Куда идти, к кому?..

Но не пришлось разрушать жилище, не пришлось вырубать кольев из застывшей земли, не пришлось скатывать в трубки плотно слежавшиеся тиски чума.

Едва свечерело — и забеспокоились собаки. То отбегут с лаем от чума, то успокоенные вернутся обратно. И так много раз. А как зажглись редкие звездочки, потянулся из ближайшей тайги знакомый вой. Настойчиво и неослабно звучал он над черными деревьями, шел из тьмы, точно она его извлекала из своей невидимой груди.

Собаки охрипли от беспрерывного лая. Они силились перекричать, заглушить волков, но вой стоном стоял над поляной и чумом и покрывал собачьи голоса.

И по этому вою ясно было, что волков громадная стая, что идут они к чуму, подвигаясь все ближе и ближе. По яростному вою их слышно было, что голодны они, что ищут пищи и, чуя ее, идут прямо к ней...

5

Ночами стали вокруг чума раскладывать костры. До рассвета не спали и только днем отдыхали от бессонной ночи. Но отдых не был отдыхом. Рядом с волками ведь пришел голод. Холодный и ничем не умолимый голод.

Падали силы у людей. Оба младших уже так ослабли, что не вставали с ираксы и с трудом проглатывали вместо пищи горячую воду, настоенную на какой-то траве.

Слабели и собаки. Исхудалые, с блуждающими мутными глазами, они лежали возле чума и тихо скулили. Они заглядывали и Селентуру и Баркаулю в глаза, точно жалуясь.

Они следили за каждым движением женщины, бесцельно переносившей пустые чуманы с места на место, и вскакивали, обманутые запахом несуществующей пищи.

Баркауль несколько раз умолял отца отпустить его с ружьем поискать дичи. Но Селентур огрызался на него и грозил кулаком. Он припрятал у себя все заряды, он сторожил ружья, не допуская к ним сына. Он знал, что нет для них сейчас ничего дороже лишнего хорошего заряда.

Но падали силы. И с каждым днем, с каждым часом все ближе придвигалась волчья стая, все теснее становилось ее кольцо.

Трусливый волк, который раньше никогда не смел выйти днем на человека, который только в темную ночь осмеливался подходить к жилищу и, как вор, высматривать добычу, трусливый волк теперь не боялся дневного света: метались днем серые тени меж лиственями, огородившими поляну.

Лучшие Селентуровы собаки, умевшие ходить на самого амаку, жались к стене чума и только скалили зубы, бессильные кинуться на наглого и сильного врага.

Все уже и уже становилось кольцо, все ближе подступали волки. Они были голодны. Так же, как Селентур и его семья, были они голодны и поэтому шли на все...

Слегла возле маленьких детей и жена Селентура. Забились они в чуме и притихли. Темными тенями двигаются у входа в жилье только Селентур и Баркауль.

— Давай ружье, отец!— молит молодой тунгус.— Давай ружье и заряды, я пойду на них стрелять... Я с ружьем и пальмой кинусь на них, испугаю, угоню!..

— Глупый, бойе!— хочет сердитым сделать свой голос Селентур, но не может.— Сколько зарядов есть у тебя? Сколько рук есть у тебя? Мало зарядов и только две руки, а тех много, так много, что слабым разумом твоим и не счесть их!.. Иди к ним — разве угонишь ты их?! Пищей им будешь... Разорвут, как белку...

— Давай ружье!— хныкал Баркауль. И не приходило Селентуру в голову выругать сына за то, что он такой большой, а плачет, как баба. Так все перемешал кто-то в голове.

Однажды перед закатом волки обнаглели через меру. Несколько зверей отделилось от стаи и пошли к чуму. Они выбежали на поляну, остановились, чтобы оглядеть свои жертвы. Тогда почти совсем обессилевшие собаки повскакали на ноги и кинулись на них. Завязалась борьба. Перед глазами Селентура и Баркауля серыми клубками катались по земле разъяренные животные, рвя ожесточенно один другого, впиваясь зубами в живое тело.

Визг и возня сцепившихся волков и собак привлекли внимание всей стаи — и потянулись из лесу голоса, торжествующий вой все ближе и громче.

Селентур схватил ружье и выстрелил. И когда рассеялся дым, то увидели оба, что волки, разрывая на части серый труп, уходили с поляны. И недосчитались одной собаки.

Так был почат неприкосновенный запас зарядов.

После выстрела Селентур взглянул на Баркауля, хотел что-то сказать, но промолчал и бросил ружье.

6

По-обычному пришла ночь. Все было, как прежде, и на темном небе, и в хмурой тайге, и в притихнувшем стойбище. Так же, как всегда, спустилось солнце на острия сосен и елей и, раненное ими, обагрилось кровью само, обагрило полнеба и умерло. Так же, как всегда, в холодных сумерках разлился оживающий свет луны. И ничто не предвещало, что ночь эта будет последней. Ничто...

У двух костров, зажженных с разных сторон вокруг чума, сидели тихие и утомленные Селентур и Баркауль. Слушали волчий вой и думали.

У молодого мысли были горячие и быстрые. Были мимолетны его мысли, и быстро и легко сменяли они одна другую.

У старого мудрость жизни создала тяжелые и неизменные мысли.

Баркауль думал: вот взять все оставшиеся заряды, захватить топор и пальму да пойти на волков. Кинуться на них неожиданно, испугать и гнать по лесу. Убивать, убивать без конца.

Не то думал Селентур. Короткая, но неотвязная была у него дума: конец приходит... Идет последняя смерть. Третья смерть.

Сидели и думали разные думы...

В полночь от стаи снова отделились несколько волков и медленно пошли к огню. Селентур бросил в их сторону головню, и они, злобно взвизгнув, убежали обратно. Но потом, передохнув немного, пошли снова.

Боясь разбросать весь огонь, Селентур взял ружье и выстрелил. На выстрел прибежал от своего костра Баркауль.

— Давай ружье!— трепеща от злобы крикнул он.— Они идут на меня! Стрелять буду!.. Как ты же...

Селентур наклонил голову и, пошарив за пазухой, достал оттуда натруску.

— На возьми,— подавая ее сыну, сказал он,— ружье в чуме за патакуями...

Баркауль ушел к своему костру. Позже услышал Селентур выстрел. Потом другой. Вздрогнули губы у тунгуса. Хотел он приподняться, пойти к сыну, сказать ему, что так безрассудно тратить заряды нельзя. Но махнул рукой и себе самому сказал:

— Не надо, старик!.. Все равно...

Набеги волков делались все отчаяннее и смелее. С разных сторон подвигались они к чуму, обходя сбоку Селентура и Баркауля, минуя огонь или, озверев, идя прямо на костры.

Селентуру удавалось отпугивать передовых горящими головнями. Но чувствовал он, что еще немного и огонь перестанет пугать хищников.

С болью в сердце слышал старик сквозь злобный вой волков редкие выстрелы Баркауля. Каждый выстрел тоской и жалостью наполнял его существо. Но он молчал.

И с невероятной болью чувствуя, что губит и себя и всех, что разрушает остатки надежды, он сам, отгоняя слишком обнаглевших волков, выстрелил.

А потом, уже не думая, так же, как и Баркауль, стал расточителен: хлопали неожиданно выстрелы его ружья, так часто служившего ему верную службу.

Не стало слышно выстрелов Баркауля. Хотел было окликнуть его Селентур, но тот сам подошел.

— Все!— коротко и хрипло сказал он, и были боль и отчаяние на его лице.

Молча указал ему отец место возле себя. Молча передал ему свое ружье с остатком зарядов. Сам подвинулся ближе к костру и, точно забыв происходящее вокруг, пристально стал глядеть в жаркий огонь.

Так думал о чем-то Селентур, не отрываясь ни от огня, ни от своих мыслей до тех пор, пока вой, к которому уши успели привыкнуть, внезапно не усилился и не перешел в яростный крик и не зазвучал у самого костра.

Тогда поднялся он на ноги, увидел возле себя Баркауля с пальмою в руках. Оглянувшись, увидел жену, выползшую из черного входа в чум. А впереди себя, по ту сторону костра,— волков.

Точно проснулся он. Голой рукой схватил большую головню, взмахнул ею, рассыпая яркие искры и дым над головою, и закричал.

Не был человеческим крик его. Так никогда не кричал он. И если бы услышал он себя, то не узнал бы голоса Селентура. Был его крик подобен вою волка.

Потрясая головней, с диким и неподвижным лицом шагнул он вперед, туда, где тьма стеной подступила, откуда радостный огонь костра беспечно выхватывал серые тела волков.

И отступили испуганные внезапным нападением волки. Попятились назад во тьму.

Во тьму же за ними, рассыпая огонь, пошел Селентур.

Так шел бы он долго, так ушел бы он далеко, если бы не сторожила его последняя смерть, третья смерть.

Откуда-то сбоку вынырнул из темноты волк и медленно пошел к Селентуру. Горя глазами, весь вздрагивая, приближался он к тунгусу и что-то разглядывал на нем пристально, не отрываясь.

Встретившись с его взглядом, Селентур вдруг весь ослаб, опустился. Закачалась в руке головня, и опустилась медленно вниз, и упала на блеклую траву.

И в тот же миг успел еще услышать Селентур короткий лай волка, а потом громкий и радостный вой всей стаи.

И еще успел он понять, что завыла радостно, торжествуя победу, его последняя смерть...

Александр Балин

Нелюдимо наше море...
Языков

Куда бы гневно ни кидала
Меня нещадная судьба,
Душа в скитаниях не знала
Слепой покорности раба.

Несусь, мечтою увлеченный,
К желанным сердцу берегам
И, к бурям жизни приученный,
Ладьей проворной правлю сам.

И, как ни страшен вид у моря,
Где волны пенятся, бурля,—
Мой парус крепнет, с ветром споря,
И кормчий верный у руля.

Сегодня день воспоминаний.
Вас нет со мной, но с вами я...
Былых надежд, былых желаний
Воскресла дружная семья.

1919.

Иван Молчанов-Сибирский

Кэнтейский хребет — водораздел океанов

Высок Кэнтей, закутанный в туман,
Вершины гор толпятся хаотически...
К востоку — плещет Тихий океан,
А к западу бушует — Атлантический.
Язык веков нетрудно разгадать,
Разбиты временем гранита панцири.
Уходим золото и медь искать
С высокогорной нашей станции.
Мы высоко, под нами облака.
Как будто океан небесный пенится.
В глуши долин разбойница-река,
Она еще Батыя современница.

Работа кончена. Пора отдать причал,
Вернуться в степь за горы эти синие...
К нам запах гари ураган примчал
Издалека, из знойной Абиссинии.
Дождь отшумел. Ручьи к реке бегут,
Река кипит, о камни бьет и пенится.
В степи река впадает в Селенгу,
Но от Байкала никуда не денется.
Подхваченная «горною» пройдет
Над черными байкальскими глубинами.
Потом она на север попадет
И встретится с арктическими льдинами.

1940. Монголия.

Анатолий Ольхон

Якутский почтальон

За четыре шага
На оленьи рога
Опускается лютая ночь.

Слюдяная луна.
Леденец валуна.
Глухоманное место — урочь.

Месяц — тундровый март.
Место — город Колымск.
Россыпь звезд — накануне весны.

Скрип взлетающих нарт.
Бледной вьюги азарт.
Тяжелы заполярные сны.

Но у самой последней избы, за углом,
Теплый храп и качанье рогов;
Почтальон поправляет медвежий шелом,
Привезенный с других берегов.

Спит Колыма-река, промерзая до дна.
Но ледяшкой стучит почтальон.
На страницах «Известий» приходит весна
Потеплевшим дыханьем времен.

И пока отдыхая, в горячем поту,
Почтальон распивает чаи,—
Горожане, проснувшись, спешат в темноту
Проверять ожиданья свои.
Белокрылые стаи хрустящих газет
Говорливей соседей-гостей.
Будто ярче играет полуночный свет
Отраженьем больших новостей...

В многолюдье, оттаяв,
Довольный собой,
Под расписку сдавая тюки,
Почтальон засыпает
Над книжной стопой,
Не сгибая упрямой руки.

Путь жестокий — четыреста синих снегов,
Пять завьюженных северных дней;
Сквозь туман колыханье оленьих рогов,
Торопливые скрипы саней.

Ошалелая вьюга впадает в азарт,
Но спокойны якутские сны.
Место — город Колымск,
Время — тундровый март,
Россыпь звезд — накануне весны.

1935, становище Булгонях

Моисей Рыбаков

Трое

Их вели через город. Падал снег, расплывавшийся в слякоть.
Красноватая глина комками прилипала к ногам.
Эти трое ребят на допросах умели не плакать
И губами разбитыми зло улыбаться врагам.
Им октябрьский снежок набивался за порванный ворот,
Им мигали домишки глазами своих огоньков.
Не добившись ни слова, их вели на расстрел через город,
Окруживши железным колючим кольцом из штыков.
Наслажденьем для них путь на воздухе этот был длинный.
Не одна не скатилась на серые лица слеза...
Их поставили в ряд возле кучи отсыревшей глины,
Им солдаты платком завязали молодые глаза.
Над полями тянулась вечерней зари полоса.

— Да живет коммунизм!— упруго и жарко звенели
Молодые, слегка хрипловатые их голоса.
И уже стало сердце в предчувствии смерти как камень,
И в невольном порыве тела подавались вперед.
Пожилой офицер замахал на шеренгу руками:
«Что вы стали, мерзавцы?»... И грянули залпы вразброд.
И казалось, скрыл ненависть взгляд, неживой и незрячий.
Непогода завыла еще непробудней и злей.
И казалось, что кровью их, алой, кипучей, горячей,
Наливалась заря над суровым безбрежьем полей...
И за громом годов не забыть нам расправы кровавой,
Нам ушедшие эти, как жизнь, дороги и близки.
И, справляя наш праздник, помянем их песней и славой
И на наших врагов боевые поднимем штыки.

1939

НОВЫЕ КНИГИ

... и живая вода
за руками пошла
и забилась,
как кровь, в человеческих
жилах.

Марк Сергеев

«20 ступенек в завтра»— так называется книга, рассказывающая о гидросооружениях завтрашнего дня и их комплексном использовании. Преображенные и связанные судоходными каналами, все крупные реки страны войдут в единую глубоководную систему — вот что значит комплексное использование водных ресурсов.

«20 ступенек»— это двадцать крупных грандиозных проектов такого преобразования природы; одни из них уже претворяются в жизнь, другие — на очереди.

Книга Владимира Синедубского и Юрия Николаева «20 ступенек в завтра», выпущенная издательством «Советская Россия»,— это путешествие с востока на запад нашей страны, это красочный рассказ о крупнейших гидротехнических сооружениях.

Вода, комплексное использование ее,— вот что составляет костяк книги. Первая глава ее уносит нас на могучую и своенравную сибирскую реку — Ангару.

Могучая и своенравная... Эти определения как нельзя лучше характеризуют Ангару.

В задумчивом лесу на Валдае у деревеньки Белка струится маленький бойкий ручеек. Тут же деревянная арка с надписью: «Исток великой русской реки Волги». Подобными ручейками рождаются Днепр, Дон и многие другие реки. Ангара же, вытекая из лиственичного залива озера Байкал, сразу набирает ширину почти в километр.

Но не только это отличает сибирячку от ее сестер. Весной большинство рек, как правило, вздувается от огромного потока воды. Весна и половодье. Мы так привыкли, что разлив воды — это вестник начала пробуждения природы. Однако Ангара и здесь остается своенравной — половодье у нее бывает не весной, а зимой, при замерзании реки. И еще особенность. Реки покрываются коркой льда сначала у истоков, потом ледостав подвигается к устью. А вот Ангара замерзает прежде всего у устья, а лишь затем в верховьях...

И все же чудом природы называют Ангару главным образом за то неисчерпаемое количество энергии, которое способна эта река выработать. В последнее время за сибирской рекой прочно укрепилось имя «энергетической королевы». Энергия ее способна заменить мускульную силу более 100 миллионов человек.

В главе «Своенравная дочь Байкала» рассказывается о плане приручения Ангары. Пройдут годы, и она покроется гирляндами гидроэлектростанций. Иркутское, Суховское, Тельминское, Братское, Усть-Илимское и Богучанское водохранилища преобразят Ангару. Две из шести ГЭС — Иркутская и Братская — уже в строю. Плещутся воды первых приангарских морей. А энергия станций помогает создавать в Сибири крупные энергоемкие комплексы.

Но для того чтобы наполнить остальные моря, которые в скором времени здесь появятся, нужна вода, много воды. Где же ее взять? Ведь нельзя же полностью приостановить течение реки. В этом случае погибнет много рыбы, прекратится выработка электроэнергии, полностью исчезнет судоходство. Словом, народному хозяйству будет нанесен непоправимый ущерб.

Как же быть? Этот вопрос волнует и энергетиков и строителей. А что если занять у Байкала. Ангара — одна из немногих рек, имеющих столь мощный исток. Но беда в том, что в истоке покоится огромный гранитный утес, издавна величаемый в народе шаман-камнем. В главе «Конец ли древней легенде» повествуется об увлекательных проектах уничтожения этой запруды, о путях их претворения в жизнь.

Одна из глав книги называется «Водопад в сердце Сибири». В ней речь идет о покорении Енисея.

— Енисей и водопады?!— удивитесь вы.— На величавом Енисее с его широким стремительным течением водопадов нет.

И все же сибирский водопад — это не досужая выдумка авторов. Правда, своим рождением он будет обязан не природе, а человеку. Появится такой водопад на Красноярской ГЭС. А зачем? Почитайте эту главу, и все станет ясно.

План приручения Амура и добыча полезных ископаемых со дна искусственных морей, строительство сибирского метрополитена и новые водные магистрали. Вот о чем рассказывается в нескольких следующих главах книги.

Преобразуется вся наша страна: северный суховейный Крым и безводное междуречье Волги и Урала, возводятся последние гидроузлы на Волге. На очереди еще более гигантские задачи: соединение Балтики с Черным морем, поворот стока северных рек и как итог — создание единой глубоководной системы Советского Союза. Что она будет собой представлять? Об этом рассказывает глава «Лазурное ожерелье».

Академик Д. И. Щербаков в предисловии к книге пишет: «Все ширящееся использование рек в самых разнообразных природных условиях, замечательные технические решения и энтузиазм строителей представляет увлекательную и поучительную тему книги, предлагаемой вниманию широких масс советских читателей». Книга «20 ступенек в завтра» вышла в серии «Биографии великих строек».

Н. А.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Ким Айзенштейн

Почти невероятное происшествие

И трогали жерла испуганно
тростью.
— Страшна, аки смерть, а очей
не отвесть.

Глеб Пакулов. «Царь-пушка».

Гудела толпа.
Рвала книжки из рук,
скорей чтоб поэму прочесть.
И только сквозь гул
раздавалось вокруг:
— Страшна, аки смерть, а очей
не отвесть.

Пейте ацидофилин

Я больше не вижу
сытых снов —
Все позади, в
былом

Виктор Соколов

Диету молочную превозношу —
Кумыс, молоко, простоквашу!
Сливки, сырки и свежий творог
жизнь облегчают нашу.
Походка стала моя легка,
я легче смотрю на мир,
я даже легче пишу стихи —
мне в том помогает кефир.
Я вечером пью ацидофилин
и ем за два часа перед сном.
Я больше не вижу сытых снов —
все позади, в былом.

Сны

Вы не верите в сны.
Почему вы не верите
в сны?

Валерий Алексеев

О, эти сны!
Будто все наяву.
Мне снилось — я снова
прибыл в Москву.
Приезд мой отмечен,
словно ЧП!
Меня на вокзале
оркестры,
поэты с цветами
встречали,
читали приветственный
адрес СП,
сказали,
что стал я великим
отны...
О, эти сны!
Вы не верите в сны.
Почему
вы не верите в сны?

Ангарск

Иван Карлов

Протекция

Был пивоваром,
Был шофером,
Был продавцом,
Был полотером.

Быть счетоводом подфартило,
Да грамотешки не хватило!
Стал лектором! Читает лекции.
И все... по дядиной протекции!

* * *

— Что в этом человеке человечьего?
Есть руки, ноги и... копна волос,
А под копной... Ей-богу, мерзнуть нечему,
И он без шапки ходит и в мороз!

Ангарск

Альманах «Ангара» № 3

Редактор С. Н. Маневич

Худож. редактор Е. Г. Касьянов

Техн. редактор А. В. Пономарева

Корректоры Л. В. Глаголева

и Т. Н. Ковинина

Сдано в набор 10 июня 1964 г. Подписано к печати 25 сентября 1964 г. Бумага 84 X $108^1/_{16}$. Печ. л. 19,02. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 3000. НЕ 00234. Заказ № К-368.

Цена 60 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, ул. Горького, 36.

Типография № 1 Иркутского областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.

60 к.